

Дойвбер  
ЛЕВИН



ВОЛЬНЫЕ ШТАТЫ  
СЛАВИЧИ





**Salamandra P.V.V.**

Дойвбер Левин

**ВОЛЬНЫЕ ШТАТЫ  
СЛАВИЧИ**

Избранная проза

Salamandra P.V.V.

## Левин Д.

Вольные штаты Славичи: Избранная проза. Б.м.: Salamandra P.V.V., 2013. – 247 с., илл. – PDF.

Дойвбера Левина (1904-1941) называют «самым забытым» из обэриутов. Он был ближайшим соратником Д. Хармса, А. Введенского, И. Бахтерева – но все его обэриутские сочинения пошли на растопку печей в блокадном Ленинграде, а сам писатель погиб в бою на Ленинградском фронте.

И все же Левин оставил несколько книг гротескной, плотно написанной прозы, рисующей быт еврейских местечек накануне и во время революции и гражданской войны. Как и прочие обэриуты, писатель вкладывал в свои повести, формально причислявшиеся к детской литературе, совершенно не «детское» содержание: кровавая метель исторического катаклизма, зловеще-абсурдная речь и вещи сны...

Произведения Дойвбера Левина не переиздавались с 1930-х гг. и в нашем издании возвращаются к читателю. Книга включает фантастический рассказ «Полет герр Думкопфа», а также повести «Десять вагонов» и «Вольные штаты Славичи». Сохранены оригинальные иллюстрации мастеров книжной графики – А. Каплана, Н. Лапшина, С. Юдовина.

ФОНТЯНКА, 21.

ВО ВТОРНИК

# ДОМ ПЕЧАТИ

МАЯ  
1926

# 24

В ПОРЯДКЕ ПОЯВЛЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ ИСКУССТВ А

## ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЙ ВЕЧЕР ОБЗЕРИУТОВ

# ТРИ ЛЕВЫХ ЧАСА

ОБЗЕРИУ—Объединение Реального Искусства.  
Литература—ИЗО—КИНО—ТЕАТР.

**Первый час.** Вступление. Декларация Обзериу Декларация Литературной Секции  
К. К. Вагинов Н. Ядровеня  
И. Заболоцкий И. Бахтерев  
Д. Хармс А. Введенский

**Второй час.** Будет показана театральное представление

## ЕЛИЗАВЕТА БАМ

Текст: Д. М. Хармс  
Декларация и постановка: М. Бахтерев  
Постановка: М. Бахтерев, С. П. Барковский, Д. Хармс. Музыкальные иллюстрации: М. Бахтерев  
Сценография: Барковский, Барковский, Грин, Хармс.  
Музыка: М. Бахтерев. Свет: Барковский. Звук: Барковский. Д. М. Хармс.

**В ТРЕТИЙ ЧАС „СРАЖЕНИЕ ДВУХ БОГАТЫРЕЙ“**  
Текст: Александр Разумовский. Музыка: Владимир Владимирович, автор музыкального материала. Музыкальные иллюстрации: М. Бахтерев.  
Декларация постановки: Александр Разумовский.

**Третий час.** Второе представление в путях кино—Александр Разумовский

Кинорежиссер: Александр Разумовский. Постановка: Александр Разумовский. Музыкальные иллюстрации: М. Бахтерев.  
Будет показан фильм № 1-мяСОРУБКА  
Работы Александра Разумовского и Константина Шварца.  
Музыкальные иллюстрации: М. Бахтерев.  
Сценарий: Александр Разумовский. Постановка: Александр Разумовский. Музыкальные иллюстрации: М. Бахтерев.  
Музыкальные иллюстрации: М. Бахтерев. Декларация постановки: Александр Разумовский. Декларация постановки: Александр Разумовский. Декларация постановки: Александр Разумовский.

**ДИСПУТ** ведет Обзериу Сергей Цамбал, который будет выражать  
общественное мнение по всем вопросам искусства и литературы.  
Начало в 7; час. веч.

Цены билетов от 40 коп. до 2 руб.  
Члены Д. П. входят 50%.  
ГОРДАВО БРУНО. ЗОЛОТЫЕ РОССИИ

## **Предисловие**

## МЕДВЕДЬ ИЗ ОБЭРИУ

Есть люди, чьи имена упоминаются часто, но никогда — в начале предложения. Перед их именем всегда стоит запятая, после — тоже, а иногда невнятное «и др.». Именно такое место занимает имя Дойвбера (Бориса Михайловича) Левина в любой книге, любой статье об обэриутах. Он всегда упоминается в списке участников этой литературной группы, но всегда только в списке. Ни одна из книг писателя не была переиздана после его гибели на фронте, ни одна его строчка не вышла в свет после начала перестройки, его произведения даже не включены в обэриутские антологии, выходившие в последние годы.

Статья В. Дымшица о Дойвбере Левине, откуда взята эта цитата, называется «Забытый обэриут»<sup>1</sup>. «Самый забытый» — добавляет он в конце.

Спорить не с чем. Дойвбер Левин, ближайший соратник Даниила Хармса, Александра Введенского, Игоря Бахтерева — действительно остается «самым забытым» из основного ядра участников ОБЭРИУ. Книги его не переиздавались десятки лет. Исправим только одно преувеличение, касающееся времен перестройки: в 1989 г. В. Глоцер опубликовал (точнее, перепечатал) в журнале «Пионер» рассказ «Полет герр Думкопфа», тесно примыкающий к детскому корпусу сочинений обэриутов<sup>2</sup>. В антологии же Левина не включают по причине понятной и печальной: Левин не оставил ни единого собственно обэриутского текста. Все они, вместе с архивом писателя, сгорели в печи в годы ленинградской блокады.

\*\*\*

Дойвбер Левин родился 24 октября 1904 г. в Лядах Могилевской губернии, в семье коммивояжера. Местечко Ляды вошло в русскую историю: здесь в 1812 г. бонапартовские войска перешли границу старой России — и вновь прошли через Ляды, отступая. В Лядах ночевал Наполеон после сражения под Красным. Вошло местечко и в историю еврейскую: в Лядах жили основатель любавичского хасидизма (течения Хабад) р. Шнеур Залман Шнеерсон — прозванный «ребе из Ляд» — и его старший сын и преемник р. Дов Бер; они поддерживали Александра I в борьбе с Наполеоном и в 1812 г. с приближением французских войск покинули местечко.

Население Ляд по переписи 1897 г. составило 4483 чел., в том числе 3763 еврея. Вторая мировая война буквально стерла старинное местечко с лица земли. Почти все жители-евреи были расстреля-

ны нацистами и их пособниками-полицаями в начале апреля 1942 г., сами Ляды были разрушены в ходе боев 1943-1944 гг.<sup>3</sup>

Ушла в небытие и «улица Сапожников», давшая название одной из повестей Дойвбера Левина. Так, по словам друга его юности, литератора-фольклориста С. Мирера, Левин «назвал узкий переулочек, где жило много сапожников и разных мастеров <...> После дождей улица Сапожников превращалась в речку, по которой я <...> спускался вниз на самодельном плотике»<sup>4</sup>.

Родным языком Левина был идиш; знал он и иврит и в детстве, как и полагалось в хасидском местечке, посещал хедер: «Учился в духовной школе, хорошо знал, любил и часто читал на древне-еврейском Библию Дойвбер Левин. Но был ли он верующим — поручиться не могу» — свидетельствует друг писателя, автор «Республики ШКИД» Л. Пантелеев<sup>5</sup>. Затем, видимо, Левин учился в гимназии, открывшейся в Лядах после революции, вместе с Мирером взалхлеб читал Ибсена, Шекспира, Гамсуна и Пшибышевского и прослыл записным донжуаном:

Мы оба очень любили Пшибышевского, Борис даже подражал ему. До сих пор с удовольствием вспоминаю наши разговоры на литературные темы. Но одно событие резко снизило мое хорошее к нему отношение. Рядом с этой улицей Сапожников проживала замечательная ляднянская красавица Соня Волкова. У Дойвбера возник с ней роман. Она его тоже полюбила. Однако он был большим ловеласом и в итоге оставил ее, чем, конечно, нанес ей большую душевную рану. И не ей одной, таких девушек у него было много. Я очень сочувствовал Соне, говорил с Дойвбером, хотя и совершенно безрезультатно, утешал ее. Она мне очень нравилась. Да и одному ли мне! Однако ее выбор пал на Левина, и все кончилось так печально. Дальнейшую судьбу Сони я не знаю, кроме одного факта: она стала женой шведского консула. Так что я не знаю, проиграла ли она в итоге или, наоборот, выиграла от того, что Борис так с ней поступил. Ах, какая это была достойная, какая замечательная девушка!

— рассказывает Мирер<sup>6</sup>. Друзья решили поступать в университет в Саратове, но жизнь разбросала их: Мирер оказался в Москве, а семнадцатилетний Дойвбер Левин — в Петрограде. В 1921 г. он поступил в университет, а в 1926 г. был принят на театральное отделение Курсов подготовки научных сотрудников (позднее — Высшие государственные курсы искусствоведения) при Государственном институте истории искусств (ГИИИ), где учился до 1928 г.

Одновременно на кино-отделение курсов ГИИИ, этой «цитадели формалистов в Ленинграде», по выражению А. Кобринского, поступил Д. Хармс; на втором курсе театрального и словесного отделений в то время учились, соответственно, И. Бахтерев и К. Вагинов.

По словам Бахтерева, Левин познакомился с Д. Хармсом на вечере в доме П. Марселя (Русакова), брата возлюбленной, затем жены

Хармса Э. Русаковой<sup>7</sup>. Вскоре «Боба» Левин, как его называли друзья, стал постоянным участником той часто менявшейся названия группы, которой предстояло войти в историю как ОБЭРИУ.

В декларации ОБЭРИУ (1927) о Левине сказано кратко и скромно: «Бор. Левин — прозаик, работающий в настоящее время экспериментальным путем». Однако Левин и Бахтерев разработали также театральную часть декларации, где были изложены главные принципы обэриутского театра:

Предположим так: выходят два человека на сцену, они ничего не говорят, но рассказывают что-то друг другу — знаками.

При этом они надувают свои торжествующие щеки. Зрители смеются. Будет это театр? Будет. Скажете — балаган? Но и балаган — театр.

Или так: на сцену опускается полотно, на полотне нарисована деревня. На сцене темно. Потом начинает светать.

Человек в костюме пастуха выходит на сцену и играет на дудочке. Будет это театр? Будет.

На сцене появляется стул, на стуле — самовар. Самовар кипит. А вместо пара из-под крышки вылезают голые руки.

Будет это? Будет.

И вот все это: и человек, и движения его на сцене, и кипящий самовар, и деревня — нарисованная на холсте, и свет — то потухающий, то зажигающийся, — все это — отдельные театральные элементы.

До сих пор все эти элементы подчинялись драматическому сюжету — пьесе. Пьеса — это рассказ в лицах о каком-либо происшествии. И на сцене все делают для того, чтобы яснее, понятнее и ближе к жизни объяснить смысл и ход этого происшествия.

Театр совсем не в этом. Если актер, изображающий министра, начнет ходить по сцене на четвереньках и при этом — выть полочьи; или актер, изображающий русского мужика, произнесет вдруг длинную речь по-латыни — это будет театр, это заинтересует зрителя, даже если это произойдет вне всякого отношения к драматическому сюжету. Это будет отдельный момент — ряд таких моментов, режиссерски организованных, создадут театральное представление, имеющее свою линию сюжета и свой сценический смысл.

Это будет тот сюжет, который может дать только театр. Сюжет театрального представления — театральный, как сюжет музыкального произведения — музыкальный. Все они изображают одно — мир явлений, но в зависимости от материала — передают его по-разному, по-своему.

Придя к нам, забудьте все то, что вы привыкли видеть во всех театрах. Вам, может быть, многое покажется нелепым.

Мы берем сюжет — драматургический. Он развивается вначале просто, потом он вдруг перебивается как будто посторонними моментами, явно нелепыми. Вы удивлены. Вы хотите найти ту привычную логическую закономерность, которую — вам кажется — вы видите в жизни. Но ее здесь не будет. Почему? Да потому, что предмет и явление, перенесенные из жизни на сцену, — теряют «жиз-

ненную» свою закономерность и приобретают другую — театральную. Объяснять ее мы не будем.

Воплотить эти принципы в жизнь призвана была пьеса Д. Хармса «Елизавета Бам»; писалась она в большой спешке — уже запланирован был вечер ОБЭРИУ в Доме печати. Бахтерев и Левин участвовали в разработке первоначального плана пьесы (вначале замышлялась «кровавая драма» с убийством) и ее постановке. «Елизавета Бам» стала гвоздем знаменитого вечера «Три левых часа», состоявшегося 24 января 1928 г. — «апофеоза театрализованных выступлений группы» (М. Мейлах)<sup>8</sup>.

Здание Дома печати осаждала толпа. Хармс читал стихи, сидя на черном лакированном шкафу, А. Введенский выезжал на сцену на трехколесном велосипеде, во время чтения Вагинова в глубине сцены проделывала классические па балерина Милица Попова, а Бахтерев, завершив чтение, неожиданно для всех повалился на спину...<sup>9</sup> Многие из этих сценических трюков, подробно описанных в воспоминаниях, монографиях и статьях, придумал Левин — именно ему была поручена «театрализация» выступлений поэтов<sup>10</sup>.

В сентябре 1928 года Левин участвовал в выступлении обэриутов на диспуте, состоявшемся после вечера В. Маяковского в Ленинградской капелле. По воспоминаниям Бахтерева, обэриуты вышли на сцену, и Введенский огласил их декларацию «с короткими примерами обэриутского творчества».

Осенью Левин, по всей видимости, принимал участие в работе над постановкой пьесы Хармса и Бахтерева «Зимняя прогулка» (пьеса была поставлена на вечере в Доме печати 25 декабря, текст не сохранился).

В записных книжках Хармса сохранилась программа еще одного декабрьского вечера ГИИИ — этот вечер в последний момент отменила администрация института. Нам нем Левин должен был выступить с «эвкалической прозой»: звучный греческий неологизм был произведен от *eu* (добрый) и *kalos* (прекрасный).

Таково одно из немногих свидетельств относительно обэриутской прозы Левина. Еще одно оставил нам ленинградский прозаик и фантаст Г. Гор:

В 1929 году я присутствовал на вечере обэриутов в студенческом общежитии Мытни. На давно не мытых стенах Мытни обэриуты развесили странные плакаты, похожие на детские рисунки, и лозунг: «Мы — не пироги», написанный детскими каракулями.

Эстетическим кредо обэриутов был парадокс, пришедший в литературу вместе с «Алисой в стране чудес» Кэрролла, вместе с Чарли Чаплином и английскими детскими стихами, имитирующими детский фольклор с его алогичным восприятием мира.

<...> Хармс и Введенский сделали это главным принципом своей поэзии. Но то, что выглядело вполне нормальным в стихах, напи-

санных для детей, вызывало недоумение, а иногда и протест, когда оно было пересажено в поэзию для взрослых.

Хармс сразу же уловил настроение аудитории и вместо «взрослых» стихов стал читать детские, превратив критически настроенных к нему студентов в детей.

Обериутский прозаик Дойвбер Левин, впоследствии героически погибший на Невской Дубровке, прочитал главы из романа «Похождение Феокрита». Роман Левина походил на картину Марка Шагала. Так же как у Шагала, в «Похождении Феокрита» размывались границы между тем, что могло быть, и тем, что могло только присниться. В нижнем этаже шагаловски фантастического дома жил обычный советский служащий, а в верхнем обитало мифическое существо с головой быка. Только потолок отделял современность от античности, спаянных вместе причудливой фантазией автора<sup>11</sup>.

Не только Гор, но и Бахтерев воспринял «Похождение Феокрита» и повесть «Парфений Иваныч» как литературный аналог Шагала: «По мироощущению обе повести приближались к живописным полотнам Марка Шагала»<sup>12</sup>. При этом, как указывает Дымщиц, оба автора специально подчеркивали, что аналогия с Шагалом была подсказана манерой, а не тематикой – в обэриутских вещах Левина, по словам Бахтерева, «отсутствовала еврейская тема или специфически белорусский материал».

Увы, от «Похождения Феокрита» (в некоторых источниках — «Жизнь Феокрита»), как и повести «Парфений Иваныч», остались одни воспоминания. Безвозвратно исчезли и четыре рассказа Левина, отправленные среди других обэриутских текстов в Париж с художником П. Мансуровым в августе 1928 г. — несбыточный план Хармса, надеявшегося на публикации в заграничных изданиях. Известны названия трех утраченных рассказов: «Улица у реки», «Козел», «Третий рассказ».

В конце 1920-х гг. Левин, подобно другим обэриутам, обратился к детской литературе. Но возникла загвоздка: писатель Борис Михайлович Левин в литературе уже существовал. Выход подсказал С. Маршак, и Левин начал подписываться своим еврейским именем — Дойвбер.

В 1930 г. вышла его первая детская книжка, «Полет герр Думкопфа», фантастическая история об ученом чудаке-немце, типичном персонаже обэриутов и некоторых серапионовцев (ранее рассказ печатался в журнале «Пионер»). Те же мотивы абсурдного изобретательства Левин развивал в совместном с Хармсом рассказе «Друг за другом», опубликованном в журнале «Чиж».

И в том же году грянул гром: весенний вечер обэриутов в общежитии студентов ЛГУ закончился скандалом. Студенческая аудитория, как признавал позднее на допросе Хармс, бушевала и требовала «отправки нас в Соловки». Ленинградская газета «Смена» выступила со статьей «Реакционное жонглерство (Об одной вылазке литературных хулиганов)»<sup>13</sup>.

Обереуты далеки от строительства. Они ненавидят борьбу, которую ведет пролетариат. Их уход от жизни, их бессмысленная поэзия, их заумное жонглерство — это протест против диктатуры пролетариата. Поэзия их поэтому контрреволюционна. Это поэзия чуждых нам людей, поэзия классового врага

— такие хлесткие определения, попахивавшие тюремной камерой, распространял от имени «пролетарского студенчества» автор печатного доноса, некто Л. Нильвич (под этим псевдонимом, как считается, скрывался сотрудник ОГПУ Е. Сно, посещавший выступления обэриутов по профессиональной надобности). В статье сохранились не только фрагменты пропавших стихов обэриута Ю. Владимирова, но и цитата из рассказа Левина:

Первым читал Левин. Читал он рассказ, наполненный всякой дичью. Тут и превращение одного человека в двух («человек один, а женщин двое: одна — жена, другая — супруга»), тут и превращение людей в телят и прочие цирковые номера.

Недоумевая, следили собравшиеся за этими вывертами. К чему все это?

Вопли аудитории не испугали Левина — он твердо стоял на своем, что вызвало у «Нильвича» приступ неподдельной ярости:

Левин заявил, что их «пока» (!) не понимают, но что они единственные представители (!) действительно нового искусства, которые строят большое здание.

— Для кого строите? — спросили его.

— Для всей России, — последовал классический ответ.

Вечер в общежитии ЛГУ 1 апреля 1930 г. стал последним публичным выступлением ОБЭРИУ. Репрессии, обрушившиеся на обэриутов в конце 1931 года (аресты и высылка Введенского, Хармса, Бахтерева) каким-то чудом обошли Левина стороной. В тридцатые годы он одну за другой публикует детские книги; однако Левин, как и его соратники-обэриуты, вкладывает в них совершенно не «детское» содержание.

В первом же «большом» произведении «Десять вагонов» (1931, второе издание 1933) писатель нащупывает собственную тему: быт еврейских местечек накануне и во время революции и гражданской войны. Кровавая метель исторического катаклизма в восприятии ребенка или подростка, зловеще-абсурдная речь и вещицы сны становятся его стихией. За «Десятью вагонами» последовали повести «Вольные штаты Славичи» (1932), «Лихово» (1934) и пьеса «Амур-река» (1939). Немалый успех сопутствовал повести «Улица сапожников», которая выдержала в 1932-1935 гг. три издания. По мнению В. Дымшица, повести Левина —

это своеобразная, оригинальная проза зрелого мастера, интересная, прежде всего, своим замечательным стилем. В реалистической прозе Левин вовсе не отказывается от формальных поисков своей юности. Гротеск, алогизм, разрушение структуры быденной речи, языковые эксперименты, описание фантастических сновидений сочетаются в ней с тонким психологизмом и мастерским диалогом. Неутраченный вкус к обэриутской «зауми» виден в каждом произведении. <...>

Первая по-настоящему самостоятельная книга Дойвбера Левина «Десять вагонов» основана на устных рассказах сирот Гражданской войны — воспитанников Еврейского детского дома в Ленинграде. Подчеркнем: эта книга — вовсе не журналистская обработка записей, а сложный формальный эксперимент. Начинается она с фигуры автора, типичного обэриутского «чудака», «праздношатающегося», которого прогулка по Васильевскому острову «случайно» приводит в детский дом, где живут его герои, еврейские сироты, бывшие беспризорники. Их рассказы построены на двойном остранении. Во-первых, автор умело, чисто языковыми средствами, но не прибегая к примитивным «одессизмам», показывает, что беседа идет не на русском языке, плохо известном детям, а на идише. Во-вторых, война, увиденная глазами детей, не знавших мирной жизни или забывших о ней, предстает как забавная, а местами увлекательная игра, отчего кажется еще ужасней. В целом, эта, к сожалению, забытая, как и другие сочинения Левина, книга могла бы занять свое достойное место рядом со знаменитой «Республикой Шкид» его друга Леонида Пантелеева.

Три остальные повести Дойвбера Левина посвящены жизни еврейских местечек Белоруссии в предреволюционные годы и годы Гражданской войны. «Вольные штаты Славичи» — книга о местечке, на тридцать три часа захваченном бандой анархистов. «Улица сапожников» — история жизни еврейского подростка. «Лихово», наиболее зрелая и единственная «взрослая» повесть Левина, рассказывает о дореволюционной жизни нищих евреев-ткачей в Полесье.

Сюжетные мотивы всех повестей крайне просты и формально соответствуют штампам массовой советской литературы: классовая борьба, обретение неорганизованной массой ремесленников пролетарской солидарности, смычка погромщиков-антисемитов с еврейской буржуазией и т. п. Но плоские, малоинтересные сюжеты повестей входят в очевидное противоречие с мастерством Левина как стилиста. Отметим также, что его повестям присуще точное изображение культурного ландшафта, быта и социальной структуры местечка и его предместий. Все местечки, описанные в книгах Левина, имеют реальные прототипы: Ряды — это Ляды, Славичи — Баево, Лихово — Дубровино<sup>14</sup>.

В 1936 г. Н. Лебедев снял по сценарию Левина популярный в свое время кинофильм «Федька»; в нем играл П. Алейников и дебютировал на экране В. Меркурьев. Позднее Левин переработал сценарий в повесть; она была напечатана в 1938 г. в журнале «Звезда» и в 1939 г. вышла отдельной книгой.

Участник Советско-финской войны, Дойвбер Левин в 1941 году снова оказался на фронте, где командовал стрелковым взводом. Из письма жены известен его последний почтовый адрес: 618-й пулеметно-стрелковый 1062 стрелкового полка 1-й батальон, 1-я пуль-рота, 2-й взвод<sup>15</sup>. Он погиб 17 декабря 1941 года.

В 1944 году, вернувшись в Ленинград, Л. Пантелеев записал в дневнике:

...А за углом, на улице Чехова, жил милый друг мой Борис Михайлович Левин. Жил и больше не будет жить. Ни здесь и нигде в этом мире...

В отличие от своего учителя Хармса, он был настроен безысходно мрачно, немецкое нашествие его пугало.

Веселый, добродушный, мешковатый, – С. Я. Маршак называл его «гималайским медведем», намекая отчасти на внешность, отчасти на имя Левина<sup>16</sup>, – уютный, чем-то очень похожий на милейшего Л. М. Квитко, Борис Михайлович вдруг, на глазах у нас растерял всю свою уютность, весь оптимизм. Еще в 1939 году, когда немцы, перестав играть в прятки, в открытую пошли «завоевывать мир», он сказал мне (или повторил чьи-то слова):

– Конечно! В мире погасли все фонари.

И все-таки в первые же дни войны он пошел записываться в ополчение. Поскольку он был, как и все мы, офицером запаса, его направили в КУКС, то есть на курсы усовершенствования командного состава. Там он учился три или четыре месяца. Потом получил назначение на фронт, который был уже совсем рядом.

Погиб Борис Михайлович в открытом бою – на железнодорожном полотне, в 25 километрах от станции Мга. Первый немец, которого он увидел, погасил для него все фонари, и солнце, и звезды...

Но знаю, где сейчас его дочка Ира. Сколько ей? Лет уж семь? А книги его стоят на полках библиотек, и читать их, надеюсь, будут долго: и «Федьку», и «Лихово», и «Улицу Сапожников», и «Десять вагонов»...<sup>17</sup>

Надежды Пантелеева не сбылись: книги Левина после войны более не переиздавались, и только теперь настало время их возвращения к читателю.

*И. С.*

## Примечания

1. *Дымщиц В.* Забытый обэриут // Народ книги в мире книг. 2004. № 53, октябрь. См. о Д. Левине также: *Биневич Е.* Плечом к плечу с читателями // Детская литература. 1984. № 2. С. 49-53. *Бахтерев И.* Дойвбер Левин // До

последней минуты...: Ленинградским писателям, павшим на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и во время блокады. Сост. З. Л. Дичаров. Л., 1983.

2. *Левин Д.* Полет герр Думкопфа. Подг. к печати В. Глоцер // Пионер. 1989. № 12. С. 46-53.

3. О Лядах и судьбе еврейского населения см. *Тамаркин В.* Глас убиенных молчать не дает! (<http://www.mishpoha.org/library/03/0304.shtml>).

4. *Беленькая А.* Поездка в Ляды. Б.м., 2010 (PDF-издание). С. 69, 25.

5. *Пантелеев Л.* Я верую. Главы из автобиографической книги. Публ. и предисл. В. Глоцера // Новый мир. 1991. № 8.

6. *Беленькая А.* Поездка... С. 70.

7. *Хармс Д.* Горло бредит бритвою: Случаи. Рассказы. Дневниковые записи. Сост. и комм. А. Кобринского и А. Устинова. Предисл. А. Кобринского // Глагол. 1991. № 4. С. 165.

8. *Введенский А.* Полное собрание сочинений. Вступ. статья, подг. текста и прим. М. Мейлаха. Анн Арбор, 1980. Т. 1. С. XXI.

9. См. *Кобринский А.* Даниил Хармс. М., 2008. С. 108-114.

10. *Жаккар Ж. Ф.* Даниил Хармс и конец русского авангарда. СПб., 1995. С. 189.

11. *Гор Г. С.* Волшебная дорога: Роман. Повести. Рассказы. Л., 1978. С. 182-183.

12. *Бахтерев И.* До последней минуты... С. 134. Цит. по: *Дымициц В.* Забытый обэриут...

13. Смена. 1930. № 81, 9 апреля.

14. *Дымициц В.* Забытый обэриут...

15. *Глоцер В.* О Дойвбере Левине // Пионер. 1989. № 12. С. 45.

16. По-настоящему, по паспорту, его звали Дойвбер, то есть медведь по-древнееврейски (дойв) и медведь на современном еврейском (бер) (*Прим. Л. Пантелева*).

17. *Пантелеев Л.* Из старого путевого дневника // Собр. соч.: В 4 т. Л., 1984. Т. 3. С. 155.

# **ПОЛЕТ ГЕРР ДУМКОПФА**

**Рисунки и обложка  
Н. Лапшина**

22 коп.

ДОЙВБЕР ЛЕВИН  
ПОЛЕТ ГЕРР  
ДУМКОПФА



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

Я зашел в Комитет по делам изобретений при ВСНХ в Ленинграде. Меня провели в комнату, заваленную папками и бумагами, к сотруднику патентного отдела.

— Что вам угодно? — спросил меня сотрудник патентного отдела.

— Я хочу стать изобретателем, — сказал я. — Что я для этого должен сделать?

Сотрудник повертел в пальцах крышечку чернильницы и сказал:

— Что вы хотите изобретать?

— Я еще сам не знаю, — сказал я, — но изобретать мелочи я не хочу. Я хочу изобрести что-нибудь очень важное и полезное.

Сотрудник встал, подошел к подоконнику, порылся в папках и снова вернулся к столу, держа в руках две бумажки.

— Вот, — сказал сотрудник, — я прочту вам две заявки на изобретения, поданные двумя изобретателями. Выслушайте их и скажите, какое из этих изобретений для нас важнее и полезнее.

Я сел и приготовился слушать.

— Вот, — сказал сотрудник, — первое изобретение. Автор его — Лямзин. Изобретение его называется «Солнцетермос» \*. Изобретение состоит вот в чем: два шара из стекла помещаются на высокой мачте. Устройство дает ослепительный свет на весь мир, от которого можно укрыться только за плотными шторами.

Второе изобретение:

Изобретатель Серебряков. Он изобрел способ производства картона из отбросов бумаги, опилок, древесной коры и мха.

— Конечно, — сказал я, — важнее и полезнее «Солнцетермос»!

— Тогда, — сказал сотрудник, — я вам не советую заниматься изобретательством. Изобретение Серебрякова для нас и важнее и полезнее.

— Почему? — удивился я.

— Очень просто! — ответил сотрудник. — «Солнцетермос», может быть, и замечательная штука. Но, во-первых, он неосуществим, так как он совершенно не подтвержден научными

---

\* Все указанные изобретения, действительно, были представлены в Комитет по делам изобретений при ВСНХ. Номер заявки на «Солнцетермос» 2767 (1927 г.) (Здесь и далее прим. авт.).

данными, а во-вторых, он нам сейчас и не нужен вовсе. А вот производство картона из отходов, если оно будет применено по всей бумажной промышленности, даст нам в год 23 миллиона рублей экономии... Или вот такое незначительное на вид изобретение, как золотник для паровоза, представленное Тимофеевым, даст нам в год экономии 5 миллионов рублей.

— Что же надо изобретателю, чтобы делать полезные и нужные изобретения?—спросил я.

— Во-первых, — сказал сотрудник патентного отдела, — изобретателю надо много учиться. Мы часто видим, что за крупные задачи берутся люди без научной подготовки. Вот посмотрите, например, как описывает изобретатель Лямзин устройство своего «Солнцетермоса», я вам сейчас прочту. Слушайте и не пугайтесь мудреных слов: «Два шара из стекла, дающего непрерывную де-радиоактивность и непрерывную вулканизацию камней (эти физиологические породы участвуют в движении земного шара и планет), помещаются один внутри другого на высокой мачте. Внизу под мачтой помещается гигантская икс-мачта». — Вы что-нибудь поняли?

— Нет! — сказал я.

— Мы тоже ничего не понимаем, — сказал сотрудник патентного отдела. — Задачу человек по ставил себе солидную — взять и осветить одним фонарем весь мир, но то, что он нам предлагает, бессмысленно и невыполнимо.

— Хорошо! — сказал я. — Для того, чтобы стать изобретателем, нужно много учиться. А что нужно еще?

— Во-вторых,— сказал сотрудник патентного отдела, — изобретатель должен знать все, что сделано в его области до него. Не то он может запоздать со своим изобретением лет на 50. Один изобретатель изобрел двухконечные спички, то есть спички, которые можно зажигать с двух концов. Изобретатель имел благую цель — экономию древесного материала. Но его труды пропали даром.

— Почему? — спросил я.

— Потому что такие спички изобретены уж в Германии ровно 20 лет тому назад, — сказал сотрудник. — В-третьих, запомните: всякое изобретение должно быть экономно. Один человек изобрел способ механической разводки пилы. Способ сложный и дорогой. А к чему он нам? Разводка пилы от руки и проще, и удобней, и дешевле. И наконец, всякое изобретение должно быть разумно. К нам за год поступает больше 20 000 заявок на изобретения. Вы подумайте: 20 000 за один

год! Среди очень ценных и полезных изобретений попадаетея немало вздорных и нелепых. Слыхали вы о таком Маковском?

— Нет! — сказал я, — не слыхал!

— Замечательный человек этот Маковский! — сказал сотрудник, — к нам от него поступает множество изобретений. Вот одно из них.

Сотрудник порылся в папках, нашел бумажку и прочел:

**«Зонт для работающих в поле: Делается он так: На деревянные стойки натягивается полотно. Стойки ставятся на колеса. Ты работаешь на поле и по мере работы на другом месте передвигаешь за собой палатку».**

— Да зачем же это нужно? — спросил я.

— То-то и оно-то, что не нужно! — сказал сотрудник. — А вот изобретение другого такого же изобретателя.

**«Способ раскроя платья: Животное (изобретатель, по видимому, подразумевает шкуру убитого животного) рубят на две части. Срезывается шея и хвост и получается два пиджака. Один из них со стоячим воротником».**

— И портных не надо! — сказал сотрудник. — А вот новый способ самосогревания.

— Какой же это способ? — спросил я.

— Способ простой, — ответил сотрудник, — проще быть не может. Он достал другую бумажку и прочел:

**«Способ самосогревания: Дыши себе под одеяло, и тепло изо рта будет омывать тело. Одеяло же сшей в виде мешка».**

Я захохотал.

— Это еще что! — сказал сотрудник улыбаясь, — тут нам один человек принес способ окраски лошадей!

— Зачем же их красить? — спросил я.

— Ясно, ни к чему! — сказал сотрудник, — вы послушайте способ окраски:

**«Чтобы лошадь окрасить в другой цвет, надо связать ей передние и задние ноги и опустить ее в чан с кипяченым молоком».**

Я хохотал на всю комнату.

— Подождите! — крикнул сотрудник, — вы прочтите-ка вот это объявление из американской газеты. Оно перепечатано в советском журнале «Изобретатель».

Я взял журнал и прочел следующее:

## **НОВО! НЕБЫВАЛО!**

### **НЕОБХОДИМО ВСЕМ И КАЖДОМУ!**

Прибор, помещающийся на голове, при помощи которого шляпа снимается автоматически. Достаточно небольшого наклона головы, чтобы шляпа приветственно извилась вверх.

**Незаменимо, когда обе руки заняты чемоданами.**

— Достойные последователи старика Думкопфа! — сказал сотрудник, когда я кончил читать.

— Какого Думкопфа? — спросил я.

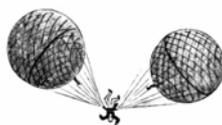
— Вы не слыхали про Думкопфа? — сказал сотрудник. — Но вы непременно должны узнать его историю. У нас тут работает талантливый изобретатель, немецкий инженер Хаген. Если хотите, он вам подробно расскажет историю изобретателя Думкопфа.

— Конечно, хочу! — сказал я.

Сотрудник патентного отдела приоткрыл дверь и крикнул:

— Товарищ Хаген! Подите сюда!

В комнату вошел инженер Хаген. Сотрудник патентного отдела познакомил его со мною и попросил рассказать историю его земляка Думкопфа.



## ПОЛЕТ ГЕРР ДУМКОПФА

### I

В городе Швабштадте на главной площади стоит памятник: снизу — глыба, на глыбе — шар, на шаре огромная бронзо-



вая муха, а на мухе верхом сидит маленький старичок в халате, в туфлях и держит в руке будильник. Надпись на лицевой стороне памятника гласит: «Герр Думкопфу от благодарных сограждан». «1743-1816 гг.».

Этот Думкопф был знаменитым в свое время изобретателем. О нем говорил весь Швабштадт. Еще и по сей день существует немецкая поговорка: «Умен, как Думкопф»\*. Вся свою жизнь герр Думкопф служил писцом в городской ратуше Швабштадта. Он был низкого роста, плешивый и бритый. Жил он на Урштрассе у толстой немки фрау Маргариты. Жил одиноко, никуда не ходил, ни с кем не дружил. Когда ему минуло 60 лет, он прославился.

---

\* Думкопф по-немецки — дурак.



Началось с того, что однажды утром 7-го августа 1802 года фрау Маргарита, возвращаясь с рынка домой, принесла с собой будильник.

— Посмотрите, — сказала она Думкопфу, — я купила будильник. — Герр Думкопф взял будильник и внимательно его осмотрел: он снял стеклышко, поднес будильник к уху и послушал его ход. Будильник шел мерным ходом — и обе стрелки двигались по циферблату.

Герр Думкопф задумался. «Эти стрелки, — подумал он, — все время двигаются слева направо. Хорошо. А что будет, если мы их пустим справа налево?» Он так и сделал. Но только двинул герр Думкопф стрелку назад, как в будильнике что-то заворчал, потом послышался хрип, потом раздался звон, а потом невидимый голос вдруг запел: «Финкель пинкель тра-ля-ля!»

Герр Думкопф пришел в восторг. Он снова двинул стрелки, и будильник снова пропел: «Финкель пинкель тра-ля-ля!»

— Замечательно! — сказал Думкопф. — Фрау Маргарита, — сказал он, — я сейчас сделал открытие: если стрелки будильника двигать обратно, — будильники начинают петь.

— Замечательно, — сказала фрау Маргарита, прослушав песенку.

Тогда герр Думкопф решил, что он, Думкопф, человек весьма сообразительный. И с тех пор он принялся размышлять обо всем, что попадалось ему на глаза.



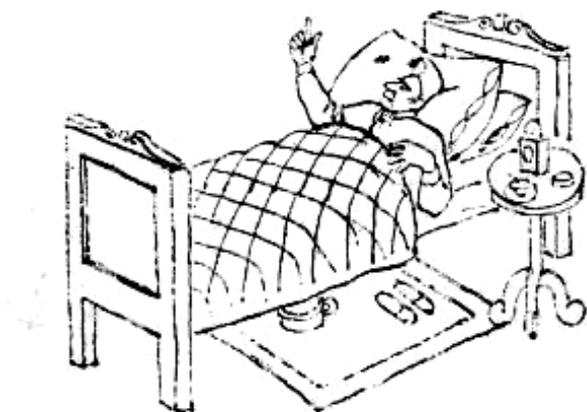
## II

Почему на памятнике Думкопфу сидит бронзовая муха?

Однажды утром герр Думкопф проснулся от непривычного шума: что-то рядом с ним жужжало и трещало, как молотилка.

Герр Думкопф открыл глаза и увидел, что над самым его носом летает большая мохнатая муха. Герр Думкопф долго

следил за полетом мухи, а потом подумал: «Эта муха, — подумал он, — летает не так, как летает птица. Птица для того, чтобы летать, машет крыльями, а муха крыльями не машет\*. Хорошо. Допустим, что у мухи крылышки только для того, чтобы держаться в воздухе. Но чем же она летает?»



Герр Думкопф поймал муху и придержал ее за ножки; муха жужжала, трепыхала крылышками, но улететь не могла. Когда Думкопф отпустил ее, она сейчас же улетела. — Вот оно что! — вскрикнул Думкопф, — муха летает ножками! когда я держал ее за ножки, она летать не могла, — но стоило отпустить ножки, как она тотчас же полетела. Это так! А крылышки ей служат лишь для того, чтобы держаться в воздухе.

Через некоторое время герр Думкопф подумал опять: «Муха, — подумал он, — летает ножками. Хорошо. А что будет, если человек поднимется на воздух и начнет махать ногами, как муха?»

— Тогда этот человек полетит, — ответил себе герр Думкопф.

### III

На следующее утро между герр Думкопфом и герр Доннером — бургомистром Швабштадта — произошла такая беседа:  
Г е р р Д о н н е р. — Чем могу служить?

---

\* Конечно, муха машет крыльями, но машет очень быстро. А попробуйте быстро вращать картонное колесо, — вам будет казаться, что колесо не движется.

Г е р р Д у м к о п ф.— Видите ли, герр Доннер, я решил лететь?

Г е р р Д о н н е р (с изумлением). — Как так лететь?

Г е р р Д у м к о п ф. — Очень просто, как муха.

Герр Доннер открыл рот, помолчал с минуту и вдруг захохотал:

— Ого-го, как муха, ого-го.

Герр Доннер хохотал так громко, что доктор Вундеркинд, ученый советник бургомистра, приоткрыл из соседней комнаты дверь и просунул в комнату свое длинное лицо.

— В чем дело, герр Доннер? — сказал он.

— Доктор Вундеркинд, послушайте-ка! — сказал бургомистр, — этот человек собирается летать, как муха.

— Как так? — сказал, вступая в комнату, доктор Вундеркинд.

— Очень просто, — ответил Думкопф, — я вчера открыл, что муха летает ножками. Крылышки служат ей лишь для того, чтобы держаться в воздухе. Если вы дадите мне два воздушных шара, чтобы держаться в воздухе, то, махая ногами, я полечу не хуже мухи.

— Вот оно как! на шарах! — сказал доктор Вундеркинд, — да ведь на шарах люди уже не раз поднимались на воздух\*.

— Они летали, куда хотели? — спросил Думкопф.

— Нет, — ответил доктор Вундеркинд, — не куда хотели, а куда их несло ветром.

— А в тихую погоду? — спросил Думкопф.

— В тихую погоду они висели в воздухе, — ответил доктор Вундеркинд.

— А я вот, — сказал Думкопф, — полечу, куда захочу и когда захочу.

Доктор Вундеркинд с улыбкой посмотрел на бургомистра.

— Что ж? — сказал он, — коли охота, пусть летит.

— Пусть летит! — повторил бургомистр.



---

\* Первый воздушный шар был построен братьями Монгольфье в 1783 г. Пилатр де-Розья и Д'армант поднялись на воздух. С тех пор люди неоднократно поднимались на шарах.

#### IV

Итак, полет герр Думкопфа был решен. Бургомистр сам наметил маршрут полета.

— Двенадцатого числа сего месяца июля, — заявил он Думкопфу, — в 12 часов пополудни, независимо от состояния погоды и от направления ветра, вы поднимаетесь на воздух.

— Так, — сказал Думкопф.

— Прodelав в воздухе, — продолжал бургомистр, — один маленький круг над площадью ратуши и один большой круг над всем городом...

— Два круга над городом, — сказал Думкопф.

— Хорошо... И два круга над всем городом, — вы берете направление на юг. Двадцать километров вы летите над гористой местностью, десять километров равниной, пересекаете Великий Рейн и 13-го июля на рассвете вы прилетаете в Майнц. В Майнце остановка...

— Майнц, — сказал Думкопф, — я пролечу без остановки.

— Хорошо. Майнц вы пролетаете без остановки. Из Майнца, миновав Аппенгейм, Армсгейм, Вестгофен, вы прилетаете в Вормс.

— Так, — сказал Думкопф.

— 14-го июля на рассвете, — продолжал бургомистр, — вы вылетаете из Вормса и мимо Вестгофена, Армсгейма, Аппенгейма летите обратно в Майнц. В Майнце остановка.

— Майнц, — сказал Думкопф, — я пролечу без остановки.

— Хорошо. Майнц вы пролетите без остановки. Миновав Майнц, вы пересекаете Великий Рейн, десять километров летите равниной, двадцать километров над гористыми местами и 15-го июля в 12 часов пополудни возвращаетесь в Швабштадт.

— Хох!\* — закричал герр Думкопф.

— Хох! — повторил бургомистр, обнимая Думкопфа.

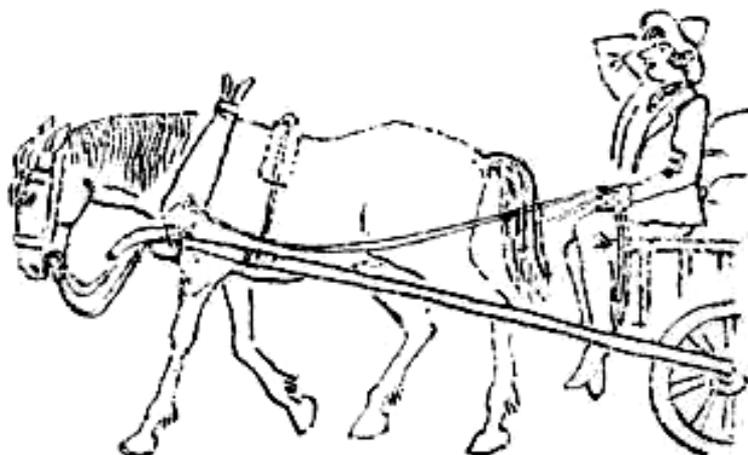
#### V

За три дня до полета Думкопфа, 9-го июля рано утром, из ворот Швабштадта выехала громоздкая телега, нагруженная тюками. На передке телеги, свесив ноги, сидел худощавый че-

---

\* «Хох» — по-немецки «ура!»

ловек с красным носом и с огромными оттопыренными ушами. Это был почтальон Хакеншрит. Он развозил почту по окрестным городам и селам\*.



Лошадь лениво трусила по шоссе. Телега гроыхала и тряслась. А Хакеншрит не переставая чесал себе правое ухо и бормотал: — Ишь ты! полетишь... как муха... — бормотал он, — попробовал бы ты на моей телеге потрястись, а потом и говори: «в Вормс», а то «полечу, как муха», полечу... Летать и я может быть умею. Ишь ты! как муха!..

Приезжая в деревню или в городок, почтальон Хакеншрит слезал с телеги, разносил по домам почту, а потом приходил к местному старшине и говорил:

— Сообщаю вам, господин староста, что мимо вашего села (или города) на днях пролетит герр Думкопф. 12-го июля он вылетит из Швабштадта и полетит в Вормс. Велено вам, господин староста, оказывать ему в пути всяческое содействие, как-то: днем указывать дорогу колокольным звоном, а ночью — горящими факелами. И еще велено вам, уважаемый староста, угостить меня добрым стаканом пива. — Выпив пива, почтальон снова залезал на телегу и ехал дальше. Всю дорогу до следующего села или города он чесал правое ухо и бормотал:

— Ишь ты, летит... ишь ты, как муха.

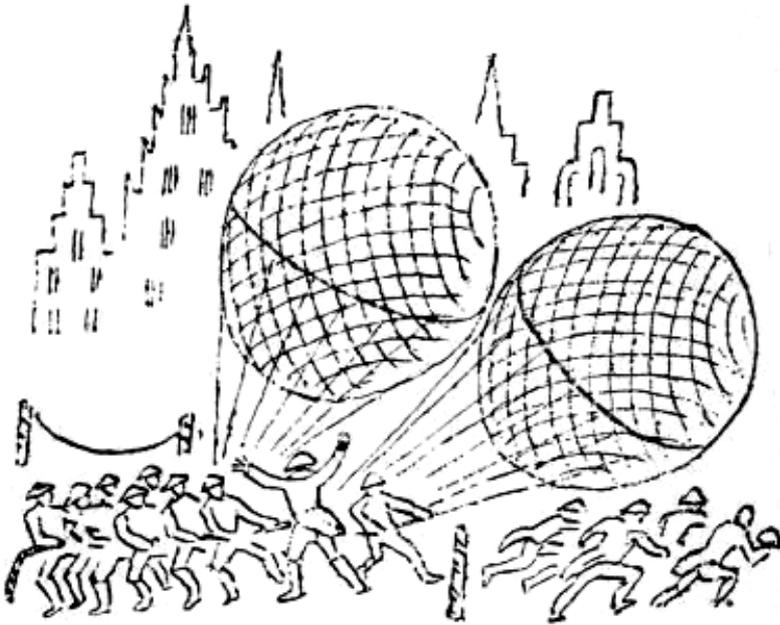
---

\* В то время почту развозили на телегах.

## VI

Наступило 12-е июля 1803 года. В этот день Думкопф должен был вылететь. Город Швабштадт с утра принял праздничный вид. На домах были развешаны флаги, здание ратуши было украшено зеленью, а жители города были одеты в лучшие платья. Всем хотелось видеть, как герр Думкопф взлетит на воздух. Правда, полет Думкопфа над Швабштадтом каждый мог видеть из своего окна, но всем хотелось увидеть, как Думкопф оторвется от земли. Поэтому уже к 10 часам утра все жители собрались на площади возле ратуши, толкали друг друга, становились на цыпочки, вытягивали шеи, а некоторые смельчаки влезли даже на фонарные столбы.

Посредине площади, в отгороженном месте качались два огромных мягких шара. Они казались двумя круглыми горами,



оторвавшимися от земли и повисшими в воздухе. 12 человек во главе с брандмейстером держали шары за канаты. В этот день был довольно сильный ветер, и шары рвались то влево, то вправо. Когда шары рвались влево, народ, стоящий слева, с руганью отступал назад. Спустя минуту шары рвались вправо. Люди слева кричали «хох» и шли за шарами, но шары поворачивали обратно, и храбрецы опять разбегались. — Держи,

ребята, крепче, — кричал брандмейстер, наваливаясь на канат. — Держим, — отвечали ребята. Ребята откидывали головы назад, упирались каблуками в землю, но шары медленно тащили их за собой. Вдруг в толпе раздались крики: — Едут! едут! Толпа расступилась, и к шарам подкатила нарядная коляска. Но тут один из шаров двинулся в сторону коляски — прямо на коней. — Держи! держи! — кричал брандмейстер. Было уже поздно, лошади с фырканием повернули коляску и понесли. — Стой! стой! — кричала толпа. Кто-то схватил коней под уздцы, и кони стали. Из коляски вышли: бургомистр, доктор Вундеркинд и герр Думкопф. — Ура! Думкопф! — крикнула толпа. Думкопф снял шляпу, раскланялся во все стороны и важно направился к шарам.

## VII

Дойдя до шаров, Думкопф влез на бочку и сказал, обращаясь к толпе:

— Многоуважаемые граждане города Швабштадта, — сказал он, — прошу обратить внимание: вот перед вами два воздушных шара. Всем видно? Хорошо! Шары, как видите, простыми веревками привязаны к широкому кожаному поясу. Этот пояс я надену на себя, шары поднимут меня на воздух, и, махая руками и ногами, я полечу, как муха.

— Как муха! — сказал бургомистр.

— Как муха! — крикнули в толпе.

— Я полечу в Вормс и обратно, — продолжал Думкопф, — 15-го июля в 12 часов полудни я вернусь назад.

— Он вернется назад, — сказал бургомистр.

— Ура, — крикнули в толпе. Думкопф кивнул брандмейстеру и сказал:

— Внимание! — сказал он, — я надеваю пояс и лечу!



## VIII

— Разойдись! — крикнул брандмейстер, когда пояс на Думкопфе был застегнут. Толпа подалась назад, и места стало больше. Шары продолжали мотаться из стороны в сторону, то волоча Думкопфа по земле, то поднимая его на аршин кверху. Думкопф что-то кричал, но вокруг стоял такой шум, что слов не было слышно. Бургомистр бегал за Думкопфом, но Думкопф, размахнувшись по воздуху, летел прямо на бургомистра, и бургомистр бежал обратно.

— Тише! — кричал он, но толпа шумела все громче.

— Слушайте, что говорит Думкопф! — кричал бургомистр. Толпа редела. — Он говорит: «бросай канаты», — сказал доктор Вундеркинд.

— Бросай канаты! — крикнул бургомистр.

— Бросай канаты! — крикнул брандмейстер.

— Обождите! — долетел голос Думкопфа.

— Обождите! — крикнул бургомистр.

— Обождите! — крикнул брандмейстер. Но шары уже неслись над площадью.

— Да здравствует Думкопф! — орала толпа, бросая вверх шапки.

— Держите меня! — кричал сверху Думкопф.

## IX

Над домами дул сильный ветер. Когда шары поравнялись с крышей, ветер с силой рванул их в разные стороны. Канат между ними натянулся, и Думкопфа подкинуло вверх, но в тот же миг левый шар взлетел на сажень выше правого. Думкопф потерял равновесие, перекувырнулся и повис над площадью вниз головой. Толпа ахнула. Однако, шары выравнялись и полетели дальше. Все видели, как Думкопф усиленно машет руками и ногами. Тут ветер рванул с новой силой, и кверху взлетел левый шар.

— Упадет! — крикнул кто-то в толпе. Но шары снова выпрямились. Подхваченные ветром, они быстро понеслись вперед, взлетая вверх, спускаясь вниз и снова взлетая. Они все отдалялись и все уменьшались. Вот они стали с орла, — с ворона,

— с дрозда, — с чижа. Вот они сверкнули за рощей и скрылись.

## Х

На крыше дома стояли двое мальчишек — Фриц и Куно и тоже следили за полетом Думкопфа.

— Полетит, — говорил Фриц.

— Не полетит, — говорил Куно.

— Вот он полетел! — закричал Фриц, когда Думкопф поднялся на воздух.

— А сейчас он упадет! — крикнул Куно, когда Думкопф перекувырнулся и повис ногами вверх.

— Летит! — крикнул Фриц, когда шары выпрямились.

— Падает! — крикнул Куно, когда один из шаров снова залетел вверх и Думкопф снова повис вниз головой.

— Полетел! — закричал Фриц, когда шары, подхваченные ветром, понеслись вперед.

Думкопф летел очень быстро и становился все меньше и меньше. Вот он уж стал величиною с муху, а шары с грецкий орех. Мальчишки бегали по крыше с места на место, представляли к глазам руку, смотрели в кулак.

— Вот он! — кричал Куно.

— Это не он, — это пти-

ца, — кричал Фриц.

— Нет, это он — Думкопф! — кричал Куно.

— Да он уж спускается! — закричал он вдруг.

— Где спускается? Что ты врешь! — крикнул Фриц.

— Вон! над рощей! — крикнул Куно.

— Это не Думкопф — это галка! — крикнул Фриц.

— Сам ты галка! — сказал Куно и толкнул Фрица в бок.

— Эй, куда забрались? — раздался голос снизу, — слезай сейчас же! — Мальчишки приумолкли и слезли вниз.



## XI

В тот же день, в городке Вильдэ, за десять километров от Швабштадта, все жители были испуганы страшным криком:

— Летит! — кричал рыжий извозчик Ганс. Он несся по городу на своем дилижансе и стегал кобылу кнутом. У гостиницы «Двух ослов» дилижанс остановила густая толпа. Извозчик соскочил на землю и, размахивая руками, принялся что-то рассказывать. Но никто ничего не мог понять. Понятно было только, — что кто-то летит. Но кто летит, куда ле-



тит, зачем летит, — понять было невозможно. Наконец из толпы выступил булочник Магенбах. Схватив извозчика за грудь, он его хорошенько встряхнул и сказал:

— Если ты, болван, мне сейчас же не скажешь, кто летит, то — видишь? — И показал ему кулак, величиной с дыню.

— Вот я и говорю, — сказал извозчик, — что еду я по дороге из Брокена. Вдруг навстречу мне бежит человек и кричит: «Летит!»

— Ну? — грозно сказал булочник Магенбах.

— Вот я и говорю, бежит человек и кричит: «Летит! летит!» Я его спрашиваю — кто летит? А он и говорит: «Сам не знаю,

кто, а только иду я мимо городских огородов и вижу — бегут крестьяне и кричат: «Летит! летит!»

— Ну? — повторил булочник.

— Я их спрашиваю, кто летит? а они и говорят: «Сами не знаем, а...» — Булочник Магенбаух размахнулся и хотел ударить извозчика. Но вдруг он становил руку и задумался. Все обступили Магенбауха.

— Господа, — сказал вдруг Магенбаух, — да вы знаете, кто это летит?

— Кто? — спросили шепотом стоящие вокруг. Булочник Магенбаух сделал шаг вперед, грозно посмотрел на извозчика, уперся руками в бока и произнес не особенно громко, но так, что все ясно слышали:

— Летит не кто иной, как сам герр Думкопф.

## XII

12-го июля поздно вечером в город Майнц вошел человек в зеленой широкополой шляпе, с палкой в руках. Это был путешественник Кляус Фогель. Дойдя до главной площади города, Кляус Фогель увидел, что тут собралось много народа. На балконе ратуши стоял бургомистр, а рядом с ним человек с двумя горящими факелами в руках. Бургомистр кричал:

— Влево! вправо! вверх! вниз! — а человек махал факелами.

— Что такое они делают? — спросил Кляус Фогель своего соседа слева, — высокого одноглазого человека.

— Дорогу указывают, — ответил человек.

— Кому указывают дорогу? — спросил Кляус Фогель. Человек удивленно смерил его своим единственным здоровым глазом и ничего не ответил. Вместо него ответила маленькая старушка.

— Дум-ко-пу, сынок, — прошамкала старушка, — Дум-ко-пу!

Вдруг раздались крики:

— Летит! летит!

Кляус Фогель посмотрел вверх и действительно увидел, что летит.

— Думкопф! Думкопф! — закричал и Кляус Фогель.

— Сюда! сюда! — кричал бургомистр.



Но Думкопф, — а может быть и не Думкопф, хотя может быть и Думкопф, впрочем я и сам не знаю, — Думкопф летел дальше. Тогда бургомистр во главе толпы бросился за ним следом. Бургомистр пробежал весь город, громко повторяя: «Сюда! сюда!» — Рядом с ним бежал человек и махал факелами. Но Думкопф все же не остановился. Он пролетел городской вал и скрылся во мраке.

### ХШ

В городе Аппенгейме, как и во всяком городе, есть пожарная каланча. На этой каланче день и ночь стоит дозорный и все время глядит по сторонам. Если в городе пожар — он бьет в набат. Случается, что дозорный глядит-глядит, а потом и заснет.

В ночь с 13-го на 14-е июля дозорный на Аппенгеймской каланче спокойно спал, а на рассвете, проснувшись, увидал странную штуку.

По небу летела бочка, — бочка большая, ведер в семьсот. А на бочке, поджав под себя ноги, сидел человек, высокого роста, с длинными рыжими волосами. В руке он держал меч. Дозорный протер глаза и снова посмотрел — летит! Тогда он закричал во всю глотку: — Стой! — Но человек летел дальше. — Стой! — крикнул дозорный. Человек летел дальше. Дозорный

разозлился, снял сапог и бросил в человека. Сапог полетел вверх, стукнулся о бочку, отскочил и стукнул дозорного по голове.

— Погоди ж! — крикнул дозорный и с силой ударил в набат.

Весь Аппенгейм пришел в смятение. Захлопали окна и двери. На улицу выскочили полуодетые, взлохмаченные, заспанные люди. — Где пожар? — кричали они. На шум прибежал местный ученый, доктор Авербах.



— Успокойтесь! — кричал он, размахивая ночным колпаком, как флагом. — Успокойтесь! это Думкопф!

— Где Думкопф? — закричали все.

Но Думкопфа не было. Только вдали на горизонте маячила черная точка. Может быть это был Думкопф, а может быть маленький жаворонок.

#### XIV

В этот же день вечером Думкопфа видели над Немецким морем. Видел его, знаменитый в то время, нидерландский капитан Кох-Бот.

А на следующий день Думкопфа видели:  
над Аугсбургом,  
над Штутгартом,

над Хёмницею,  
над Гёрлицем,  
над Кёльном,  
над Лейпцигом.

Над Аугсбургом Думкопфа видели летящим на воздушной ладье:

над Штутгартон, — на вороне, над Хёмницею — на зонтике, над Гёрлицем — на ковре, над Кёльном — на обруче, над Лейпцигом — ни на чем. Высоко над городом Думкопф лежал на животе и махал руками и ногами.

Везде говорили о Думкопфе. Его видели то тут, то там. Одновременно видали его в разных концах страны. Народ терялся в догадках, а ученые без конца спорили об его истинном местонахождении.

## XV

15-го июля, с утра, на Швабштадтской площади перед ратушей собралась огромная толпа. У застав стояли скороходы. На крышах сидели дозорные и внимательно обозревали горизонт. — Летит? — кричали им снизу. — Не видать, — отвечали сверху дозорные.

Швабштадт встречал Думкопфа.

На середине площади сидели: доктор Вундеркинд, бургомистр и брендмейстер. Доктор Вундеркинд, не отрываясь, глядел в подзорную трубу.

— Не видать еще? — поминутно спрашивал его бургомистр.

— Я всегда говорил, что он не вернется совсем, — ответил доктор Вундеркинд.

— Может быть Думкопф, действительно, обратно не прилетит? — шепотом сказал брендмейстер. — Прилетит! — ответил бургомистр. — А может быть... — начал снова брендмейстер. — Непременно прилетит! — повторил бургомистр. — Тогда ему уж пора... — сказал брендмейстер. — А вот, глядите! — сказал бургомистр.



## XVI

По площади во всю прыть бежали скороходы.

- Летит! летит! — закричали в толпе.
- Едет! едет! — кричали скороходы.
- Летит! летит! — кричали в толпе.
- Едет! едет! — кричали скороходы.
- Да кто же едет? — вскрикнул бургомистр.

В эту минуту в конце площади показалась телега. На телеге сидел высокий, бородатый мужик. Рядом с ним сидели мальчишки Куно и Фриц. А сзади сидел человек без шляпы в грязном изодранном сюртуке. Человек был похож на куст. Из его волос торчали сухие ветки, к сюртуку прилипли листья, а штаны были во мху.

- Это еще кто такой? — сказал бургомистр.
- Думкопф! — ответили в один голос Куно и Фриц.
- Какой Думкопф? — сказал бургомистр, — откуда он взялся?
- Мы его в роще нашли! — сказал Куно.
- Он в роще лежал! — сказал Фриц.
- Бургомистр схватил человека за плечи.
- Думкопф? — крикнул он.
- Думкопф! — ответил человек.

## XVII

- Но где шары? — сказал доктор Вундеркинд.
- Улетели! — сказал Думкопф.
- Как улетели? Куда улетели? — сказал бургомистр.
- Оторвались и улетели! — сказал Думкопф.— Третьего дня оторвались и улетели.
- А как же вы-то остались? — сказал бургомистр.
- А я в рощу свалился! — сказал Думкопф.
- Хо-хо! в рощу свалился! — крикнули в толпе.
- Но я открыл замечательную вещь! — сказал Думкопф.
- Как бревно, в рощу свалился! — кричали в толпе.
- Я открыл замечательную вещь! — повторил Думкопф.
- Тише! — крикнул бургомистр.

— Бревно! — кричали в толпе. Думкопф встал на ноги и крикнул:

— Я открыл!.. — крикнул Думкопф. Но голос у него сорвался. — Я охрип, — сказал Думкопф.

— Тише вы! — крикнул бургомистр.



Думкопф откашлялся и сказал свистящим шепотом: — Я открыл, — сказал Думкопф, — что муха летает не ножками, а крыльями!

— Что? Что? Что? Что? — кричали из толпы.

— Думкопф открыл замечательную вещь! — сказал бургомистр, — герр Думкопф открыл, что муха летает не ножками, а крыльями!

— Крыльями! — крикнули в толпе, — ура! крыльями!

— Ура! Думкопф! — крикнул бургомистр.

— Уррра! — подхватил брандмейстер.

— Урррраа! — покатилося по площади.

— А ну, ребята, качай Думкопфа! — крикнул брандмейстер.

Думкопфа подхватили и подкинули на воздух.

— Качай! качай! веселей! — кричал брандмейстер.

— Ура! Думкопф! — кричала толпа.

Думкопф взлетал над толпой, болтая руками и ногами.

— Вот теперь-то он летает, как муха! — сказал почтальон Хакеншрит.

# **ДЕСЯТЬ ВАГОНОВ**

**Гравюры на дереве  
С. Юдовина**

Дойвбер  
Левин



# ДЕСЯТЬ ВАГОНОВ

ОГИЗ - МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ - 1933





## ПРОЛОГ

В осенний вечер 1929 года по Среднему проспекту Васильевского острова в Ленинграде шел человек невысокого роста, широкоплечий, в черном пальто и в зеленой кепке, надвинутой на уши. Шел он неторопливо, вразвалку, — видимо, устал за день, вышел погулять и шел теперь без всякой цели, куда глаза глядят.

Вечер был сырой, туманный. Низко над домами висели черные тучи.

На углу Десятой линии человек остановился.

— Дождь пойдет, — проворчал он, — надо домой.

Но не повернул назад, к дому, а зашагал почему-то по Десятой линии, к Малой Невке. Засунув руки в карманы пальто, посасывая короткую трубку, он шел и ворчал про себя:

— Ух, промокнешь. Промокнешь, брат...

И верно: вдруг как хлынет дождь. Не дождь — потоп. Только в Ленинграде, только поздней осенью бывают такие дожди, когда льет сверху и с боков, и вкривь и вкось, и с крыш и с труб.

— Дождася! — крикнул человек и побежал.

Он бежал вдоль невысокого забора. Казалось, конца ему не будет, этому забору, до того длинный. Однако забор кончил-

ся, а за забором был дом — двухэтажный флигель старинной постройки, с деревянными воротами. Человек распахнул калитку и забежал во двор.

— Дождался, — ворчал он, подымаясь по скользким ступеням на крыльцо. — А что я говорил? То-то.

На дворе, за флигелем, был еще дом, большой, четырехэтажный. В этом доме было очень много окон, может быть, сто, и во всех окнах горел яркий свет.

Человек с завистью посмотрел на освещенные окна.

— Живут люди, — проворчал он. Помолчал и опять сказал: — А ты стой тут — и мокни. Э-эх! — И мокрой рукой полез в карман за табаком.

В это время в одном из верхних окон высунулась голова, и мальчишеский голос громко крикнул:

— Эй, гражданин! — крикнул мальчишка, — чего там мокнешь? Иди в дом.

Человек услышал голос и обрадовался.

— Это ты меня, что ли? — спросил он.

— А то кого же? — крикнул мальчишка — Иди в дом.

— Ну, спасибо, — сказал человек. — А пройти-то как?

— Известно как, — сказал мальчишка, — по двору, кругом. Маленький ты, что ли?

— Нет, не маленький, — сказал человек, — а темно же.

— погоди, посвечу! — крикнул мальчишка и захлопнул окно.

«Годить» пришлось недолго, минуты три. Где-то справа открылась дверь, и знакомый голос крикнул:

— Эй, где ты там? Валяй сюда!

Лестница была внутренняя, сухая и теплая, а в дверях стоял сам хозяин, мальчишка лет десяти, маленький и щуплый, с широким ртом и с огромными оттопыренными ушами. Левое его ухо было наполовину срезано.

— И промок же ты, — сказал он и покачал головой. — Ну, иди на кухню — обсохнешь.

«Богато же в этом доме живут, — подумал человек, входя в кухню, это была просторная светлая комната в четыре окна — зал, а не кухня. — Да и ребят тут немало. Человек десять, никак».

Ребята, в серых рабочих халатах, кончали уборку: мыли посуду, чистили ножи, обтирали и скребли столы и полки. Открывшая дверь, человек слышал голоса и смех, но, когда он вошел, стало тихо, и все с удивлением посмотрели на дверь.

— Здравствуйте, ребята, — сказал человек, стаскивая с головы свою насквозь промокшую кепку.

— Здравствуйте, — нерешительно ответило несколько голосов.

— Ты садись к плите, не бойсь, — важно сказал мальчишка с отрезанным ухом, — и пальто скинь. Чего в пальте-то сидеть? Аня! — крикнул он, — подай стул!

Аня, девочка лет пятнадцати, молчаливо придвинула к плите табурет. Потом она хозяйственно — концом передника — смахнула пыль, хотя табурет был чистый.

Человек сел. Он осмотрелся и сказал:

— Это что, ребята, детский дом, что ли?

— Правильно, — сказал мальчишка с отрезанным ухом, — национальный еврейский детский дом. Правильно. А мы, как бы это... Мы тут ребята... ну... Живем тут. Понимаешь?

— Понимаю, — сказал человек. — А тебя как звать-то, хозяин?

— Меня как звать? — почему-то удивился мальчишка.

— Тебя.

— Меня Иеня звать, — сказал мальчишка. — А тебя как?

— А меня Ледин, — сказал гость. — Борис Михайлович Ледин.

— Педагог ты, что ли? — спросил мальчишка, внимательно оглядывая гостя.

— Нет, не педагог, — сказал тот, — писатель я. Книги пишу.

— Ну? — усомнился Иеня. — А какие, например, книги?

— А всякие, — сказал гость, — и для ребят писал.

— А где писал? — все еще не верил Иеня.

— Вот в «Пионере» писал, — сказал Ледин. — «Пионера»-то читаешь?

— Читаю.

— Рассказ про ученого немца читал?

— Читал.

— Так это я написал.

— Ну! — обрадовался Иеня и вдруг перешел на «вы». — Читал я ваш рассказ, честное слово, читал. Так это вы написали?

— Я.

— Здорово! — Иеня гордо оглядел ребят, — какого, дескать, зверя привел, а? — Вот это здорово! — крикнул он. — А немца этого вы знали, что ли?

— Как я его мог знать, когда он умер лет сто назад? — сказал Ледин. — Рассказывали мне про него.

— А если я вам расскажу — напишете? — спросил Иеня.

— Интересно расскажешь — напишу, — сказал Ледин.

— Рассказать-то я могу здорово, — серьезно сказал Иеня. — На большой палец, знаешь.

Ледин рассмеялся.

— Что ж, — сказал он, — валяй.

— Ну что вы? — удивился Иеня. — Это сразу-то? Мне подумать надо.

— А мне и думать не надо, — вмешался в разговор второй парнишка, постарше, — мне рассказать — раз плюнуть. Хотите про бандита расскажу?

— Про какого бандита?

— Да про Махно.

— А ты откуда про Махно-то знаешь? — сказал Ледин.

— Я-то откуда знаю?! — сказал мальчишка. — Я-то с ним знаком был, с Махно. Он к нам в дом пришел. Подошел ко мне и говорит: «большевик, говорит, растет».

Ледин заинтересовался.

— А где ж это было? — сказал он.

— На Украине, под Киевом, — ответил паренек и пояснил: — Да нас тут много с Украины. Ребят полтора года будет.

— Побольше, — подсказал кто-то.

— Уж побольше, — проворчал Иеня. — И больше не будет.

— А ты сам-то, хозяин, откуда? — спросил Ледин. — Тоже из Украины?

— Нет, — сказал Иеня, — поближе — из Белоруссии. Из Калининской. Слышал?

— Нет, — сказал Ледин, — не слышал.

— Ничего себе городок, — сказал Иеня, — малый он больно. Улиц десять, может, а так-то — ничего городок.

«Знакомый Махно» переступал с ноги на ногу, покашливал, не терпелось ему.

— Так рассказать? — предложил он.

Круглоголовый паренек, — звали его Семеном, — который все время сидел на подоконнике, вдруг спрыгнул на пол, подошел к плите и сказал:

— Ну, куда ты, чудила, лезешь! — сказал он. — Слышали мы твой рассказ. Пришел Махно, — «здрате — до свидания» — все. Вот кто действительно рассказывает, — повернулся он к Ледину, — так это Натан Шостак. Это я понимаю.

— Да-а, — с завистью протянул Иеня, — Натан — тот рассказывает. Ну, понимаешь ты, об чем хочешь: об самогонщиках, об кавалеристах, об певцах, об Буденном, об ком хочешь. Ух, говорит парень! Позвать его?

— Позови, — сказал Ледин.

— Аня, — сказал Иеня, — Натан где? Не знаешь?

— В столовой, — сказала Аня, — он дежурный.

— Правильно! — крикнул Иеня и выскочил за дверь.

Слышно было, как он протопал по коридору, у кого-то по пути справляясь:

— Где рябой? Рябого-то не видали?

Натан, действительно, был рябой. Лет ему было, примерно, семнадцать, и сколочен он был крепко: рука — так рука, нога — так нога. Плотный был паренек и солидный.

— В чем дело? — сказал он, входя.

— Да вот расскажи ему, Натан, — сказал Семен, показывая на Ледина. — Он, понимаешь, писатель, он про тебя напишет.

— Можем, — Натан подошел к Ледину, поздоровался с ним за руку и сел. — Вам, значит, рассказать. А о чем именно?

— О чем хочешь, — сказал Ледин. — Ну, о себе.

— О себе? Можем, — он помолчал немного. — Можем и о себе, — повторил он, — только вот времени у меня сейчас мало. Вкратце, что ли? Значит, так: родился я на Украине, в городе Переяславе. Потом переехал в местечко Семиполье, а потом опять переехал в Переяслав...

— Нет, не то, — сказал Ледин. — Мне надо подробно. А то неинтересно.

— Подробно не могу. Некогда, — сказал Натан и встал. — Подробно — завтра могу. Завтра могу хоть пять часов.

— Ладно, — сказал Ледин, — давай завтра. Часов в двенадцать. Только уж точно.

— Как из пушки, — сказал Натан. — А сейчас бегу, некогда.

— Что ты все «некогда, некогда»! — сказал Семен. — Какие у тебя там дела?

— А в столовой дежурить ты за меня будешь?

— Нет, не буду, — сказал Семен. — Я вчера дежурил.

— Ну, то-то.

## Глава первая

### ЭШЕЛОН

На другой день, часов в двенадцать, Ледин пришел в детский дом. Он прошел столовую — длинную комнату в первом этаже, — погулял по коридору, походил по лестницам и никого не встретил. За закрытыми дверьми, в классах, слышались голоса.

Ледин приоткрыл было одну дверь, но поспешно ее захлопнул и отошел — в классе шли занятия. Наконец на площадке пятого этажа он увидел маленькую девочку лет семи, тоненькую, с косичкой. Она держала перед собой раскрытую книгу и, водя пальцем по строкам, тихо, одними губами, что-то читала.

— Не знаешь, девочка, где Шостак? — сказал Ледин.

Девочка, не отрываясь от книги, кивком головы указала на одну дверь.

— Тут, — сказала она, — в красном уголке.

Ледин открыл дверь и вошел. Это была довольно большая комната, полукруглая, с узкими, высоко прорубленными окнами. Посредине комнаты стоял длинный стол, заваленный журналами и книгами, на стенах висели портреты и таблицы, а в сторонке, у окна, стоял шахматный столик. За столиком двое ребят играли в шахматы, а третий — одноногий парень на костылях — смотрел и советовал. Один из игроков был Семен, другой — белобрысый парень, похожий на эстонца.

Увидав писателя, Семен встал и поздоровался.

— Шостак скоро будет, — сказал он. — Вы, может быть, подождете?

— Подожду, — сказал Ледин. — Вы играйте.

Но игра не клеилась. Скоро Семен смешал фигуры и сказал:

— Сдаюсь.

Он встал и подошел к Ледину.

— Как вам наш красный уголок? — спросил он.

— Ничего, — сказал Ледин. — Только одного мне не понять: отчего так высоко прорублены окна? Что тут раньше было?

— Синагога, — сказал белобрысый парень.

— Как синагога? — удивился Ледин.

— Очень просто, — сказал белобрысый, — синагога как синагога, с амвоном, с кивотом, как полагается. Я еще помню, когда здесь была синагога.

— Когда же это было? — спросил Ледин.

— До революции, конечно.

— А ты разве так давно в этом доме? — спросил Ледин.

— Еще бы, — сказал белобрысый, — я тут живу тринадцать лет.

— Сколько же этому детскому дому лет?

— Лет двадцать пять, — ответил одноногий.

— Бери повыше, — сказал белобрысый. — Все сто.

— Хватил! — сказал одноногий. — Построен дом всего-то лет тридцать.

— Ну, да, — сказал белобрысый. — Живет тут без году неделя, а знает, когда построен дом.

— Кто и тринадцать лет живет, — сказал одноногий, — и не видит, что дом-то новый.

— Новый! Нечего сказать. Весь фасад облупился.

— Это не дом, — сказал одноногий. — Это штукатурка.

— А штукатурка, по-твоему, не дом? — сказал белобрысый.

— Штукатурка не дом, — сказал одноногий.

— А кирпичи — дом?

— Дом.

— А полы — дом?

— Дом.

— А потолки — дом?

— Дом.

— А штукатурка — не дом?

— А штукатурка не дом.

— А ты дурак! — сказал белобрысый.

— А ты!.. — крикнул одноногий.

Но тут в комнату вошел человек среднего роста, скуластый, в круглых роговых очках.

— О чем спор, ребятки? — сказал он, входя.

— Еремей Борисович, — сказал белобрысый, — сколько лет нашему дому?

Человек, которого звали Еремеем Борисовичем, ответил не сразу. Он снял очки и стал их протирать платком.

— Лет шестьдесят, — сказал он, дыша на стеклышки очков.

— Что я говорил? — важно сказал одноногий.

— Ты говорил: двадцать пять, — сказал белобрысый.

— А ты — сто, — сказал одноногий.

— Я говорил «сто»? — удивился белобрысый.

— Ладно, будет вам, — сказал Еремей Борисович. — Вот уж спорщики, — повернулся он к Ледину. — Беда!

— Как этот дом назывался до революции? — спросил Ледин.

— Еврейский сиротский дом, а проще «приют», — сказал Еремей Борисович. — А точнее — богадельня барона Гинзбурга.

— Тут с утра до ночи молились, — сказал белобрысый.

— Молились три раза в день, часа по два каждый раз, — сказал Еремей Борисович, — зато все остальное время ничего не делали.

— Вы расскажите подробно об этом сиротском доме, если вам не трудно, — сказал Ледин.

— Пожалуйста, — Еремей Борисович посмотрел на Ледина поверх очков и улыбнулся. — Только вы же все равно не поверите.

— Чему?

— Тому, что я вам расскажу о приюте, — сказал Еремей Борисович. — Ведь не поверите же вы, что ребят два часа ежедневно заставляли сидеть неподвижно.

— Как так — неподвижно? — удивился Ледин.

— Как николаевского солдата на часах, — сказал Еремей Борисович. — Ноги вместе. Руки на коленях. Сидеть смирно!

— К чему? — спросил Ледин.

— Ни к чему, конечно, — сказал Еремей Борисович. — Тогда это называлось «воспитывать». Ребят стучали кулаком по шее, запирали в сарай, нагишом выгоняли в холодный коридор, и это тоже называлось «воспитывать». Подождите минуту.

Еремей Борисович вышел из комнаты. Скоро он вернулся, держа в руках пачку фотографий.

— Видите этих мальчишек в черных картузах с блестящими козырьками? — сказал он. — Это воспитанники приюта. Черные картузы — это форма. Девочки носили черные платки. Жили тут так. Утром — молитва. После молитвы — занятия. Занимались только письмом и священным писанием. После обеда снова молитва. Потом девочки садятся за рукоделье, а мальчишки на два часа «застывают».

— Я все-таки не понимаю, зачем это делалось? — сказал Ледин.

— Расчет тут был простой, — сказал Еремей Борисович. — Девочки сидят за рукоделием. Хорошо. А с мальчишками что прикажете делать? Оставить их на свободе? Шуметь будут. Водить их гулять? Сапоги стопчут и аппетит нагуляют. Дать

им работу? Но какую же работу? Заниматься? Но чем же с ними заниматься? И вот додумались: загонят мальчишек в большой зал, посадят кругом. Руки на колени! Ноги вместе! Голова вверх! Глаза навывкат! Сидеть смирно! По кругу ходит воспитатель, отставной унтер, человек высокого роста, похожий лицом на турка, с усами такой длины, что хоть за уши закладывай. Ходит он по кругу и то и дело кричит: «Ррыскин! чего ерзаешь? Машков! голову вверх! Глядеть весело! Каплан! не горбиться! Сидеть прямо!»

— Лучше всего, — сказал белокрысый, — было ночью. Ночью после налета хоть налопаешься.

— Какого налета? — спросил Ледин.

— Налета на кладовую, — сказал Еремей Борисович. — Кормили в приюте плохо, ребята голодали. А под боком, на дворе, кладовая. Вот ночью ребята заберутся в кладовую, напихают в карманы сколько влезет — булок, яблок, каши от обеда, а там пир на всю ночь. А утром — шум, крик: «Кто залез в кладовую? Сознавайсь! Выстроить всех в ряд! Кто залез? Говори! Рыскин, ты? Молчишь. Выходи. Левит, ты? Молчишь. Выходи. Каплан, ты? Молчишь. Выходи». А расправлялись потом зверски. Ночью выгонят в холодный коридор, в сарай запрут. Бывало — и секли.

— На налеты Бенька мастер, — сказал белокрысый. — Во был парень!

— Да-а-а! — сказал Еремей Борисович. — Он теперь летчиком. Сильный был паренек. И смелый. Никому уж спуска не даст. Попадало ему, конечно, но и от него доставалось. А раз как-то он взбунтовал весь приют.

— А часто бунтовали? — спросил Ледин.

— Нет, не часто. Запуганы были, — сказал Еремей Борисович. — А в тот раз был редкий случай. Весь приют поднялся как один человек. Было так. В дом поступил новый эконом. Карлик ростом, волосы прилизаны. Перед начальством ходит на цыпочках, а с ребятами подлец.

Как-то он ребят двадцать в сарай засадил. Сидят ребята час, сидят два, уже вечер подходит. Обозлились ребята на эконома. Задать бы ему!

— Ребята! — крикнул вдруг Бенья Селезняк. — Придумал! Честное слово, придумал. Есть мешок?

— Есть, — сказал Лева Каплан, — хоть три. Около меня их тут груды.

— Тащи сюда! А иголка с ниткой есть у кого?

— Есть, — сказал Меер Казаков. Это был аккуратный паренек, приятский «портной». — Есть и иголка, есть и нитка. Нитка черная.

— Сойдет, — сказал Бенья. — А опилки есть? А мусор есть? А глина есть? Давай! Разбитые банки? Тащи! Пух? Тащи! Все давай!

Ребята смекнули, в чем дело. Целую неделю экононом все говорил, что ждет откуда-то ценную посылку. Все бегал на почту, справлялся, не пришла ли посылка. Бенья и решил прислать ему посылку. Сгребли мусор, грязь, опилки, пух, кости, тряпки, битое стекло; все это упаковали, утрамбовали как следует. Меер Казаков аккуратненько зашил мешок. Каплан печатными буквами написал: «С.-Петербург, Васильевский остров, 10-я линия, Еврейский сиротский приют. Эконому Птицеру». Бенья налепил кусок глины на место печати и приклепил пятаком. Посылка получилась что надо.

Вечером ребят наконец выпустили из сарая. И вот ночью Бенья встает, лезет по трубе в сарай, берет посылку и перебрасывает ее на балкон к эконому. «Кушайте на здоровье, ваша милость».

Утром экононом выходит на балкон и вдруг видит — посылка. Читает адрес: «Эконому Птицеру». Верно. Он хватает посылку, бросается к себе в комнату, вспарывает мешок. По всей комнате летят перья, мусор, опилки, песок.

Через три минуты все ребята уже выстроены в зале. Тут и начальник приюта, тут и «турок», тут и экононом.

— Кто?!

Ребята молчат.

— Так-с. Сговор, значит. Ну-ка, Лева Каплан, ты. Скажи — кто? — кричит экононом.

Молчат ребята.

— Повторяю: кто подбросил посылку?

Бенья подмигнул, и все ребята в один голос:

— Я, я, я, я,..

— Ага! Вот оно как. Ну-ка, Селезняк, выходи.

Бенья не двигается с места.

— Бенья Селезняк, выходи!

Бенья спокойно глядит на эконома и стоит как столб.

— Выходи!

Стоит.

Тут экононом как взвизгнет и с кулаками на Беню.

— Тебе говорят, скотина!..

А Беня как хватит его по носу. Раз!

— Смирно! — закричал «турок». Но уже и его кто-то заго- нял в угол.

— Полицию! — крикнул начальник приюта и кинулся к две- ри. Но в дверях ему кто-то подставил подножку, он споткнул- ся и упал.

Что делалось! Ребята разошлись вовсю. Все тюфяки выкину- ли на двор, всю посуду перебили. Кричали. Стучали. Бараба- нили.

— А чем же все-таки кончилось? — спросил Ледин.

— А убрали эконома. После революции он опять сунулся было в дом, — сказал белобрысый, — но его выставили — «про- сим подальше».

— А что было с приютом после революции? — спросил Ле- дин.

— В первые годы туго было, — сказал Еремей Борисович. — Губоно помогало, чем могло. Но ведь годы какие были: на востоке — фронт, на юге — фронт, на севере — англичане, на западе — поляки, внутри — разруха, холод, голод, тиф. Наз- начили в дом заведующего, коммуниста, а он добровольцем пошел на фронт, попался в плен, и его расстреляли. Трудное было время. Котлеты из картофельной шелухи на рыбьем жи- ру — лучшая еда. А холод! Не топили совсем. В классах замер- зали чернила. На потолках в спальнях — снег. Спасали нас пожары. Всем домом ходили на пожар греться, а если подве- зет — стащить обгорелое бревно. Бревно распилят, расколют — и в плиту. Жаркая плита, горячий кофе, теплая кухня. Бла- годать. Помню такой случай. Зима. Мороз. Выхожу на улицу и вижу: бегут люди, скачут пожарные. Я к заведующему, а он уж и сам тут. «Кликните ребят! — кричит. — Идем за дрова- ми». Кликнули ребят, пошли. А пожар недалеко, на Двадца- той линии. Горит склад. Но, как говорится, око видит, а зуб неймет. Вокруг милицейский кордон. Не подступиться. Стоим и скулим прямо. Сколько добра пропадает. Вдруг откуда-то сбоку лезет Беня Селезняк. Красный, в поту, в саже, ворот рас- стегнут и обеими руками тащит большое черное бревно. «Есть!» кричит Беня. Милиционер увидал и за ним. «Стой! Куда!» А уж Ленька Губерман — бух милиционеру под ноги, а уж Рыв- кин милиционера за шинель держит, а уж десяток рук под- хватили бревно, и бревно пошло, поплыло — и прямо в плиту. Жестокие годы были, что говорить. Конечно, детский дом по- настоящему-то зажил только после эшелона.

— Какого эшелона? — спросил Ледин.

— Вы не слышали про эшелон? — удивился Еремей Борисович. — А впрочем, — спохватился он, — вам-то откуда о нем знать. Это для нас он «знаменитый эшелон». Для вас же «эшелон» — ничего не значит. Вкратце сказать, это было так. Осенью двадцатого года, после войны и погромов, когда все детские дома на Украине были битком набиты, решили дома разгрузить и часть детей перекинуть в Ленинград, тогда Петроград. Организовали специальный детский эшелон. Сначала — до Киева — из товарных вагонов, из теплушек, потом — из санитарных. Ехали не спеша, как вообще в те годы ездили. От Киева до Петрограда ехали не то два, не то три месяца. Мерзли по дороге. Впрочем, ребята сами вам расскажут об эшелоне. Кто из вас, ребята, расскажет?

— Могу и я, — сказал Семен. — Я еще помню, как мы ехали.

— Давай, — сказал Еремей Борисович.

— Осенью 1920 года, — сказал Семен, — в детском доме, в котором я тогда жил, заговорили о том, что всякий, кто хочет, может поехать в Петроград. Говорили, что в Петрограде нас будут кормить шоколадом, утром, вместо чая, будет мед, вечером — кофе. Так что, когда заведующий собрал нас и спросил, кто из нас хочет ехать в Петроград, все вызвались. Нас помыли, накормили сытным обедом и отправили на вокзал.

На вокзале нас уже ждал эшелон. Это был длинный ряд вагонов-теплушек, в которых были устроены нары и стояли печурки. В хвосте эшелона шло несколько вагонов с мясом, так что эшелон был смешанный: и детский и мясной. Мы разлеглись на нарах, положив под голову мешки с соломою, и запели.

Мы, житомирцы, засели в одной теплушке, в других были белоцерковцы, потом елисаветградцы, черниговцы. В каждой теплушке ехал воспитатель. Пробовали было сунуться к нам в теплушки мешочники, но поездная стража их коленом. Погода стояла теплая. День и ночь у нас была открыта дверь. Мы пели песни, а когда встречались нам воинские эшелоны, махали шапками и кричали «ура». На станциях мы стояли долго. В каждом городе к нашему эшелону прицепляли новые вагоны с ребятами. Так что, высовываясь из теплушки, мы уже не видели хвоста эшелона. А многие сидели прямо на крышах. Над головой мы слышали топот, грохот, стук и песни.

Так вот мы приехали в Киев. В Киеве нас вымыли в бане, накормили обедом в столовой. Потом нам всем выдали новую

американскую одежду. Мне дали бархатный пиджак, короткие штаны и высокие сапоги на шнурках. Только мы переоделись, подкатил другой состав, санитарный, и нам сказали перебираться. Санитарный эшелон был много меньше первого, всего только десять вагонов, но зато вагоны какие — большие и чистые. Освещались они электричеством. В каждом вагоне было несколько купе, в каждом купе было несколько коек. Даже кухня была в этом эшелоне, — особый вагон. Нас стали кормить горячей едой, а то до Киева мы кормились всухомятку. В Киеве мы стояли две недели. Чтоб не болтаться зря, мы стали готовить инсценировку к Октябрьским торжествам. Мы собирались около станции на пустыре и тут между репейниками и крапивой репетировали. Со всех сторон собирался народ глазеть на нас. Постояли дней пять и поехали.

Раз ночью мы вдруг услышали стрельбу. В вагонах потух свет, а за окнами бегали какие-то люди, кричали, ругались, стреляли. Поезд замедлил ход и наконец совсем стал. Тогда на полотно дороги выскочила охрана. В первом вагоне с нами ехали семь красноармейцев и восьмой — начальник охраны, латыш. Они осмотрели эшелон и увидели, что нехватает двух вагонов с провиантом — отцепили их бандиты и куда-то угнали. Сообщили на ближайшую станцию. Оттуда выслали дрезину. Охрана села на дрезину и погналась за бандитами. Целую ночь простояли мы в поле. Утром охрана вернулась. Перед дрезиной катились два сбежавших вагона, а на дрезине сидел пойманный бандит без шапки, с разбитой мордой. На станции его сдали в ЧК.

До Петрограда мы ехали месяца полтора, потому что пути были очень загружены. На каждой станции стояли ряды разбитых вагонов. А на узловых станциях были огромные «паровозные кладбища». Военские эшелоны, эшелоны беженцев, хлебные эшелоны, «дикие» эшелоны — с мешочниками, с бабами, с дезертирами — катили по путям. «Крути, Гаврила!» кричали из вагонов лохматые, страшные люди. На вокзалах черт знает что делалось — куда ни ступишь, все люди. Когда наш эшелон подходил к станции, эти люди с криком кидались на вагоны. Их били, но они лезли напролом. Спасала нас охрана. Наши красноармейцы штыками бывало загораживают вагоны. На штык-то не полезешь.

В Курске нам вдруг дали два больших паровоза. Верст двести мы ехали с шиком. Встречные эшелоны завидовали. «Эка раскатились! Комиссары!» кричали дезертиры и мешочники,

выглядывающая из своих теплушек. Зато в Туле нас оставили совсем без паровоза. День стоим, два стоим — нет паровоза. Ходили к начальнику станции, а он руками разводил: «Нет у меня паровоза, езжайте, как хотите». «Не самим же нам запрячься!» говорим. «Хотите — запрягайтесь, хотите — не запрягайтесь, только нет у меня паровоза. Подождите денек, — может быть, дам». Подождали денек, — дал паровоз. Но какой! Прямо смешно. Такой маленький, что машинист — здоровый дядя с усами как у таракана — еле вмещался в будке. Вот так-то — дохлой клячей — мы приехали в Петроград.

Когда мы вышли из вагонов, даже дух захватило — до того крепкий был мороз. У вокзала уже стояли грузовики. Нас — человек тридцать ребят — поставили на грузовике стоймя и повезли. На улицах мало было народу — мороз всех прогнал. Привезли нас сюда и сразу же на кухню да на плиту да по горячей картошке каждому. Потом затопили ванну и всех помыли в ванне. Зиновий Аронович побежал в ОНО. Там выдали тюфяки и подушки. На ночь мы расположились в кухне. Другие комнаты тогда не отапливались. Помню, всю ночь мне казалось, что я еще еду, и все снились белые и синие вагоны эшелона.

На весь дом затрещал звонок.

— Обедать, ребята! — сказал Еремей Борисович. — Вы с нами пойдете? — спросил он Ледина.

— Нет, — сказал Ледин. — Я здесь посижу. Подожду Натана.

— А я тут, — сказал Натан, появляясь в дверях. — Я в мастерской был, а сейчас вот пообедаю и приду.



## Глава вторая

### ПРИКЛЮЧЕНИЯ НАТАНА ШОСТАКА

Отца, — сказал Натан Шостак, — убили белые. Мать скоро после того умерла. Старший брат, Лейбе, ушел с красными. Осталось нас мало: я, да сестра, да старая бабка Бейле.

Как убили отца, дня через три из соседнего местечка Семиполья приехала к нам тетя, папина сестра. Она вошла в дом, маленькая, черная как сорока, села у стола, вынула из кармана носовой платок, развернула его, отряхнула, поднесла к глазам и давай реветь. «Что они с тобой сделали, Моне! За что они тебя сгубили, Моне!» кричала она. Наплакавшись, она пошла по комнатам, собрала все подушки, одеяла, скатерти, полотенца, завязала все в два большие узла и сказала, что забирает это с собой на память о брате. Но тут на нее наскочила бабка. «Бессовестная! — кричит. — стыдно тебе грабить сирот. Знай же, подлая, что за такие дела бог накажет!» Тетя опять заплакала и сказала, что забирает с собой и меня. «Он у меня будет как сын родной», сказала тетя.

Семиполье было небольшое гористое местечко. В центре был базар с костелом. Улицы были холмистые, кривые. Теткин дом стоял недалеко от базара, и был он длинный и низкий. Дядя называл этот дом «курятником». «Пойду-ка я в курятник», говорил он вместо «пойду-ка я домой».

Этот дядя был бородатый, здоровый как бык и очень вспыльчивый. Чуть что не так, дядя загорится, глаза нальются кровью, и трах! — посуда со стола, — дзинь! — окно вдребезги, лампа об стену, стул в куски. В такую минуту не попадайся ему под руки — до полусмерти изобьет. Всего больше от дяди попадало старшему сыну, Энеху. Такой ленивой скотины свет не видел. Ростом в сажень, а вечно ноет, что больной: что работать ему нельзя никак, что ему надо побольше есть и побольше спать, а то он умрет. И что ни день, то у него новая болезнь. Если в субботу — легкие, то в воскресенье — желудок; в воскресенье — желудок, в понедельник — почки; в понедельник — почки, во вторник — ухо; во вторник — ухо, в среду — поясница; в среду — поясница, в четверг — зубы.

Младший брат каждое утро, просыпаясь, спрашивал:  
— Ну, чем сегодня хворает, боров?

— Что-то живот вспучило, — отвечал старший, почесывая живот.

— Врешь. Живот вчера был.

— Вчера у меня нарывала губа.

— Врешь. Губа нарывала в пятницу, а вчера болел живот.

— Много ты знаешь, — обижался старший. — Не болел вчера живот.

— Болел, говорю.

— Не болел.

— Болел.

— Не болел.

— Болел.

Тут старший как стукнет младшего по шее.

— Замолчи, холера, — кричит, — убью!

Занималась семейка «производством», попросту — гнала самогон.

Заправилой в этом деле была тетя. На вид — тихая, слабая, а на деле так холерная баба. Самогон гнала она, она же его и продавала. Остальные были при ней «подручными». Гнали самогон не дома, а в деревне у мужика-компаньона. Каждый вторник в деревню ходили дядя и младший сын с «подарками» — с мукой, с картошкой, со свекловицей, с сахаром. Вечером туда же отправлялась и тетя. Всю ночь в овине у компаньона курили самогон. А утром возвращаются в местечко: тетя с корзиной помидоров, дядя с ведром яблок, сынок с мешком овса. Кому тут в голову придет, что под помидорами, под яблоками, в овсе — бидоны с самогоном? Где тут догадаться!

Среда в Семиполье — базарный день. В этот день самая большая комната в нашем доме — уже не комната, а шинок. Вдоль стен стоят длинные деревянные столы, скамейки, табуреты. За столами сидят хохлы, хлещут самогон, ругаются, кричат, песни орут. Между столами ходит тетя: тому нальет кружку самогона, с этого получит пачку керенок, а того, совсем уже пьяного, выведет на двор, уложит на телегу и отправит домой.

Мне в этот день работы много: зазывай мужиков — раз; гляди, чтоб не стибрили чего, — два; смотри, чтоб милиция не наскочила, — три. Я уж старался вовсю.

А милиция-то все-таки наскочила.

Было это летом, часов в шесть. Пьяницы уже разъехались, но столы и скамейки еще не убрали, а бидоны были запряжаны пока тут же в доме. Вдруг — стук в дверь, входят трое: два милиционера с винтовками и начальник, низкого роста, скуластый, в красном галифе.

— Мы имеем сведения, что вы торгуете самогоном, — сказал начальник. — Мы должны у вас сделать обыск.

Дядя побледнел, затрясся, а тетя хоть бы что: выплыла вперед, руки в боки и смеется.

— Пожалуйста, — говорит, — ищите. А только ничего вы, — говорит, — не найдете. Мы к самогону касательства не имеем.

— Посмотрим, — сказал начальник и шасть в зал. А в зале еще не убранные столы стоят, разит сивухой, на полу окурки. махорочный дым столбом. Начальник посмотрел и говорит:

— Это у вас что за столы? — сказал он.

— Деревянные, товарищ начальник, — говорит тетя.

— Вижу, что деревянные. Не слепой, — сказал начальник.

— А кто тут так начадил махрой? Вы, что ли? — повернулся он к дяде.

— Я-с, товарищ, — промычал дядя, хоть он в жизни не курил.

— Д-д-а, — сказал начальник. — А ну-ка, ребята, — приказал он милиционерам, — пощупайте-ка вокруг.

Милиционеры оставили винтовки и начали обыск. Они обыскали весь дом, обшарили все углы, осмотрели все полки, все шкафы, все комоды, под кроватями лазали — ничего, никаких следов. Полезли они на чердак. А пока они там рылись в барахле, младший сын выбрасывал бидоны из печки на двор.

Вдруг один бидон сорвался, упал и звякнул.

Начальник с чердака вниз и — к печке. Отодвинул заслонку, чиркнул спичкой — и что же? В печи бидонов штук сорок.

— Это что? — крикнул начальник.

— Бидоны.

— Не ломайте дурака, — крикнул начальник. — Что это?

— Самогон, — прошептала тетя.

— Та-а-к-с! — сказал начальник. — А зачем вам, разрешите узнать, столько самогона?

— У меня старший сынок хворый, — сказала тетя, — так мы его самогоном лечим. Доктора советуют.

Вдруг на печке кто-то как загогочет: «го-го-го». Это заржал старший сын, хворый-то.

— Полно врать, — сказал начальник. — А только вот что, гражданка, запомните: на сей раз вы отделяетесь штрафом, но если еще раз попадетесь — тюрьма. Тюрьма. Поняли?

Когда милиционеры ушли, у нас началась порка. Перво-наперво всыпали старшему олуху. Дядя его так исколошматил, что тот полночи выл. Потом взялись за меня: почему-де прозевал милиционеров. Ох, били! Вспомнить тошно.

— Уйду к бабушке, — сказал я, когда меня наконец отпустили.

— Испугал! — захохотал дядя. — Иди к свиньям! Только поскорее! Дармоед!

Ого! Этого-то мне и надо было. Я уже много раз просился назад, домой, к бабушке. Но дядя говорил: «Вот свинья! Скотина! Его поят, кормят, делу обучают, а он еще недоволен. Попробуй только — уйди. Убью!» А тут дядя сам говорит: «уйди». Спасибо милиционерам — выручили.

Как стало светать, я с печки скок, краюху хлеба в карман и за дверь. И ходу.

Дома я никого из своих не нашел. Старший брат еще не вернулся из армии. Сестру кто-то отправил в киевский детдом. Бабушка умерла. В нашем доме жила теперь моя двоюродная сестра Либе, чулочница, и муж ее, Эле, сапожник. Но это я узнал только потом.

Домой я пришел вечером. Постучал. Открылась дверь, и появился черномазый человек, невысокого роста, в полосатой рубаше. Увидав меня, человек поклонился и прищелкнул языком.

— Кого спрашивать изволите, уважаемый? — сказал он тонким голосом.

— Бейлю, — сказал я, — бабу Бейлю.

— Увы, увы! — сказал черномазый и покачал головой. — Скончалась наша бабка. Скончалась во цвете лет. Шел ей всего-то восемьдесят третий. Проходят годы, а?

Я молчал, не зная, что сказать.

— Вы ей, почтенный, кем приходитесь-то? — подождав ответа, спросил черномазый.

— Внуком, — сказал я.

— Ваше имя Натан Шостак? — спросил черномазый.

— Натан Шостак, — сказал я.

Этот чудной человек мне понравился.

— Прошу, Натан, в наш шалаш, — важно сказал курчавый и широко открыл дверь.

В комнате за столом сидела молодая женщина и шила. Это была Либе, двоюродная сестра. Черномазый стукнул каблуками и взял под козырек.

— Разрешите, ваше сиятельство, — говорит, — представить вам моего друга и собутыльника, внука бабки Бейли Натана Шостака.

— Нотке! — крикнула Либе. Она вскочила, обхватила меня и целовать. — Нотке, как ты сюда попал?

Я рассказал.

— И молодец, что ушел от них, — сказала Либе. — Бабушка умерла. Но ты будешь жить с нами. Правда, Эле, он будет жить с нами? — спросила она мужа.

— Не можем знать! — крикнул Эле.

— Дурак, — сказала Либе и рассмеялась.

Хорошо мне у них жилось. Эле с утра уходил в мастерскую, Либе садилась за чулочную машину, а я — гулять. Лодырничал, словом.

Либе отдала было меня в хедер.

Я день ходил, два ходил, а на третий забастовал. Не пойду больше в хедер — и никаких. Не нравился мне и ребе, и хедер.

— Что же, — сказал Эле, — вольному воля, а бездельнику — рай. Гуляй, брат, пока молод, а там посмотрим.

Эле и сам не прочь был погулять.

Часто ночью залезем, бывало, к соседу в сад. А у соседа в саду — яблоки, груши, сливы...

— Ешь, Нотке, ешь, — шепчет Эле.

— Ем, дядя Эле, — отвечаю.

— А вкусно?

— Вкусно.

А через час:

— Пучит живот, Ноте?

— Пучит, дядя Эле.

— Ну, давай, брат, смываться.

Зимой по вечерам Эле играл на балалайке. Играл он ловко, с разными выкрутасами. Пальцы так и скакали по струнам. При этом он строил такие рожи, что мы — я и Либе — помирили с хохоту.

Иногда — по праздникам — Эле выпивал. В таких случаях он как придет домой, так сразу же в дверях шлеп на пол и ползком добирается до дивана.

— Бейте меня, остолопа! — кричит. — Жарьте, родимые, в хвост и в гриву! — И не встанет до тех пор, пока Либе или я хоть разок не стукнем его по затылку.

К весне все переменялось. У них появился ребенок. «Принц-наследник», как называл его Эле. Кормить меня им стало трудней.

— Как же нам быть с тобой, почтенный? — сказал мне раз Эле. — В солдаты тебя отдать, что ли?

Но тут, на мое счастье, в городе на заборах, на домах появилась небольшая афишка, а на афишке было написано, что неподалеку, в бывшем княжеском имении, открывается детская колония для сирот и беспризорных.

Раз утром я и Либе сели на крестьянскую телегу и поехали в колонию. Проехав верст пять, мы увидели в поле двухэтажный дом с колоннами и с верандой. Вокруг были сараи, конюшни, склады. За домом был сад. Ни в доме, ни на дворе не видно было ни души. Но когда телега завернула в ворота и остановилась у крыльца, открылась стеклянная дверь, и по ступенькам навстречу нам кинулся небольшой человечек, кругленький, плешивый, близорукий, с виду лет под пятьдесят.

Человек подбежал к телеге, схватил мою руку и стал жать и тискать ее в потных своих ладонях.

— Добро пожаловать! — кричал человек.

Маленький человек был заведующий колонией, педагог Вольф.

А я попал в колонию самый первый, вот он и обрадовался.

Хозяйство в колонии было бестолковое. Были лошади, но не было телег, плугов, сох, борон. Комнаты большие, но пустые, только садовые скамейки стояли по углам. Ванна мраморная, а одеял, подушек, тюфяков нет.

Прошла неделя. Я болтался без дела, скучал.

— Ничего, дружок, поживешь — привыкнешь, — говорил мне Вольф. — Вот скоро придут еще ребята. Тебе веселей будет.

Верно, появились ребята: из Киева, из Житомира, из Белой Церкви, из всех соседних местечек, станций, сел, городов.

Беспризорников подбирали в поле, на улицах, вытаскивали из-под вагонов, из подвалов. Они приходили к нам босые, лязгали зубами и ругались. Их обмывали в ванной, переодевали в новые американские костюмы, кормили обедом, и они утихали, привыкали понемногу. Скоро нас набралось человек сорок.

Жили мы в первые дни свободно. Утром встанешь, съешь свои полфунта хлеба с салом или с луком и поперешь куда глаза глядят — в поле или в город. Никакого над тобой хозяина, никто не смотрит. Хочешь — приходи обедать, не хочешь — не надо. Хочешь — ночуй дома, хочешь — в поле. Много беспризорников убежало. Но большая-то часть осталась. Куда им было уходить? А у нас они свободно жили.

Рядом с нами в поле часто садились самолеты. Услышим гул, выскочим из дому — и в поле. Стоим, глядим. Вот мотор выключили. Вот по кочкам запрыгал. Вот стал. Из кабинки выходит летчик в шлеме, в кожаных перчатках. «Здорово, — говорит, — ребята!» — «Здорово, товарищ летчик! Можно потрогать машину?» — «Трогайте, — говорит, — ребята, только осторожно. Не испортили бы чего». Мы ходим вокруг машины, трогаем крылья, заглядываем в кабинку. Но механик уже исправил все, что надо, летчик выкурил трубку и лезет на место. «Прощайте, — говорит, — ребята». «До свиданья, — кричим, — товарищ летчик!»

Самолет поскакал по кочкам, и вот он уже высоко где-то летит.

Ночами страшно было. Лежишь себе на садовой скамейке, лежишь и слушаешь, как за окном ржут кони, кричат жабы в пруду за садом, пьяный хохол идет мимо ворот, ругается и плачет. И вдруг — дзинь! Камень ударил в окно. А за первым — другой, третий. Мы уже знаем, в чем дело: это мальчишки и парни из соседней деревни «обстреливают» дом. А то так: подкрадутся к самому дому и забарабанят во все окна нижнего этажа. Лежишь и дрожишь. Драться-то с ними не будешь. Куда нам! Их — деревня целая.

В такие ночи к нам в комнату приходил Вольф.

Придет, сядет к кому-нибудь на кровать и начнет рассказывать.

Ну и рассказывал же человек! Он не говорил нам о разбойниках там, о царях, о колдунах. Он говорил только о том, что у нас скоро будет, лет так через двадцать-тридцать.

— Поездов не будет, — говорил Вольф, — зачем поезда? А аэропланы на что? По всей стране тысячами будут летать аэропланы. У каждого человека свой аэроплан. Сел и полетел куда надо. А поезда загоним под землю. И трамваи из городов — на свалку. Да и города уже будут не те. Дома построим из стекла, круглые, чтобы свет со всех сторон. На крышах — бассейны, фонтаны, сады, площадка для крокета, для футбола, для катков. А из города вылетишь — поля. И не наши нынешние поля — овес по циклотку, а пшеница и совсем полегла. Врешь. Заставим и землю слушаться. Под Москвой — гляди — растет какао, под Калугой — пальмы шумят, бананы. А среди полей — не деревни, не халупки, не курные хаты с лучиной. Среди полей — палаты стоят, большущие палаты, и в них электричество. А в палатах кто, думаешь, живет? Мужик живет. Мужичья коммуна. Думаешь, наш знакомый мужик — голодный, вшивый, в драных штанах, который по утрам чешет себе затылок и гадает: «Будет дождь, ли не будет? Выехать мне в поле, или не выехать?» Брепешь, батенька. Не узнать мужика. Федот, да не тот. Этот уже не выедет тебе в поле на брюхатой сивке орать, он уже не пойдет к попу заказывать молебен об урожае. Он — гляди — верхом на машине шпарит. А удобрение он такое закатит, что всякое болото зацветет как сад. Вот какой мужик.

Вольф говорит долго. Мы лежим, не спим, слушаем. А за окном светает. Поют петухи. Вставать пора.

Решили мы, что хватит, что надо покончить с этим, надо нам договориться с деревней. А то куда это годится? Драки и драки.

И вот раз в летний день мы сделали вылазку. Мы построились шеренгой, — нас было теперь больше сотни ребят — и с барабанщиком, с трубачами пошли в деревню. С барабанным боем, с песнями мы пошли по улицам деревни, а потом построились на площади. Крестьяне смотрят на нас, удивляются — с чего это мы вдруг такие храбрые стали? Они сидели на завалинках, стояли у ворот, почесывались, посмеивались, скалили зубы. Однако вначале все шло ничего, но тут — на беду — заговорил Вольф. Он говорил о жизни в колонии, о том, как начнем работать, как заживем, просил крестьян помочь

нам советами и указаниями, а беднейшим предлагал отдать детей к нам в колонию. «Незаможники! Безлошадники! Отдайте нам детей!» сказал Вольф. И вдруг со всех сторон наперли мужики, бабы, парни с кольями, с кочергами. «Детей наших пришли забирать!» кричали бабы. «Гони их!» кричали мужики. «Бей!» кричали парни. Мы, конечно, драла.

А с деревней мы все-таки сдружились. И не вылазка тут помогла, не барабанный бой, а понравилось мужикам, что мы работаем ладно.

Неизвестно, когда это началось, но вдруг оказалось, что все мы работаем. Вольф незаметно приучил нас к работе. Способ у Вольфа был такой: никого не заставляя, но никому не мешать. Оказалось, например, что некоторые ребята любят животных — Вольф поручил им смотреть за домашним скотом. Другим нравилось огородничество — Вольф отвел им место под огород, устроил грядки, выписал из города семена, лейки, лопаты. Третьим хотелось работать в поле — Вольф вытребовал плуги, сеялки, бороны. Четвертые были хорошими организаторами — Вольф вместе с ними устроил всякие комиссии, хозяйственные, культурные, и помогал, чем мог. К нам приехал агроном из Житомира. Работу в поле и в доме развернули во всю.

Крестьяне, глядя, как мы работаем в поле, смеялись: «суслики!» Прошло, однако, месяца полтора, поля наши зазеленели, и крестьяне стали приглядываться внимательно. Называли они нас теперь «работничками». Наконец настал день, когда к нам на двор пришло человек десять мужиков. «Дило им, — видишь ли, — до гражданина агронома». А уж потом стали часто ходить.

Недалеко от нас на горе стоял кавалерийский полк имени товарища Буденного. Мы часто в поле встречали кавалеристов в шлемах, в длинных шинелях. Увидев нас, бойцы останавливали коней и вступали в разговор.

Как-то раз к нам в колонию пришли представители полка, три человека: эскадронный командир и два красноармейца. Они долго расспрашивали нас о том, как мы тут живем, осмотрели дом, службы, посидели за столом, попробовали нашей каши и уехали. На другое утро к дому подкатили тридцать две военных повозки. Нас усадили и повезли в лагерь, в гости. В лагере красноармейцы нас встретили очень хорошо.

Угощали, обучали стрельбе, дарили разные вещи. Мне пода-  
рили кожаный ремень и маленькие шпоры.

В лагере часто устраивали скачки.

Раз вот на таких скачках я видел Буденного. Он сидел на  
большом коне, расстегнув рубаху, и показывал на груди и на  
руках дырки от пуль. Их было 25. «Да здравствует товарищ  
Буденный! — кричали бойцы. — Урра!»

Пять месяцев прожил я в колонии, а потом скучно стало.  
Была осень. Шли дожди. Мы сидели в доме как тараканы, ло-  
дыря валяли.

Я пошел к Вольфу и сказал:

— Отпустите меня, — сказал я, — я хочу уйти.

— Куда ты пойдешь? — сказал Вольф. — Будет тебе дурить.  
Иди, проспись.

— Я все одно уйду, — сказал я. — Не отпустите — убегу.

— Да куда ж ты пойдешь, баранья башка? — крикнул Вольф.

— Я к Либе пойду, — сказал я. — А не отпустите — убегу.

— Силой держать не будем, — сказал Вольф. — Иди, куда  
хочешь. Только гляди, братец, как бы худо не было.

— Не будет худо, — сказал я и пошел собирать вещи.

Когда я пришел к Либе, я сразу увидел, что тут не то, что  
было раньше. В квартире грязь, не убрано, в спальне ребенок  
пищит. Эле небритый, злой.

— Зачем пожаловал, почтенный? — спросил он.

— В колонии скучно, — сказал я, — я ушел отсюда.

— Мы не можем тебя взять к себе, — сказала Либе, — сам  
видишь, как теперь живем. Эле уже второй месяц без работы  
ходит.

— Я в колонию не вернусь, — сказал я, — буду по улицам  
ходить.

— Не дури, Нотке, — сказала Либе, — вернись в колонию.  
Ты же пропадешь так.

— Я не вернусь, — сказал я, — я по улицам ходить буду.

— Походишь, походишь, а там опять в колонию попадешь.  
Отправят, — сказал Эле.

— Я не дамся, — сказал я, — скучно в колонии.

— Ладно, — сказал Эле. — Сегодня ночуй у нас, а там —  
посмотрим.

Встал я утром, попил чаю, взял свою котомку и вышел на улицу. А на улице дождь. Скучно. Сел я на крылечке какого-то дома и думаю: «Что делать, — думаю, — куда пойти?» Сижу, думаю, а в доме кто-то на балалайке играет. И тут я подумал: буду петь. Голос у меня неплохой. В колонии я даже считался певцом. «Верно, — подумал я. — Пойду на базар и буду петь». Видал я раньше таких певцов: сидит, поет, а старушки разные деньги в шапку кидают. Доходное дело. И на обед хватает и на халву.

Ладно. Пошел я на базар, сел у церкви, пою. Настоящих-то песен я еще тогда не знал и пел еврейский стих, слова из хрестоматии, а петь как — сам придумал:

Штейт ин фельд а беймэле.  
Хот эс гринэ цвайгэлех.  
Зицт дер руйф а фейгеле.  
Махт эс цу ди айгелех\*.

Ночевал я на базаре в ларьке, а то в подвале на окраине. Я обтрепался и стал похож на старого беспризорника: рваные штаны, рваная рубашка, шапка набок, на ногах — коты. Но голодать не голодал. На обед за день наскребешь. На халву вот нехватало.

Как-то утром сидел я так на базаре и пел. Ко мне подошел парнишка лет двенадцати, черный как цыган.

Одет он был еще хуже моего. На одной ноге вместо сапога тряпки, на другой дырявый валенок, а на голове ермолка.

Паренек подошел, поглядел на меня, сплюнул и сел.

— Поешь? — спрашивает.

— Пою, — говорю.

— Я тоже пою, — сказал парнишка, — вместе петь будем. Понял? — И запел. Песня была настоящая, жалобная:

У кого есть родные,  
Приласкают порой,  
А меня все обижают,  
И для всех я чужой...

пел «цыган», а слова: «Вот умру я, умру я...» он пел так жалоб-

---

\* Стоит в поле дерево. Дерево с зелеными листьями. Сидит на дереве птица. Птица закрывает глазки.

но, что плакать хотелось, честное слово.

Когда он кончил петь, я спросил:

— Как тебя звать?

— Цыган, — сказал паренек. — А тебя?

— Натан, — сказал я, — Шостак Натан.

— Не Натан, а Качан, — сказал Цыган, — понял?

И потом только Качаном меня и звал.

Вечером Цыган встряхнул мою шапку, забрал все деньги в карман, встал и говорит:

— Шабаш.

Потом он достал из кармана две булочки — мне и себе.

— Лопай, Качан, — говорит, — только, смотри, не подавись-ка.

Потом он спросил:

— Ты, Качан, где ночуешь?

— В подвале, — сказал я.

— Веди! — скомандовал Цыган.

В подвале было темно. В углу была постель из соломы и из сухих листьев. Около постели в горлышке аптекарской бутылки торчал огрызок свечи. Подвал был грязный. Цыган достал спичку, зажег свечу и оглядел подвал.

— Небогато живешь, Качан, — плюнув через весь подвал, сказал он, — да уж ладно, устроимся.

Он лег на постель к стене и сказал:

— Брось сопеть, Качан, — сказал он, — ложись.

Лежа на соломе, мы разговорились. Говорил больше Цыган. А я только охал и ахал. Цыган-то оказался бывалым парнем.

— Ты, Качан, «работать» умеешь? — спросил он.

Я не понял.

— Ну, слямзить что-нибудь, стырить?

Я опять не понял.

— Воровать? — сердито крикнул Цыган.

— Нет, — сказал я, — не умею.

— Дурак, — сказал Цыган, — сразу видать, что дурак. Я, брат, целый год этим только и жил. Сейчас бросил — дерутся уж больно, черти. Потому и бросил. А только скоро опять возьмусь за «работу». Скучно «стрелять», да и заработаешь на этом холеру. А под поездом ездил?

— Не, — сказал я, — не ездил.

— Э-эх ты, цыпленок жареный! А вот я, Качан, где хошь бывал: и на Кавказе бывал, и на Волге бывал — и все, брат, под

поездом. Надо мне тебя уму научить. А то вот погляжу на тебя — дурак ты, Качан, пропадешь. Хошь, друзьями будем?

— Хочу, — сказал я.

— Вставай, — сказал Цыган, а сам наперед меня вскочил и зажег свечу. — Клади палец на огонь, — говорит.

Положил я палец на огонь, жжет, — отдернул я палец.

— Жжет, — говорю.

— Не этот палец — мизинец, — сказал Цыган. — Подержи, не сгоришь.

Цыган сделал то же.

— Ножик есть? — говорит. — Давай сюда.

Он надрезал мой палец, потом свой, потом сказал:

— Теперь я беру в рот твой палец. Ты — бери мой. Пососи кровь-то. Так, ладно.

Стал я ходить с Цыганом. Скоро к нам пристал третий — Хаим, тихий паренек, трусливый как заяц. Цыган взял его в компанию за хороший голос.

— Эх ты, канареина! — говорил он Хаиму. — Пристал ты к нам как банный лист. Подумай: на кой ты нам дался? — А не отпускал.

Настала зима. Завернули морозы. Жить нам стало худо. Хаим отморозил нос. Я — руки. Они у меня опухли, болели.

Петь на морозе стало трудно, да и подавали мало. Раз вечером Цыган сказал:

— Вот что, орлы, — сказал он, — плюнем на этот поганый город и махнем в Кадин. Тут-то нас все знают, а в Кадине нас встретят вроде как актерщиков.

— Ладно, — сказал я, — идем.

Хаим — тот захныкал.

— Как пойдешь? Холодно. Опасно. Мужики побьют по дороге...

Но Цыган даже разговаривать не стал.

— Сегодня ночью выходим, — сказал он, — и ты с нами, канареина. Понял?

Шли мы всю ночь по снегу и никого не видели, а утром встретили двух мужиков. Они ехали верхом.

Цыган подошел, поздоровался и спросил дорогу на Кадин. Мужики поглядели на нас, потом друг на друга, потом старший, бородач лет пятидесяти, вынул изо рта коротенькую лульку, сплюнул, обтер рот и спросил:

— Кто такие будете?

— Мы — сироты. Кадинские мы. К матке идем, — сказал Цыган.

Мужики переглянулись.

— Говоришь, кадинские, — сказал младший, коротенький человек, горбатый, — а дорогу в Кадин не знаете. Чудно́ это.

— Мы шесть лет дома не были. Мы дорогу забыли, — сказал Цыган: — Скажите, дяденьки, как пройти.

Старший мужик вдруг осерчал.

— А в острог хочешь? — сказал он и поехал. Уже отъехав большой кусок, младший повернул голову и крикнул:

— Эй, хлопцы, дорога-то в Кадин п р я м о!

Мы шли весь день. Деревни обходили. И даже ночевать не зашли в деревню, а заночевали в поле, зарывшись по горло в снег. В снегу тепло спать, только двигаться не надо. Утром началась метель. Дорогу замело. Мы с трудом по телеграфным столбам добрались до Кадина.

Прошли мы улицу, переулок, другую улицу.

— Стоп, хлопцы, — прошептал Цыган, — мильтон.

Верно, на базаре стоял низенький милиционер с винтовкой и от нечего делать дул себе в кулак.

— Вот холера, — прошептал Цыган. — Заберет еще в часть. Тихо, хлопцы. Поняли?

Цыган приказал нам спрятаться и ждать. Сам он пошел разведать, что да как. Скоро он крикнул нам:

— Крой сюда, ребята! Мильтон-то ушел, чтоб ему провалиться.

Сели мы и запели, в три голоса поем, на весь Кадин. Сначала никого не было, потом подошел человек, послушал и спросил:

— За деньги поете?

Потом какой-то старик пришел. Глухой, верно. Он все говорил:

— Вы громчей бы.

Потом много собралось народу. И тут какая-то старушка прибежала.

— Чего смотрите? Чего рты открыли? — закричала она.— Тут дети на морозе сохнут, а им и дела нет. Вы, дети, откуда-ва? — спросила она пас.

— Из Переяслава, сироты мы, жить негде, — заплакал Цыган.

— Как жить негде? — удивилась старушка. — Идемте ко мне ночевать.

Месяц жили мы в Кадине. Худо было с ночевкой. Первые три дня мы ночевали у старушки. На четвертый день она вдруг забузила.

— Насели на мою голову, бездельники! — кричит. — Думаете, других у меня дел нет, как только вам кровати стелить? Что я вам — прислуга, тетка, бабушка?

— Кляча ты беззубая — вот ты кто! — крикнул Цыган. И за дверь. Мы за ним.

— Чтоб ноги вашей, бродяги, не было в моем доме! Воры! Обормоты! — ругалась вдогонку старуха.

Мы ночевали в полуразрушенном доме. В нем не было ни потолка, ни пола. Только и были что окна да двери. А морозы были здоровые. И дела пошли под гору. Подавали все меньше.

— Это не город, — сказал раз Цыган, — это — дыра. Собирай монатки, ребята. Кроем в Переяслав! Поняли?

Обратно в Переяслав мы поехали поездом.

Скоро после того Цыган пропал. Вылез утром из подвала на двор, сказал, что скоро вернется, и не вернулся. Куда он девался, не знаю. У Хаима же нашлась в городе какая-то родня, тетка, что ли, он ушел к ней жить. Остался я один.

Зима прошла. Настало лето.

Раз утром стоял я у продуктового ларька, голодный как зверь, и глядел на пирожки с рисом. «Спереть бы таких хоть пяток, — думал я, — да с кофеем, да с маслом — эх!»

Думаю я так, и вдруг меня кто-то хлоп по плечу. Обернулся я — Вольф. Стоит рядом, палочка в руке, круглый, лысый, а на лысине муха сидит.

— Вот ты где, Шостак, — говорит, — а мы тебя ищем. Семнадцатого годовщина колонии. Как-никак, а тебя тоже чествовать надо. Едем со мной.

У меня прямо дух захватило, но я смолчал. Стыдно мне было согласиться сразу. Вольф повертел перед носом палочку, подождал и говорит:

— Значит, едем?

— Ладно, — говорю, — едем.

— Молодец, Шостак, — обрадовался Вольф, — молодчина.

Прожил я на этот раз в колонии два года, а на третий год получаю от старшего брата Лейбы письмо. Брат пишет, что остался служить в Красной армии, живет в Ленинграде и зовет меня туда. «Ленинград — большой город, — писал брат, — учить-

ся будешь. Человеком станешь». Пошел я с этим письмом к Вольфу.

— Что же, — сказал Вольф, — раз брат зовет— поезжай. Ленинград стоящий город.

Попрощался я с ребятами, сел на поезд и поехал.

— Тебе надо поступить в детский дом, — сказал мне брат, когда я приехал, — а когда подрастешь, определю на рабфак.

Но в ОНО брату сказали, что меня сначала направят в карантин, а уже оттуда в детский дом.

В карантине в то время жили беспризорники, малолетние преступники и дефективные. Командовал там Костя, парень лет шестнадцати, толстый, черт, как свинья. И что ни слово, то— «убью». Слягавишь — убью. Не дашь — убью. Не пойдешь — убью. И не зря, ведь, грозился — за покушение на убийство Костя потом попал в лавру.

Было так дело: сели мы раз утром чай пить. Что такое? Чай соленый как рассол. Оказалось, что Костя в чай вместо сахара соль насыпал, а сахар забрал себе. По столу от Кости и дальше — приказ: «Молчать, братва! Слягавишь — убью». Пьем чай, тошнит, а пьем и молчим. А после чая нас вдруг выстраивают в зале, появляется заведующий. «Вы так простоите до тех пор, пока не скажете, кто насыпал соль». Так. Значит, кто-то накатил. Но от нас ничего не добились. Продержали в строю целый час и отпустили. А наутро нашли Фомку, тихого парнишку, лет четырнадцати, привязанным к постели, в ладонь вбит гвоздь, и видать, что ночью его кто-то душил. Развязали Фомку, а он говорит: «Костя». Бросились искать Костю, а его нет. Нашли его только через месяц где-то в подвале на Лиговке.

— За что ты хотел убить Фомку? — спросили его.

А Костя:

— Лягавый он.

Меня в первый же день избили. Но потом, когда узнали, что я пою, не трогали. Заставляли только каждый вечер петь.

Прожил я в карантине месяца четыре. Потом меня перевели сюда, в детский дом. Весной детский дом переехал на Сиверскую. Мы работали, купались, отдыхали, делали походы в лагеря. В то лето я вступил в пионерскую организацию. А с осени стал ходить в школу. Меня приняли в третий класс.

— А сейчас ты в каком? — спросил Ледин.

— А сейчас-то я в седьмом, — сказал Шостак. — А вот весной поеду в колхоз.

## Глава третья

### ПОБЕГИ

О побегах зашел разговор случайно во время прогулки по набережной.

Семен показал на шпиль Петропавловской крепости и сказал:

— Вот бы куда залезть.

— А зачем? — сказал Натан.

— А интересно. Высоко.

— Сделать бы на шпиле дом — и воров туда, — сказал Иеня.  
— Оттуда не убежишь. Врешь.

— Не быть ежли дураком и не трусить, так откуда хошь убежишь, — сказал парень, которого за короткие ноги прозвали «Коротуном». Настоящее его имя было Михаил, Мишка.

— Ловкач ты, брат, — сказал Натан. — А посадить бы тебя на Исакий да лестницы бы убрать — другое бы запел.

— Убежал бы, — уверенно проговорил «Коротун», — я таким вот шкетом был, а из детского дома удрал.

— То из детского дома, — сказал Иеня.

— А ты знаешь, какой это был детский дом? — повернулся Коротун к Иене. — Почище тюрьмы: вокруг двора — высокий забор. Ворота день и ночь на запоре. А у ворот сторож, здоровый такой бык, — Фонька. Беги туда.

— Но вот ты же удрал, — сказал Семен.

— Удрал, — сказал Коротун. — Потому-то я и говорю: не будь дураком и трусом, откуда хошь убежишь.

— Погоди, — сказал Ледин. — Не понимаю все-таки: вокруг двора, говоришь, высокий забор, ворота на запоре, у ворот...

— Фонька, — подсказал Коротун.

— Как же ты убежал?

— Да так. Просто, — сказал Коротун. — Взял да убежал. С самого начала если рассказать, такое дело выйдет: в двадцатом году, как убили моего батьку на войне, мать отдала меня в приют. В Житомире. Дом был большой, трехэтажный. Низ — каменный, верх — деревянный. Ребят нас было немного, и жилось нам худо. Спали в холодных комнатах, прямо на полу, и подушек не было. А вместо сапог нам дали деревянные сандалии, так что в городе нас за версту узнавали по стучу.

«Эге, — говорили, — «ходи» идут». И ни черта есть не давали. Чтоб не околеть с голоду, мы ловчились: кто на базаре лотки «чистил», кто стрелял в городе пятаки, а кто оставался у ворот и поджидал обозы свекловицы. Как покажется такой обоз, ребята подкрадутся сзади, распорют мешок, подставят к дыре ведро или корзину и наберут так с пуд свеклы. Извозчик увидит и за нами, а мы — драла. Вечером ребята соберутся на приютском дворе. Каждый сыплет в общий котел, что достал за день, потом раскладываем костер и жарим свеклу. Заведующий боялся нас. Он был слабенький такой, подслеповатый, в больших очках, хоть и молодой. Он сам, бывало, присядет к нашему костру, возьмет свеклу и грызет.

Осенью в доме завелись новые порядки. Слепого-то дурака убрали, а на его место назначили Евсея Ароновича. Евсей Аронович был большой, волосатый, медведь прямо. Он круто повернул дело. «Приют — не воровской притон, — заявил он, — вперед без моего разрешения никто из вас за ворота не выйдет. Поняли?» Действительно, у ворот появился сторож, похожий на Евсея Ароновича: такой же медведь и силач. Фонька его звали. Без разрешения он никого за ворота не выпускал.

Приплыли, ребята. Времена какие пришли! Беда! Зашумели. Мы, мол, не арестанты, а приют не тюрьма. Сунулись было к Евсею Ароновичу, а он и слушать не хочет. Сидит Фонька у ворот, сторожит нас.

Был в нашем доме мальчишка. Шолом Венин его звали. Ловкий был парень, хоть и заика. Собрал он как-то ребят и говорит:

— Смываться нам, рребята, отсюда надо. Ппропадем мы тут с этими битюгами.

— Как тут смоешься? — говорят ребята.

— А вот подумаем как, — сказал Шолом.

Думают ребята, думают. Выходит — кругом шестнадцать: тут оставаться — плохо, и смыться нельзя никак.

— Ладно, рребята, — сказал Шолом, — а я все-таки попробую. Кто со мной?

Вызвался Алтер Шорин.

— Еще кто? — спросил Шолом.

Вызвался я.

Шолом отвел нас в сторону и говорит:

— Молодцы. — говорит, — ребята. Вы, я вижу, не трусы. Я. — говорит, — еще не знаю, как мы смоемся, а только смоемся. Вы пока молчите, а я подумую. Есть, ребята?

— Есть, — говорим, — делай.

Прошел день. На другое утро Шолом говорит нам:

— Выходите, ребята, на двор. Ждите у сарая.

Пошли мы на двор, стали у сарая, ждем. Приходит Шолом, невеселый идет.

— Плохи дела, ребята, — говорит, — я вчера обнюхал весь дом сверху донизу, двор обшарил — и, понимаешь, кроме ворот, нет хода.

— А у ворот — Фонька, — сказал Алтер.

— А у ворот — Фонька, — подтвердил Шолом. — Значит, как нам быть?

— Значит, плюнуть нам надо на это дело, — сказал Алтер, — плюнуть и растереть.

— Значит, надо нам Фоньку от ворот уббрать, — не слушая Алтера, сказал Шолом, — и не ночью, когда ворота все равно заперты, а днем.

— Гиблое дело, — сказал Алтер. — Фонька не отойдет от ворот, хоть гори пожар. А коли отойдет, так уж непременно запрет ворота на ключ, будь спокоен.

— Хоть гори пожар, говоришь? — повторил Шолом. Он подумал и сказал: — Ладно, посмотрим.

На другой день вечером Шолом шепнул нам:

— Готовься.

Оделись мы, стали у ворот, стоим, ждем Шолома, а Фонька сидит в будке как прикованный.

Вдруг у сарая загорелось что-то. Дым идет, искры сыплются.

— Пожар! — закричали вокруг.

Фонька в тулупе вышел из будки и сипит:

— Эй, что там?

— Пожар! — кричали со всех сторон.

Фонька подошел к воротам, повернул ключ, потом вынул его, зажал в руке и пошел во двор.

Но когда Фонька проходил мимо будки, будка вдруг поднялась и с треском повалилась на Фоньку. Фонька упал. Ключ покатился по земле.

Кто-то быстро схватил ключ, щелкнул замок, калитка распахнулась, и знакомый голос крикнул:

— Айда, ребята!

Когда мы остановились, чтобы передохнуть, я спросил у Шолома:

— Будку — это ты?

— Я, — сказал Шолом. — Две ночи возился, подпиливал столбы.

— А пожар? — спросил я.

— Солома, — сказал Шолом.

— Куда ж вы убежали? — спросил Ледин.

— Шолом в ту же ночь ушел из Житомира. А мы переночевали на базаре. А утром нас задержала милиция и доставила в приют.

— И бежали, значит, зря, — сказал Иеня.

— После того я недолго там оставался, — сказал Мишка. — Меня Евсей Аронович сплавил с эшелоном в Ленинград. Хотел поскорей с рук сбыть.

— А Шолом твой ловкач, — с завистью сказал Семен.

— Ого, хват, — сказал Коротун.

— А в вашем доме были бегуны? — спросил Ледин.

Ребята замялись.

— Был один случай, — проворчал Семен.

— Давно?

— Года два, что ли.

— Какой же случай?

— Такой.

— Какой такой?

— Не помню уже.

— Они не говорят, потому что Хаче их товарищ, — сказала Аня.

— Ну, ты скажи, — предложил Ледин.

— И скажу. — Аня смело посмотрела на ребят, но те шли потупясь и молчали.

— А было так, — сказала Аня. — Жили мы то лето в Толмачеве. На даче. Жили весело. Ребята все свои. Хорошие все ребята. И вдруг — странное дело: стали у многих пропадать галоши. Сегодня у одного пропала пара, завтра — у другого, послезавтра — у третьего. Ясно, что кто-то галоши ворует. И кто-то из своих. Чужих у нас на даче не было. Но кто? И сразу всем пришло в голову: Хаче Рыскин. Никто вслух этого не сказал. Не пойман — не вор. Зачем говорить? Но про себя подумали: «Рыскин. Никто другой».

Рыскину было тогда лет двенадцать. Жил он в нашем доме давно — года три. Знали его все, а не любили. Играют, ска-

жем, ребята в лапту. Хаче, будто нечаянно, стукнет кого-нибудь палкой по затылку. Сам испугается, побежит за водой. А приложишь эту воду к ране — жжет. Оказывается, принес не воду, а уксус. Не любили его ребята. И вот, когда пропали галоши, все ребята как один подумали: «Хаче Рыскин. Никто другой». Но вслух не говорят. Только каждый про себя решил, что надо проследить Хаче.

А утром еще новость: у одной воспитательницы из ящика стола пропали шесть рублей — две тройки. Ребята подняли бучу. Невиданное дело в нашем доме — воровство. Посоветались и решили вызвать Хаче и допросить его.

Явился Хаче. Лицо обиженное и сердитое. Зашумел он, руками машет. «Чего обижаете? Знать не знаю, ведать не ведаю. Ищите». — «Поищем!» сказали ребята и задумались. Кто его знает, может быть, в самом деле напраслину на парня взводим.

Тут Сенька, — теперь он уже вышел из детского дома, на фабрике работает, а хороший был парень, его «кавалеристом» прозвали за кривые ноги, — выступает тут Сенька и говорит:

— Вот что, — говорит, — ребята. Дело-то это скверное. Дело это оставить нельзя. А только если мы все галдеть будем — толку не выйдет. Верно?

— Верно, — сказали ребята.

— Вот что, — сказал Сенька, — давайте это дело мне. Ручательство, что я его поймаю на месте, тогда и разговор будет, а пока разойдись — и молчок.

— Ладно, — сказали ребята. — Только ты уж, Сенька, постарайся. Дело-то, ведь, нехорошее. А пока — молчим. Это можно.

Разошлись ребята.

Ночью все заснули, а Сенька не спит. Сенька подкрался к комнате, где спал Рыскин, лег брюхом на пол, ухо приложил к двери и застыл, не дышит.

Вдруг слышит шорох в комнате, шарканье ног по полу. Сенька к стене. И вовремя: дверь открылась, и появился Хаче Рыскин. Оглядываясь, Хаче тихо пошел на двор. Сенька за ним.

Хаче в ворота и ну шагать. Но Сенька не отстает.

— Вот оно что! — думает Сенька. — Парень сигануть вздумал.

И верно: идет Хаче к вокзалу. Когда они вышли на дорогу, Сенька крикнул:

— Рыскин!

Хаче обернулся, увидел Сеньку — и бежать. Сенька за ним. Догнал его Сенька. За плечо схватил. Хаче дрожит, плачет, а в руке что-то держит.

— Покажи! — крикнул Сенька и цап Хаче за кулак.

А в кулаке шесть рублей воспитательницы, две тройки.

— Ну, парень, — сказал Сенька, — что ты наделал? А?

Хаче молчит, только губы трясутся, плачет.

— Идем, — сказал Сенька и повернул к дому.

Хаче — за ним. Зашли в дом.

— Ты бежать оставь, — сказал Сенька, — но иди теперь поспи, а завтра перед всеми ребятами слово дашь, что больше воровать не будешь. Понял?

Хаче пошел в спальню и лег.

А наутро проснулись ребята — нет его. Убежал Хаче.

Убежал Хаче и пропал. И следа нет. Месяц проходит, два проходят, три проходят — нет Хаче. Уж мы о нем забывать стали.

И вот раз ночью спит Сенька и слышит стук в окно. Сенька встал, открыл окно и крикнул:

— Кто тут?

— Я, — сказал кто-то.

Тогда уже была осень, ночи были темные, так что Сенька, как ни смотрел, никого не мог разглядеть.

— Кто я? — спросил он.

— Я — Рыскин.

— Хаче, ты? — крикнул Сенька. — Лезь в окно.

Не узнать было Хаче. Грязный, ободранный, на ногах большие галоши веревочкой привязаны к сапогам. На голове шапочка без верху, одна подкладка.

— Дайте, ребята, пошамать, — говорит, — уж очень есть хочется.

Ребята окружили Хаче, принесли ему поесть, расспрашивают, как да что, да откуда. Хаче не отвечает, чавкает; съел все, что ему принесли, собрал даже с пола крошки хлеба, а потом сразу уснул.

Утром, когда в доме узнали, что вернулся Хаче, заведующий вызвал его к себе. И тут Хаче рассказал все, что с ним было в это лето.

— Удрал я в ту ночь, потому что мне стыдно было, — сказал Хаче. — Когда меня Сенька вернул, я зашел в спальню да подумал: «Что-то завтра будет? Перед всеми ребятами срамиться надо будет, ребята избегать меня будут, пальцами тыкать

будут. Нет, — думаю, — лучше умру, а этого не будет. Убегу». Вышел я из дому и пошел на вокзал. Пришел на вокзал, а там пусто, ни души. Светать стало, а я сижу на перроне один, есть хочется, и не знаю, что мне делать, куда мне податься. А на вокзале сидеть — тоже мало толку. Пошел я к реке, покупаться захотелось, жарко было. Вижу — на берегу стоит будка, а в будке сидит мужик, крепкий такой старик, с красной бородой, перевозчик. Сидит — чай пьет. Зашел я в будку.

«Можно, — говорю, — дед, у тебя тут посидеть?» Старик посмотрел на меня и говорит: «А ты кто будешь?» — «Из детского дома я, — говорю, — меня сегодня на весь день до вечера гулять отпустили». — «Посиди, — говорит старик, — места не жалко». День я проваландался у реки, купался. Вечером старик спать собирается. «Чего, — говорит он мне, — ты домой не идешь?» Ну, тут я ему все и рассказал. Сказал, что удрал из детского дома, что вернуться туда не могу и что податься мне некуда. «Ладно, — сказал старик, — поспи нынче тут, а завтра поглядим».

Остался я жить у перевозчика. Старик научил меня грести и управлять лодкой. И вот стали мы перевозить людей: то он перевозит, то я. Жилось плохо. Спал на полу. Обтрепался я. А старик жадный был, кормил сухарями да водой.

А на горе за рекой жила железнодорожная охрана. Недавно охрана сделала облаву на беспризорных. Забрали меня и привели к начальнику. «Ты кто будешь? Откудова?» спросил меня начальник. Я наврал все: и имя, и фамилию, и года, сказал: пятнадцать лет. «Ладно, — сказал начальник, — отправим тебя, шкета, в детский дом».

Ночью в три часа посадили меня в вагон и повезли. Доехали до какой-то станции, проводник и говорит мне: «Слазь тут». Слез и вижу: вокзал, а кругом лес. На вокзале только два человека: кассир и мальчишка лет десяти, с фонарем. «Тебе куда?» спросил меня кассир. «В детский дом», говорю. «Пойдем», — сказал мальчишка. Пошли. Идем лесом, в лесу еще темно. Идем с фонарем. Пять верст прошли и пришли в детский дом. Дом стоял в лесу. Встретил меня заведующий — сонный, в ночной рубашке. Спросил, как звать, сколько лет. «Пятнадцать», — говорю. «Как с тобою быть? — сказал заведующий. — Мы принимаем только до четырнадцати». Я заночевал там, а наутро заведующий и говорит мне: «Я тебя отправлю в Ленинград. Тут я не имею права оставлять тебя». Он сам пошел со мной на вокзал и сказал проводнику, чтобы от-

вез в Ленинград. Но тут в Толмачеве я сиганул. День просидел на станции. К перевозчику я боялся пойти, опять охрана заберет, да и надоело там. А ночью пошел к вам сюда.

— А теперь Хаче где? — спросил Ледин.

— Теперь он в другом детском доме живет, — сказала Аня. — Он иногда приходит к нам в гости — в шахматы с ребятами поиграть. Увидите его как-нибудь.

— Да, — сказал Семен. — Совсем изменился Хаче, не узнать парня.

— О побегах и я могу кой-что рассказать, — сказал Ефим Горчаков. — Я сам бежал из Польши в СССР, а было мне тогда лет семь, что ли. Маленький был.

— Один бежал? — удивился Ледин.

— Ну, одному-то где мне было бежать, — сказал Ефим. — Я с дядькой бежал, с Неахом. Раньше он в польской армии служил солдатом, а потом демобилизовался и работал в типографии. Дядя Неах все хотел перейти в СССР. Он уговаривал маму и меня отпустить с ним. Но мать не хотела.

Как-то раз Неах пришел к нам в гости. Мать болела. Она лежала в постели. Спала. Неах посидел немного, а потом отозвал меня в сторону и говорит:

— Слышь-ка, — говорит, — Ефим, хочешь поехать со мной в Россию?

— Хочу, говорю.

— Одевайся.

— Сейчас?

— Ну да, — сказал дядя, — заедем ко мне, а оттуда на вокзал.

— А мать?

— Матери ничего не говори. Мы ей с вокзала напишем. А как устроимся, возьмем ее к себе.

Оделся я и вышел с дядей. Мама спала и ничего не слышала. Мы поужинали, пришли на вокзал и сели на поезд.

Целую ночь мы ехали поездом и наутро приехали в маленький пограничный городок Острог. Слезли мы с поезда и пошли по улице. А на улице мороз, холодина. Видим — синагога стоит. Мы и зашли туда погреться. В синагоге никого нет, только старик-служка возится в углу, печку топит. Мы поздоровались со стариком, поговорили. Он спросил, кто мы такие. Откуда, куда? Дядя ему и говорит: так и так, говорит, хочу с племянником перейти границу.

— Трудно это, — сказал старик, — границу охраняют крепко. И банды сейчас всякие по границе ходят, ограбят, да еще — не дай бог — зарежут.

— Грабить у нас нечего, — сказал дядя, — а зарезать, — может, и не зарежут. Тут, ведь, тоже не житье. Худо тут, хуже не надо. Уж чего лучше — в самой Варшаве у меня жандармы брата убили. Его отца, — показал он на меня.

— Что вы?! — сказал старик и головой покачал. — Плохо, очень плохо. Вы подождите пока, погрейтесь, а я кое с кем о вас поговорю.

Когда в синагогу стал собираться народ на молитву, старик подвел к нам какого-то одноглазого человека, показал на нас и говорит:

— Эти самые.

Одноглазый пошептался с дядей и вышел из синагоги. Дядя пошел за ним вслед, а я за дядей. Одноглазый, не оборачиваясь, делал нам какие-то знаки рукой. На окраине одноглазый зашел в небольшой домишко, отгороженный от улицы забором. Мы остались у ворот. Скоро у окна появился одноглазый и рукой махнул: войдите.

В доме было грязно. Худая женщина сидела посредине комнаты на табурете и кормила грудью ребенка. Она все ругала одноглазого, называла его «вором, контрабандистом, висельником». Рядом с женщиной стояла девочка лет десяти. В углу сидел старик. Он читал какую-то книгу.

Одноглазый усадил нас за стол и достал из шкафа полбутылки спирта, хлеб и огурцы. Мы закусили. Пришел еще один человек, веселый толстяк, бородатый. Он громко гоготал, хлопал дядю по плечу, называл длинноносую женщину «сорокой», выпил три рюмки спирта и исчез. Когда он вышел, одноглазый поднял вверх палец и сказал: «Ого! Голова!»

Вечером толстяк опять пришел, но уже не один, а с каким-то мужичком. Этот мужичок должен был нас перевезти через границу. С ним долго торговались, его в чем-то уговаривали, но мужичок не соглашался и все мотал бородкой. Наконец его уломали. Хлопнули по рукам, выпили по рюмке спирту, и дядя достал из кармана деньги. Но передал дядя деньги не мужичку, а волосатому толстяку. Толстяк же дал дяде фотографическую карточку какой-то девицы и две перламутровых пуговицы.

— Как перевезет он вас через границу, — сказал толстяк по-еврейски, — вы ему отдадите карточку и пуговицы. Деньги он

у меня получит, только когда покажет мне карточку и пуговицы. Не то... Сами понимаете.

Поздно ночью в окно постучали. Одноглазый вскочил и сказал нам: «Идем».

Мы вышли во двор. Тут нас ждали сани, запряженные парой. У саней стояли низенький мужичок и толстяк. Мы сели. Толстяк и одноглазый негромко крикнули: «Счастливо!»

И мы поехали.

Мы долго ехали полем. Было холодно. На полях лежал снег. Потом подул ветер. Мы свернули с дороги и поехали лесом. Тут было тихо. Но сани часто увязали в снегу. Мужик слезал и помогал коням тащить сани.

Вдруг мужик остановился.

— Слезайте, — сказал он нам.

Мы слезли. Мужик сказал:

— Вы лягте вон под тем деревом. И лежите. Я поеду домой. Посмотрю, что-то там.

Он сел и уехал.

Мы остались одни в лесу, под деревом. В лесу тихо, только раз услышали мы шаги: насвистывая, проходил человек. Дядя сжал мою руку и шепнул:

— Замри!

Долго мы лежали так, не шевелясь. Но человек прошел, не заметил нас. Мороз кусал уши и нос.

— Мне холодно, дядя, — сказал я.

— Ничего, Ефим, — сказал дядя, — сейчас за нами придут.

Мужик пришел только через час.

— В деревне тихо, — сказал он. И кинул нам лапти. — Наденьте-ка.

Лес скоро кончился. Показалась деревня.

Деревня была маленькая, дворов двенадцать. Когда мы пришли, вся деревня спала, и только в одной хате горел огонь. «Сюда», сказал мужик.

Мужик уложил нас за перегородкой на полу.

— До рассвета ждать придется, — сказал он дяде, — лежи тихо и не шурши. Услышат вас — беда! Пропадем.

Долго в хате было тихо. Только скрипела дверь. Мужик все куда-то уходил и приходил. И вдруг послышались громкие шаги, и в дом вошло человек шесть. Кто-то заговорил польски.

— Охранники, — шепнул дядя.

Мне стало страшно. А тут еще дядя заворочался, открыл рот, икнул и закашлялся.

— Не кашляй, дядя, услышат, — шепнул я.

— Першит в горле, — прохрипел дядя, — не могу. Задыхаюсь.

— Моги.

А дядя опять открыл рот, опять икнул и опять кашлянул. Охранники замолчали. Потом один из них встал и пошел к перегородке. Услыхали! Но тут заговорил мужик. Что он сказал, я не расслышал, но только охранник вернулся и сел за стол.

Когда охранники ушли, мужик налетел на нас с криком:

— А чтоб вас! — кричал он. — И меня б тут с вами угробили. Не. В хате я вас держать не стану. Идем в хлев.

Два часа пролежали мы в хлеву, зарывшись в сено. На рассвете пришел мужик, принес нам хлеба.

— Ты еще долго будешь волынить? — сказал ему дядя. — Уж засветлело. Идем.

Мужик дочесал бородку и стал отлынивать.

— На границе, слышь, бандиты балуют, — заговорил он, — нонешней ночью экономию ограбили. Подождать надо.

— Плевать я хочу на твоих бандитов! — сказал дядя. — Веди!

Мужик увидел, что с дядей ничего не поделаешь.

— Ладно уж, — сказал он, — идем.

Пошли, но не по дороге, а по снегу. Мужик все оглядывался и прислушивался. В поле стояло дерево. Мужик дошел до дерева, остановился и сказал:

— Ну!

— Что — ну? — спросил дядя.

— Граница, — сказал мужик.

— Где граница? — спросил я.

— Вот она, — показал мужик на поле.

Я посмотрел и не увидел никакой границы.

Мне казалось, что граница — это длинная и высокая каменная стена, по которой день и ночь ходят часовые.

— Идите прямо по этой дороге, — сказал мужик, — тут уже не опасно.

— Вот что, друг, — сказал дядя, — или ты доведешь нас до первого советского города, или я сам пойду к красной охране, скажу, что хочу перейти границу и что ты от меня получил деньги. Я — рабочий. Красные меня не тронут.

— Тихо ты, холера, — испугался мужик, — идем назад, вечером переведу вас.

День мы пролежали в хлеву, а ночью мужик посадил нас в сани и повез. С нами побежала собака. Мужик завязал ей морду, чтоб она не лаяла. Мы ехали лесом. Один раз навстречу попались нам два человека. Мужик сказал нам лечь и накрыл нас соломой. Но люди оказались свои, деревенские.

— Тихо? — спросил мужик.

— Тихо! — ответили они и пошли дальше.

Уже стало светать, когда мы выбрались из лесу. Было холодно очень, и, чтобы согреться, мы бежали за саями. Мужик сначала ехал тихо, потом шибко погнал коней. Вдали показался городок.

— Славута, — сказал мужик.

Мы были уже в СССР. Славута — советский городок.

Гриша Рубин, редактор стенной газеты, шел-шел, слушал, не вмешиваясь в разговор, а потом рассмеялся и сказал:

— Иду вот и думаю, что бы мне такое рассказать. И ничего в голову не приходит. Не бегал я ни от кого и никуда. Даже обидно, знаешь ли. Вот если бы о братьях, например, шел разговор, тут и я бы мог кое-что сказать. А о себе что-то не припомню.

— А о брате — интересно? — спросил Ледин.

— О брате-то ничего, — сказал Гриша Рубин, — о брате интересно. Да что толку?

— А почему? — сказал Ледин. — Нет же у нас такого уговора, чтоб только о себе. Интересно — так рассказывай.

— И то, — согласился Гриша, — уговора же нету. Это верно. И рассказал вот что:

— Брат мой Юзик был с красными, — сказал Гриша. — А в город, в Бугуруслан, вступили чехи. И вот раз, — осенью, помню, дело было, — к нам постучали. Мать побежала отпирать.

— Стой! — крикнул отец, — не открывай!

Но в комнату уже ворвались чехи, усатые все как тараканы. Старший чех, офицер, размахивал наганом и кричал:

— Пся крев! Холера! Выдавай сына-бóльшевика.

— Нету у меня сына, — сказал отец, — не знаю, где сын.

— Скрываешь сына-бóльшевика. Пся крев! Холера! — закричал старший чех и наганом ударил отца по лицу.

Отец качнулся, но усидел на стуле.

— Хоть режьте, — сказал он, — нет у меня сына. Ушел от меня сын.

— Найдем — повесим! — прохрипел старший чех, выхватил из печки горящее полено и осветил комнату.

Чехи перерыли всю комнату и никого, конечно, не нашли. Нашли они золотую пятирублевку и позолоченные отцовские часы. Забрали пятирублевку, часы и ушли.

Когда чехи ушли, мать села на пол и заплакала. И вдруг слышит стук в окно: тук-тук-тук.

— Юзик! — крикнула мать.

Вскочила, открыла дверь и испугалась. В дверях стоял незнакомый, с виду татарин, рыжебородый, в ермолке, в длинном пальто.

— Чего вам надо? — крикнула мать.

Но рыжебородый знакомым голосом шепчет:

— Тихо, это я, Юзик.

— Юзик!.. Как ты? Тебя ищут, — сказал отец.

— Юзик! — заплакала мать.

— Тихо, — прошептал Юзик, — я в городе до утра... так надо... к вам на минуту... Накормишь, мать?.. я голоден как собака.

Юзик, не раздеваясь, не садясь, держал в руке миску щей и жадно хлебал ложку за ложкой.

— Мы еще вернемся, — говорил Юзик, — а про меня скажите: не знаем. Приставать будут, грозить, а вы одно: не знаем — и баста.

— Ушел бы скорее из Бугуруслана, Юзик, — сказал отец. — Разнюхают, что ты в городе, и несдобровать тебе.

— Откуда же узнают? — сказал Юзик. — Ведь, вот я какой теперь. — Он показал на бороду и на ермолку. И только он это сказал, как в дверь кто-то бух прикладом.

— Открой! — кричат.

Юзик раз в окно и на двор.

— Теперь открывайте, — говорит, — только помнить: не знаем, где сын, ушел сын.

В дом ввалилось человек десять чехов и двое татар из богатых.

— Выдавай, — кричат, — сына-большевика! Он сейчас тут был.

— Не было сына, — сказал отец. — Не знаю, где сын.

— Пся крив! Холера! — закричали чехи. — Куда дел сына-большевика?

Один татарин, жирный такой, старик, замахал руками, залопотал:

— Врет она, господин... сына приходила... моя видала. С бо-  
рода приходила... моя сам видала...

— Говори, бóльшевик! пся крев! — закричали чехи. — Кто приходил?

— Это не сын приходил, — сказал отец, — не знаю, кто приходил.

— Не знаешь, пся крев! Не знаешь, холера! — кричали чехи. — Голову оторвем, тогда узнаешь!

Они обыскали весь дом, все перерыли, но Юзика не нашли. Ушли ни с чем. В дверях толстый татарин остановился и погрозил нам кулаком.

— Прольется ваш кровь! — сказал он. — Помни моя слова.

Чехи остались в городе. Остались и начали грабить. Придет чех к татарину, — в Бугуруслане все больше татары живут, — приставит к груди револьвер и — «давай деньги!» Богатые татары дружили с чехами. Их не трогали. А у бедного откуда деньги? Божится татарин, плачет: «Нема деньги, гаспадин, моя бедный». А чех — бац по морде: давай деньги — и никаких. Многие татары вначале обрадовались чехам, но потом, как похозяйничали чехи немного, соседи-татары все чаще стали приходиться к нам в дом. Усядутся рядком, охают, вздыхают.

— Скажи сына, чтоб приходила, — говорят отцу, — трудно нам стало.

А чехи к нам повадились что ни день и все одно: бренчат винтовками, ругаются, шумят. Юзика требуют. Где сын- бóльшевик? Выдавай сына-бóльшевика!

А где Юзик, мы и сами не знали.

И вот раз, когда в доме ругались чехи: «Где сын? выдавай сына!» — скрипнула дверь, и в щель просунулась голова Юзика. Чехи его не заметили, а Юзик, увидав чехов, отскочил назад и быстро дверь закрыл. Заметила его только мать. Ей бы смолчать, а она не утерпела и крикнула:

— Юзик!

Услыхали чехи «Юзик», побежали на улицу и давай стрелять. Юзик бежал быстро, прыжками, но уже со всех сторон чехи, кричат, стреляют, окружают Юзика. Вот повалили его, связали, потащили. Конец. «Убили Юзика», решили мы.

И вот раз — в городе тогда уже были красные — сидели мы за ужином. Вдруг слышу стук в окно. Знакомый стук — тук-тук-тук.

— Папа, — закричал я, — Юзик!

— Что, Юзик? — сказал отец. — Где Юзик?

А Юзик уже в дверях стоит, веселый, в кожанке, шапка набекрень.

— Здорово, — говорит, — братишки!

А за ужином рассказал, откуда он и как.

— Бежал я, — сказал Юзик, — два раза. Тот раз, — помните, как пришел сюда и на чехов нарвался, — это я тогда первый раз из плена бежал. Попался я тогда в плен так: насели на нас чехи, а мы — небольшим отрядом — оторвались от главных сил, окружены и податься некуда. Вижу — плохо дело. «Братишечки, — говорю своему отряду, — дрянь дело. А только, говорю, живьем не сдадимся. Будем биться до последнего». Бьемся. Только бьемся мы что головой об стенку. Не пробиться никак. А чехи жарят как очумелые. Земля гудит. Многих убило, а меня контузило. Очухался я — вижу: лежу я связанный на телеге и везут меня куда-то. Над головой небо, вокруг какие-то люди, лопочут на незнакомом языке. Чехи! «Эх, — думаю, — пропал я». Но молчу. Вида не подаю, что в себя пришел. Вокруг — телеги едут, колеса скрипят. Ехали долго, полночи ехали. Потом остановились. К телеге подошли два чеха, осветили меня карманным фонарем, поговорили, отошли. Решили, значит, что я еще в контузии. Расселись чехи. Костры разжигают. Ужин варят. А потом завалились спать. Только двух часовых поставили. «Ну, — думаю, — бежать надо». Пошевелился я, кашлянул, — никто не слышит, никто не подходит. Спят. А часовые далеко. Приподнял я голову, зубами вцепился в веревку, потянул — поддается веревка. Поддается, понимаешь, веревка! Сорвал я ее к чертовой матери, да ползком мимо телеги, мимо костров, мимо часовых, да в поле, да бегом. Когда светать стало, оглянулся я, вижу — знакомые места, Бугуруслан близко. День я пролежал в горах, а вечером спустился в город. Зашел к вам, ну и прямо зверю в лапы.

Тут как взяли меня, повезли напрямиком в Сызрань, по начальству представить. А начальник — полковник из контрразведки, не чех — русский, из николаевских офицеров. Сидит это он, носом фыркает и сверлит меня глазами. «Сознавайся лучше, — говорит. — Сознаешься, расстреляю как честного человека, а молчать будешь, как собаку паршивую повешу». «Меня, — говорю, — привели сюда не за тем, чтобы твою морду разглядывать. Делай свое дело, бандит». Полковник кулаком по столу и кричит: «Расстреляйте его, сволоча!»

Вынырнул откуда-то офицерик. «Куда его, — спрашивает, — к тем, что ли?» Те — это были большевики, приговоренные

к расстрелу. Их уж набралось 17 душ, я был восемнадцатый. Посидел я день с товарищами, а ночью под усиленным конвоем нас повели на вокзал. Загнали в теплушку, три человека стражи — у двери, да шесть — на крыше. Повезли. Куда везут — неизвестно. А зачем — понятно.

А ночь темная. Выехали в поле. В вагоне горит фонарь. Стража сидит у дверей. Дремлет. А мы сбились в кучу. Кто на полу, кто на парах лежит. Поезд грохочет, а мне думается все: влип я, думаю, глупо влип. Вспомнил тут вас, товарищей вспомнил, и до слез обидно стало погибать так. Зря погибать. Текать, думаю, надо. А куда текать? Гляжу — в вагоне тихо, свеча горит, стража сидит у дверей, товарищи лежат, молчат. Тут в шуме колес услышал я другой шум. Будто вода шумит. Прислушался я — какая тут вода? И вдруг понял: Волга. Сейчас мост переезжать будем. Приподнялся и шепотом товарищам: «Сейчас, — говорю, — через мост переезжать будем. Грохот будет. Ни черта наверху не услышат. Как на мост въедем, — прыгай! Все равно погибать. Один леший». Кто согласился, а кто молчит. Ни гу-гу. Совсем, видать, окосели. Как въехали на мост, загрохотали по мосту, тут сразу восемь человек на стражу — скок. Ручки им назад, глотки рукой зажали. Стража бьется, пальцы нам кусает, а я: «Молчать! — кричу. — Товарищи, открывай двери!»

Открыли дверь и стражу коленом. Стража как птичка и вылетела. Я кричу: «Ребята, за мной!» А сам зажмурил глаза и — ух! Будто меня с крыши сорвало. Упал я на траву, ушибся слегка, но ничего, не очень ушибся. И вдруг слышу — пулемет такает. Дополз я до рельс, прижался брюхом к земле и лежу. А пулемет «так-так-так». Только пули все мимо летят — землю роют. Прошел поезд, поднялись мы на ноги — семеро нас — и побрели в степь своих искать. Пять дней кружили по степи. Днем в траве хоронились, а ночью идем, пока наконец не нашли своих. А наши чехов громят, и мы за ними, подступаем к Бугуруслану...

— Вот это здорово! — сказал Семен.

— А сейчас он где — брат? — спросил Ледин Рубина.

— На Урале, — сказал Гриша, — в Перми.

## Глава четвертая

### БАНДИТЫ

#### Бандит Хведька\*

У меня был ребе. Высокий худой старик, косой и борода-тый. А у ребе был хедер — маленькая комната в синагоге. В хедере за длинным деревянным столом на двух длинных де-ревянных скамейках сидели восемнадцать человек ребят и я — девятнадцатый. Вокруг стола ходил ребе, сутулый, в ермол-ке, с кожаной плеткой в руках. Он тыкал плеткой в ту или в другую букву и говорил: «алеф», мы хором повторяли: «алеф». «Бейс» — «бейс». «Гимель» — «гимель».

Вдруг на улице послышался топот копыт, потом стрелять ста-ли. «Гимель, — начал было ребе, — повторите гим...» Раздал-ся выстрел. Ребе испугался:

— Что там такое?

Стрельба усилилась.

— Бандиты! — прошептал ребе и забегал по комнате. — Детки! — заговорил он, — спасайтесь! Бегите домой, детки!

Спасаться и бежать домой было уже поздно. За стеной в большой комнате синагоги бандиты уже рубили шашками амвон, столы, скамейки, рамы окон, потом открылась дверь, и в комнату ворвался бандит. У него было красное, толстое лицо с отвислой нижней губой и широким, приплюснутым носом. Бандит был сильно пьян. В правой руке он держал шашку.

С минуту бандит стоял молча и тупо глядел вперед. Вдруг глазки его заблестели, он весело мигнул нам и прогнусавил: «Жиденё». Ребе хотел что-то сказать, но бандит, ухватившись левой рукой за стол, чтоб не свалиться, правой ногой саданул ребе в спину так, что тот упал на пол. Бандит заржал.

— Раббинер! — крикнул он. — Черт бородатый!

— Хведька! Хватай его за усам! — появившись в дверях, громко крикнул второй бандит, парнишка лет семнадцати.

Хведька, первый бандит, не понял сразу, что ему говорят. Он перестал смеяться, потом посмотрел на дверь. Потом снова заржал.

---

\* Рассказ Шамая Каданера.

— Раббинер! вставай! — прохрипел он. — Вставай, хрен! Бороду резать будим.

Хведька дернул ребе за ус, взмахнул шашкой и отхватил ему полбороды.

Ребе вскочил. Борода его была срезана косо: одна половина бороды осталась прежней длины, по пояс, а другая была срезана почти до самого подбородка.

А Хведька заливался. Он прыгал вокруг ребе, опускался на корточки, хватал себя за живот, за щеки и гоготал.

— Жиденё! — кричал он. — Гляди на раббинер!

Мы стояли в дверях и руками держались друг за друга. Мы не смеялись.

Хведька выпрямился и сердито посмотрел на нас.

— Жиденё, убью! — прохрипел он, взмахнув шашкой. — Убью, паршивцы!

Мы кинулись в дверь. Все бандиты, кроме Хведьки, уже ушли из синагоги. По огородам, по задворкам мы бежали домой. А ребе недолго после этого протянул. Испугался он очень, заболел и через две недели умер.

### **Как поляки бежали от бандитов, а бандиты — от поляков\***

В 1919 году в нашем местечке Липковичи стояли поляки. Важные такие пань, усатые. Было их три полка.

Стоят поляки неделю, другую. А кругом тихо. Красная армия у Березины. Обленились поляки, обжились, жрут, пьют и усы подкручивают. «Попробуй кто, подступись».

И вдруг побежали. Это было летом. Вечером. Мы сидели за столом у открытого окна и ужинали.

— Парит как, — сказал дядя, — надо окно закрыть.

Он встал и пошел к окну. И вдруг близко раздался выстрел. И второй выстрел и третий.

— Отойди от окна, Михл! — крикнула тетя.

— Неужели это красные? — сказал дядя. — Откуда бы им взяться вдруг?

Дядя прислушался.

— Нет, — сказал он, помолчав, — это не красные, это банды.

---

\* Рассказ Зелика Гликмана.

В Белоруссии в то время было много мелких банд. Не красные, не белые и не зеленые, а просто бандиты. Какой-нибудь отставной унтер соберет вокруг себя человек 30 бандитов и пойдет гулять по полям. Где плохо лежит — там стянет. А наскочит на крепкий кулак, подберет штаны и драла.

— Это не красные, — сказал дядя. — Это банда, я их за версту узнаю. Покажут же им поляки.

— Бойцы, елки-палки, — сказал старший сын дяди Герш, охромевший на войне, — накладывают им поляки в хвост и в гриву.

— Нашли куда соваться, — сказал дядя, — дурьё.

Я открыл дверь и вышел на улицу. Целая толпа бежала по улице, все с узлами, с мешками, с чемоданами. Это были польские солдаты. Пять-шесть человек в офицерской форме с револьверами в руках гнались за ними и, ругаясь, тыча дулом в спину, старались их повернуть и построить в ряды. Но солдаты ловко увертывались и бежали в обратную сторону. Многие кричали: «Бóльшевики! Бóльшевики!» Винтовки были у всех, но никто не стрелял. Проскакали военные тележки. Шесть лошадей волокли большую пушку.

— Поляки отступают! — крикнул я.

— Не мели, — сказал дядя. — Будут поляки бегать от бандитов!

— Бегут, — сказал я.

— Ерунда! — сказал дядя.

Мы закрыли ставни, заперли дверь и всю ночь просидели на полу.

И всю ночь в местечке стреляли. Утром дядя спросил Герша:

— Как думаешь, кто в городе: поляки или бандиты?

Герш вместо ответа открыл половинку окна и выглянул на улицу. Он долго нюхал воздух, поглядел влево, вправо, удивленно свистнул и, повернувшись к нам, сказал:

— Бандиты, елки-палки.

— Что ж делать? — заплакала тетя.

— Чего там, — сказал дядя, — одна хвороба, что поляки, что бандиты.

Где-то закричали. Бандиты были близко. Дядя захлопнул окно и приказал нам снова сесть на пол и молчать, что бы ни случилось. Крики приближались. Но тут — на наше счастье — ударил набат. Бандиты высыпали из домов и побежали на площадь.

Я видел их, этих бандитов. Я подкрался к базару и, сидя за забором, увидел их всех в сборе. Парад у них тогда был, что

ли? Ну и бойцы! Было их человек пятьдесят, самое большое шестьдесят. Вооружены кто чем: винтовками, обрезам, охотничьими двустволками, пиками. Одеты чудно; один в синих гусарских штанах, другой — поверх длинной полотняной рубахи надел новенький френч, у третьего — под английской шинелью голая волосатая грудь. Все бандиты были на конях. Командовал этим сбродом худой, длинный человек, одетый в красную черкеску с капитанскими погонами. Он был выше всех на целую голову. Атаман что-то говорил. А бандиты шумели и ругались.

Ночью опять начали стрелять. Поляки, увидав, что заняли местечко не красные, а бандиты, повели на Липковичи наступление. Наступали поляки по всем правилам: стреляли из пушек, перебегали цепью, пускали сигнальные ракеты. И все это было ни к чему: бандиты, увидав, что дело тут нешуточное, сами укатили. Остался только один бандит, раненый в ногу. Он лежал на базаре у церковной ограды и плевался.

Всю ночь поляки обстреливали Липковичи. Утром, увидав, что в местечке уже давно нет ни одного вооруженного бандита, поляки решились вступить в Липковичи. Вступали они стройными рядами, со знаменами, с барабанным боем. Впереди — паны-офицеры, усы крутят, бренчат саблями и важно поглядывают по сторонам: «попробуй кто, подступись».

### **Как бандиты убили австрийца\***

Ехал я в 1918 из Киева в Москву. Ехал в теплушке. Народу в теплушке набито! Лежат в три этажа, один поверх другого. И ехал со мной один солдат, веселый такой парень. Всю дорогу, трое суток, он простоял на ногах. Сесть ему негде было, но он не унывал, шутил и зубоскалил. А в теплушке — темно, душно. На каждой станции — бой с мешочниками. Вши заедают. Езда что надо. Вспомнить страшно.

На третий день, рано утром, приехали мы на маленькую станцию Гусино. На станции деревянный вокзальчик, за вокзальчиком — редкая лесная просека — вот и все. Удивительное дело: вокзал был пуст, ни одного «мешочника». Встретил поезд сам начальник станции, худощавый человек в форменной шапке, и сообщил нам, что поезд дальше не пойдет. В

---

\* Рассказ Еремея Борисовича Дордима.

вагонах заволновались. На перрон выскочили солдаты с винтовками, бабы, мужики. Все кричали, грозили бить, побить, утробить. Но начальник заявил, что поезд дальше не пустит, так как по линии бродит бандитская шайка и, вероятно, путь уже перерезан. «Но, — добавил начальник, — с минуты на минуту ожидаем воинский эшелон. Как пройдет эшелон, так и вас отправлю». Пока же нас перевели на запасной путь.

В вагонах пошумели и успокоились. Коли бандиты, то что тут поделаешь. Вылезли мы из вагонов, расселись на перроне, на опушке леса, развязали кульки, поели, а потом растянулись на траве, захрапели.

Я от нечего делать слонялся по станции. Тут мне встретился веселый солдат. Он насвистывал что-то и улыбался.

— Здравствуйте, — сказал он, — дорогой товарищ.

— Здравствуйте, — сказал я.

Мы пошли вместе.

Веселого солдата звали Алексеем Никандровым. Раньше он крестьянствовал, но вот уже четыре года как он оторвался от хозяйства и воюет. Осенью, в Октябрьскую революцию, он было ткнулся домой. Пришел домой, а хозяйство все развалилось, батка помер, женка пропала. Одна старуха мать осталась, и та по домам ходит, милостыню собирает. Пожил Алексей дома недельку, а тут немцы стали подступать. Плюнул он на дом, на хозяйство и пошел в Красную гвардию. Повоевал немного и получил пулю в левый бок. Теперь он выписался из больницы и едет искать свой отряд. Говорили ему люди, что отряд этот стоит где-то тут, в этих местах.

Рассказывая, Алексей заглядывал в открытые двери теплушек.

— Иной раз, — пояснил он мне, — найдешь так нужную вещь: сапоги, шинельку.

На этот раз Алексею не везло. Вагоны были пусты.

Вдруг у одной теплушки Алексей остановился.

— Тут кто-то есть, — сказал он.

Я подошел к вагону и просунул в открытую дверь голову. Со света я плохо видел, что делается в полутемном вагоне, но в углу, несомненно, стоял человек.

— Кто тут? — негромко спросил Алексей.

Человек не отвечал.

— Кто такой? — продолжал Алексей.

Человек молчал.

— Что он — хворый, что ли, или немой? — сказал Алексей и полез в вагон. Я вскарабкался тоже.

Человек, который стоял в углу вагона, был одет в австрийскую военную форму. С виду он казался стариком, так как оброс густой седой бородой, а лицо у него было черное, в морщинах. Он прислонился плечом к стене и сосал потухшую трубку. На нас он даже не посмотрел.

— Ты кто будешь, братишка? — спросил Алексей. Подождав и не дождавшись ответа, он сказал на ломаном немецком языке:

— Дайч?

Человек в австрийской форме поднял на нас пустые серые глаза и мотнул головой.

— Не немец, — как бы перевел мне Алексей. — Австрияк ты, выходит? Пленный? — повернулся он к человеку.

Но человек уже не глядел на нас. Он снова застыл с потухшей трубкой в стиснутых зубах.

— Чудак, — сказал Алексей и произнес второе известное ему немецкое слово: — Муттер.

Австриец смотрел перед собой пустыми тусклыми глазами и не отвечал.

— Пойдем, — сказал мне Алексей и спрыгнул наземь.

— Живодеры! Сукины сыны! — ругался Алексей. — Видал, что они с человеком сделали? А? Взяли человека от хозяйства, от дому, дали в руки винтовку: иди, пали! Он, дурак, и пошел. Да что — дурак, а мы, умники, не пошли разве? Попал человек в чужие края, загнали в самую Сибирь к чертовой матери, посадили в барак, поставили часового с ружьем. «Сиди, мол, подлец, и не моги отлучаться, потому — пленный». Сидит человек и все ждет, когда это кончится и его к «муттер» отправят. Год проходит, два, три, а это не кончается. Только у двери часовой меняется. Взял человек, да и попер пешком до дому. А идти-то вон сколько, одно слово — Рассея, елки-палки. Он, может, тысячи верст прошел, а в кармане — блоха на аркане, по-русски — ни ухом ни рылом, жрать нечего. Ну, известное дело: шел, шел, да и свихнулся. Довели человека, живодеры. Сукины сыны!

Часа через два я снова заглянул в вагон. Австриец стоял в том же положении и сосал потухшую трубку.

Наступили сумерки. Туман подымался над лесом, на вокзале зажгли фонарь, как вдруг в просеке раздались выстрелы. Бандиты. Солдаты-красногвардейцы, которых в нашем

эшелоне было немало, залегли цепью вдоль вагонов и открыли стрельбу. Однако бандиты подступали все ближе. Уже в просеке видны были люди. Они перебежали от дерева к дереву, останавливались на минуту и бежали дальше. Их было много, этих людей. Некоторые были на конях. Пули летали над головой, шлепались в стены вагонов. Одна пуля попала в нашу теплушку и ранила толстую женщину в ковровом платке.

Дело принимало плохой для нас оборот.

Наши солдаты-красногвардейцы стреляли, не видя куда, в темную просеку, а у бандитов была четкая мишень — вагоны. И потом бандитов было больше, да и вооружены они были лучше. Должно быть, бандиты пошли обходом, так как пули летели уже со всех сторон. Красногвардейцы же залегли под вагонами и стреляли довольно редко — пуль не хватало.

В это время за поворотом показались огни, и загудел паровоз. К станции подходил поезд, а с крыши переднего вагона стрелял пулемет. «Воинский эшелон!» — пронеслось по теплушкам. И бандиты, верно, знали о воинском эшелоне, они мигом пропали. Поезд, не доходя до вокзала, остановился, и на перрон с площадки первого вагона соскочили... девять человек. Это была поездная охрана. Поезд был товарный и вез зерно.

Ночь прошла тревожно, никто не спал. Ждали, что бандиты вернуться. Однако они не вернулись. Они, должно быть, думали, что прибывший поезд — воинский.

Воинский эшелон прибыл только утром, в десятом часу. Он подкатил к станции с треском, с шумом. Из вагонов — пассажирских, четвертого класса — слышны были песни, крики, хохот, играла гармошка.

Поезд недолго постоял на станции. Скоро укатил. За ним следом двинулся товарный. Мы поехали последние во втором часу дня.

Перед тем как уехать, мы с Алексеем проходили по путям.

— Как же наш австрияк? — сказал Алексей. — Испугался, небось, перепалки.

Алексей отыскал вагон и просунул в открытую дверь голову.

— Так и есть, — рассмеялся Алексей, — удрал.

Я тоже заглянул в вагон, австрийца не было.

Но только мы сделали шаг, как Алексей вдруг остановился, круто повернул и, не говоря ни слова, полез в вагон. Я за ним.

И вот что мы увидели.

На полу, в самом темном углу теплушки, раскинув руки, лежал австриец. Он был убит. Рядом валялась потухшая трубка.

— Убили-таки, мародеры! — тихо проговорил Алексей.

По пути проходил смазчик. Я спрыгнул на песок и показал ему на труп австрийца.

— Кто убил? — спросил я.

Смазчик, не подымая глаз, стучал длинным молотком по колесам.

— Кто убил? — проворчал он. — Известно, кто убил — бандит убил.

В теплушку Алексей вернулся хмурый и злой. Он грубо толкнул сапогом какого-то человека в пальто с котиковым воротником и, когда тот поднялся, сел на его место у печки, обхватил руками винтовку и долго сидел так, молчаливый и злой. Когда толстая баба в ковровом платке закачалась и заголосила, Алексей так сердито буркнул: «Заткнись, говорю!» — что баба съежилась и замолкла.

И только уже слезая и прощаясь со мной, Алексей вдруг улыбнулся, тряхнул мою руку и сказал:

— Вот тебе и «муттер», елки-палки! Да ничего, браток. Ладно будет.

### Как я завел бандитов\*

Играл я на улице с товарищем, Симхе его звали. И вдруг — стрельба.

— На базаре бандиты! — закричал на улице человек.

— Дети, в дом! — высунувшись из окна, крикнула мать.

— Бежим на базар! — сказал Симхе. — Поглядим, а?!

На базаре была суматоха. Бандиты наскочили неожиданно, в самый разгар базара, и теперь всякий, кто мог, бегом бежал. Вдруг наезжает на меня толстый бандит.

— Стой, — кричит, — малец! — Где тут Берке Гезин живет, знаешь?

— Знаю, — говорю.

— Веди! — приказал бандит.

Я хотел было смыться, но бандит поднял хлыст и заскрипел черными зубами.

---

\* Рассказ Меера Рома.

— Пришибу, щенок, — прохрипел он, — веди!

Где живет Берке Гезин, я знал хорошо. Гезин жил рядом с нами. Но я, хоть лет мне тогда было немного, сразу понял, зачем им Гезина надо: расстрелять. Берке Гезин был начальником красной охраны.

Повел я бандитов. Что мне было делать? Я впереди иду, а за мной три бандита на конях едут. Шагом едут.

— Скоро? — спрашивает бандит с черными зубами.

— Скоро, — отвечаю. — Третий дом.

И дальше иду. Куда — и сам не знаю. «Куда, — думаю, — их повести?»

На слободе стояла старая, деревянная церковь, а недалеко от церкви в новом доме жил псаломщик. Проходя мимо дома, я увидел, что двери закрыты и ворота заперты. Псаломщик, стало быть, уехал куда-то. Я ткнул пальцем в этот дом и сказал: «Тут».

Бандиты бегом на крыльцо. А я подтянул штаны и драла.

Чем кончилось дело у псаломщика, не знаю. Но пока бандиты смекнули, что их тут обкрутили, пока они искали, где он живет, Берке Гезин, пока доехали до него, я успел шепнуть Берке два слова, и он смылся.



## Глава пятая

### МАХНОВЦЫ И ДЕНИКИНЦЫ

#### Махно в очках и с бородой\*

Вечером мать сказала:

— Хорошо будет, если эта ночь пройдет спокойно.

Я спросил:

— А что будет, мама?

— Ничего, спи, — сказала мать.

«Нет, — подумал я, — я спать не буду. Верно, опять будут стрелять».

А я любил, когда стреляют. Решил я не спать, и, конечно же, заснул. Спал я у стены, а напротив у окна спала мать с братом. Брату было тогда пять месяцев. Отца дома не было. Отец служил в Красной армии.

Уснул я и, помню, увидел страшный такой сон. Будто в комнату входит отец в серой шинели, в солдатской шапке, с винтовкой, а лицо у отца черное как у негра. Вошел, стал у двери и молчит. «Папа!» крикнул я. А он молчит. «Папа! — кричу, — это ты?..» А он как ббабахнет винтовкой в дверь, так что в ушах зазвенело. «Папа!.. — кричу, — что ты делаешь?» А он как зарычит, как закричит: «Отдай, — кричит, — кольцо, жидовка!»

Я проснулся. Проснулся и вижу: посредине комнаты стоит мать, а вокруг несколько человек бандитов с саблями, с револьверами. Один шашкой рубит шкаф, другой — комод взламывает, а третий, курносый, кривоногий, схватил мать за палец левой руки, тянет палец и кричит:

— Отдай, — кричит, — кольцо, жидовка!

— Погодите, — плачет мать, — я сама кольцо сниму.

Но бандит не отпускает, тянет палец и кричит:

— Отдай кольцо! Убью!

Тут в комнату вошел невысокий волосатый человек с бородой, в очках. Он оттолкнул бандита и сказал:

— Оставь, Грыцько. Она сама отдаст!

---

\* Рассказ Якова Козарновского.

Другие бандиты, увидав волосатого человека, опустили шапки и стояли молча, выжидая. А волосатый человек прошелся по комнате. Дошел до меня, остановился и сказал:

— Это большевик растет.

Потом коротко скомандовал бандитам: «Айда, хлопцы!» и вышел.

Когда бандиты ушли, мать сказала:

— Знаешь, кто это был?

— Длинноволосый-то? — спросил я.

— Да, — сказала мать, — это был батько Махно. Самый яростный бандит.

### Махно продает дрова\*

Мы жили в Павлограде. Пошла раз мать на базар и купила воз дров. Дрова привез старый мужичонка, грязный как трубочист. На базаре старик долго торговался, боялся, что его хотят обмишурить, божился, что за эту цену продать самому дороже, что коли он так дешево продаст, жена его дома обругает да еще кочергой изобьет да выгонит. Но потом уступил, привез дрова к нам на двор, сложил их в сенцах, получил деньги, керенками, три раза пересчитал керенки, завернул их в тряпку, сунул за пояс, сел на телегу и уехал. Мужик как мужик. И только глаза у мужика были очень быстрые какие-то, вороватые.

После того, как мужик уехал, мать пошла топить печь. Взяла она полено, расколола его пополам, и вдруг из полена записка вываливается. Развернули мы записку, а там написано: «Эти дрова продал батько Махно». Через два дня Махно со своей бандой заняли Павлоград. Грабили. Убивали. Помню: стою я у окна и вижу — едут мимо окна два бандита. А навстречу бандитам идет человек, немолодой уже, в бараньей шапке. Вдруг один бандит выхватил шашку, крикнул: «А не притупилась ли еще моя сабля?» И как рубанет человека по плечу. Человек и повалился. А бандит говорит товарищу: «Нет, не притупилась еще». И поехали.

---

\* Рассказ Фриды Левидовой.

## Как Махно занял местечко<sup>1</sup>

Махно часто переодевался. Любил он это дело. То мужиком переоденется, то красноармейцем, то старым евреем в лапсердаке и с бородой, а случалось — и бабой. Рассказывал мне как-то один паренек из Киевщины, — мы с ним в Житомире в детдоме жили, — как Махно занял их местечко.

Вот раз в базарный день наехало в местечко много народу. Толкаются, галдят, ходят из лавки в лавку. А у церкви с самого утра стоят возы тридцать с сеном. На каждом возу поверх сена лежит молодой парень, курит козью ножку и дремлет, поджидая покупателя. А придет покупатель, парень лениво сползет вниз и заломит такую цену, что покупатель ахнет и бежать. А парню, видать, только этого и надо. Он опять заберется на телегу и лежит себе брюхом вверх, прееет на солнце.

Вдруг — уже базар подходил к концу, уже разъехались мужики по домам — вдруг с одного воза подымается баба в голубом сарафане, сует в рот два пальца да как свистнет. А парни на возах, как услышали свист, скок с телег, вытащили из сена винтовки, обрезы, и пошла пальба. Баба скинула голубой сарафан, а под сарафаном у нее кожаная тужурка, и уже это не баба совсем, а сам батько Махно. Через полчаса все местечко было у него в руках. Захватил совет, ограбил почту. Всю ночь гулял Махно в местечке, а утром поднялся и со всей бандой ушел куда-то в степь.

## Как Махно бежал<sup>2</sup>

А у нас вот Махно не повезло. Засыпался. Он раз тоже так: приехал со своими бандитами на базар. Только привезли они на этот раз не сено, а дрова. Сидят они на возах, курят, торгуются с покупателями и ждут. Но в местечке тогда стоял небольшой красноармейский отряд. Командир отряда, проходя по базару, увидал возы, парней, присмотрелся к ним и подумал: «Эге! уж не порох ли под дровами?» Собрал своих ребят, передел их в крестьянскую одежду, пробрался с ними на церковный двор, запрятал в высокой траве пулемет и ждет,

---

<sup>1</sup> Рассказ Михаила Лойтера.

<sup>2</sup> Рассказ Лени Кремера.

что будет. Махно хитрый был, а тут — прохлопал. Все шло по порядку: вот кончается базар, вот разъезжаются мужики по домам, и вот с одного воза подымается невысокий рыжий мужик, — переодетый Махно, — сует в рот два пальца и как свистнет. И только он свистнул, как вдруг с церковного двора пулемет — так-так-так, как швейная машина. Бандиты залезли под возы. А из-за ограды красноармейцы из винтовок палят. Бросили бандиты и повозки и коней и драла в степь. Только их и видели. Трех захватили в плен. Красноармейцев мало было, человек всего пятнадцать, а то — будь их побольше — всю бы шайку захватили и самого батько — Махно.

### Как деникинцы убили мою мать \*

Жили мы на окраине города, у реки. На реке стояла мельница. На мельнице жил мельник. Хороший такой старик. Звали его Осипом Игнатьичем. Когда к городу подступили беляки, я был на мельнице у плотины. Услыхал я стрельбу — и бежать. Вдруг кто-то цап меня за плечо. Посмотрел я — Осип Игнатьич. «Катись, — говорит, — домой колбаской и тащи сюда мать. Ее там зарежут, а у меня спокойно. У меня никто не тронет».

Взял я мать, брата, сестру и пошел с ними на мельницу. Осип Игнатьич посадил нас чай пить. «Попейте, покушайте, — говорит, — а там уж запрячу вас куда-нибудь».

Осип Игнатьич уложил мать внизу в машинной, а нас наверху в чуланчике. В чуланчике стояли мешки с мукой. Так что к утру мы все стали белыми от муки.

Утром на мельницу пришли деникинцы. Двое. Один — высокий, чубатый, другой веснучатый и кривоногий.

— Красные е? — спросил чубатый мельника.

— Нема, — ответил мельник.

— Побожись!

Мельник перекрестился.

— А жиды е? — продолжал чубатый.

— Нема.

— Побожись!

Мельник сказал:

— Верно слово, братцы, нема.

---

\* Рассказ Ошера Горовица.

— А ты побожись, — настаивал чубатый.

— Да что ты привязался, — божись да божись! — крикнул мельник. — Говорят тебе — нема.

— Крутишь ты, хрен, — сказал чубатый, — пушку заливаешь.

Он отпихнул мельника и прошел в машинную. А в машинной была мать. Мать увидела деникинца, испугалась и заплакала.

— Вот тебе и нема! — сказал чубатый мельнику. — Ну, жидовка, — важно проговорил он, — золото е?

Мать достала из кармана золотую браслетку и отдала ее деникинцу. Деникинец, не глядя, опустил браслетку в карман.

— Еще.

— Нет у меня больше золота, — сказала мать. — Я вдова бедная, больше у меня золота нет.

— Еще! — спокойно сказал деникинец. И вдруг размахнулся и крикнул: — Морду расквашу!

Но уже чубатого с одной стороны подхватил мельник, с другой веснущатый деникинец.

— Брось, Петро! — сказал веснущатый товарищу. — Ты ж ее до смерти напужал! Дурьё!

Чубатый дернул плечом, плюнул, повернулся и вышел.

— Идем, мать, до дому, — сказал веснущатый деникинец, когда чубатый вышел, — я тебя провожу, не бойсь.

Веснущатый деникинец поселился у нас. Это был славный парень родом из Черниговщины. Звали его Опанас. К деникинцам он попал по мобилизации.

— Как выйдет случай, перебегу к большевикам, — говорил он нам, — сволочи они все, деникинцы. Чистые бандиты.

Жилось нам с ним спокойно. Вокруг грабили, а нас не трогали. Опанас не давал нас трогать. Он сам ходил покупать нам хлеба, а ночью спать ложился, на всякий случай, у двери.

Однажды днем к нам зашел деникинский офицер. Опанас вытянулся в струнку. Офицер сказал:

— Красные есть?

— Никак нет, ваше-родие, — ответил за мать Опанас.

Офицер повернулся к Опанасу.

— Ты тут как, на постое?

— Так точно, ваше-родие, на постое.

— Красных нет? — повторил офицер.

— Никак нет, — ответил Опанас.

— Ну, ладно, ты уж того... смотри...

Офицер сел и попросил пить. Мать принесла ему кружку молока. Офицер выпил и сказал:

— Я сам, — сказал он, — за советы. Но я против большевиков. Они разоряют нас. Верно я говорю?

— Так точно, ваше-родие, — крикнул Опанас. А когда офицер вышел, Опанас подмигнул нам и сказал: — Их-то, бар-то, большевики разоряют. Это верно.

Грабили деникинцы. Купцы обрадовались белым, открыли магазины и сели торговать. Но в первый же день пьяные деникинцы разгромили все лавки и очистили их до нитки. Повсюду, на заборах, на стенах висел приказ Деникина: «За грабеж буду расстреливать». Но грабежи продолжались, а расстреливали только большевиков и пленных красноармейцев. За грабеж не трогали.

А красные собрались с силами и вдруг ночью подступили к городу. Деникинцы испугались и кинулись отступить.

Мы уже спали, когда к нам в дом постучались. Вбежал белый офицер.

— Ты что, ч-черт? — набросился он на Опанаса. — К стенке хочешь? Ступай немедленно!

Опанас оделся и взял винтовку. Выходя, обернулся в дверях и сказал:

— Прощай, Лейка.

— Прощай, Опанас! — закричали мы.

Вдруг кто-то рванул дверь, и в комнату ворвался деникинец. Я его сразу узнал. Это был тот самый чубатый, с мельницы. Через одно плечо у него был перекинута кастрюля, через другое — сапоги.

— Деньги давай! — закричал он.

— Нет у нас денег, — заплакала мать, — бедные мы.

— Давай деньги! — кричал деникинец.

Он поднял винтовку, прицелился.

Мать подбежала к стене, сняла круглые часы и дала их деникинцу. Деникинец бросил часы на пол.

— Говорю тебе — деньги давай!

В окно постучались. Кто-то крикнул: «Скорей!» Тогда деникинец, не целясь, выстрелил. Пуля попала маме в грудь. Мать упала.

Я побежал на улицу.

— Караул, спасите! — кричал я.

Но никто меня не заметил. На улице стреляли, расстреливали, убивали.

Наконец ко мне подбежал Нахман, наш сосед.  
— Чего ты плачешь? Что случилось? — спросил он.  
— Маму убили! — крикнул я и потащил его в дом.  
Когда мы вошли в дом, мать была уже мертвая.

### Красный разведчик Михаил Карачев\*

Пошла мать на базар. Ушла она одна, а вернулась не одна: корзину ей нес какой-то красноармеец.

— Ну, товарищ, — сказала мать, входя в дом, — спасибо, что донесли.

— Да что там, — Красноармеец махнул рукой и рассмеялся.  
— Меня же не ubyло.

— Садитесь, — сказала мать, — хотите чаю?

— Угостите, выпьем с удовольствием, — сказал красноармеец, — а не угостите, и так уйдем.

Мы сели пить чай.

— Как тебя звать? — спросил меня красноармеец.

— Борух, — сказал я.

— Борух, — повторил красноармеец, — а по-русски как? — спросил он.

— По-русски — Борис, — сказала мать.

— Ну, Боря, — сказал красноармеец, — скажи-ка по совести, сколько тебе годков?

— Пять, — сказал я, — шестой идет.

— Ого! Большой, значит, — удивился красноармеец. — А ну-ка, покажи, усы-то у тебя растут?

— Нет, не растут усы, — сказал я.

— Эх, жалко, — вздохнул красноармеец, — расти у тебя усы, взял бы тебя в Красную армию. За командира бы взял. А фартовый бы из тебя вышел командир. Верно я говорю?

— Верно, — сказал я.

— А вас как звать? — спросила мать.

— Нас звать Мишей, Михаилом, значит, — ответил красноармеец, — по отчеству Иванычем, а по фамилии Карачев.

— Вы не здешний? — спросила мать.

— Орловские мы, — сказал красноармеец, — Елецкого уезда. Слыхали, может?

— Слыхала, — сказала мать.

---

\* Рассказ Бориса Нотгафта.

— То-то, — рассмеялся красноармеец. — Елец — всем вора́м отец. Верно я говорю?

Подружились мы с Мишей. Стал он к нам ходить часто. Придет, посидит, чаю выпьет, иногда принесет с собой хлеба, иногда поможет матери по хозяйству. А то и так: уйдем на день гулять в город, а вечером домой к нам чаю выпить, поговорить. Привыкли мы к нему, как к родному. Да и ему наш дом пригляделся. Как у него свободный час, так к нам.

Так прошло месяца два или три. Раз утром в базарный день началась пальба. Красные, отстреливаясь, уходили за реку, а за ними в город врывались деникинцы. Улицы опустели.

Ворвались деникинцы в город в два часа дня, а к четырем они дошли уже и до нашего переулкa. Мы сидели в кухне на полу, когда услышали стук в дверь и крик: «Открой дверь, стрелять будем!»

Дверь выломали. В комнату вошли пять деникинских офицеров. Денщики несли за ними большие узлы, битую птицу и посудыны со спиртом.

— Кто тут есть? — тонким голосом крикнул молоденький офицер.

Он быстро обежал комнаты, заглянул в кухню и увидел нас.

— Будешь запира́ться, дрянь ты? Будешь? — закричал офицерик и несколько раз ударил мать хлыстом по спине.

Мать перестала плакать, она обеими руками обхватила нас, прижала к себе и посмотрела на офицера. Офицерик остановился.

— Запомни же, дрянь! — проворчал он, повернулся и вышел, хлопнув дверью.

В столовой вокруг стола расселись уже офицеры. Шашки они отстегнули и кинули их на шкаф. Но револьверы они положили рядом с собой на стол. Посредине сидел толстый полковник. Он говорил басом и громко смеялся. Вокруг бегали денщики. Они развязывали узлы, накрывали стол и ставили перед офицерами бутылки вина, консервы, белый хлеб. Офицеры, видать, зашли к нам пообедать.

— Это ты пока что снеси-ка в сарай, — сказал денщику полковник, показав на посудыны со спиртом. — Эй, хозяйка! — крикнул он.

Вошла мать.

— Красных у тебя нет? — сказал полковник.

— Нет, — сказала мать.

— То-то, — сказал полковник. — А теперь вот что: возьми-ка вот битую птицу, тут тебе и куры, тут тебе и индейка, делай там, как знаешь, хоть разорвись, но через два часа чтоб был готов обед. Понимэ?

— Поняла, — сказала мать.

А пока до обеда офицеры играли в карты и пили.

Мать зачем-то вышла в сени. Вдруг кто-то схватил ее за руку и сжал. Мать увидела деникинского офицера и испугалась, но офицер ее не выпускал.

— Тихо, — прошептал он, — это я.

Мать узнала его.

— Миша! — крикнула она.

— Тихо, — прошептал Миша. — В доме беляки?

— Беляки.

— А в сарае никого?

— Никого.

— Я туда.

— Миша!

— А?

— Там они спирт поставили.

— Ничего, плевать.

— Найдут, Миша.

— Ничего.

Офицеры сидели за столом, дулись в карты, хлестали вино и все больше пьянели.

— Хорошо бы, господа, горькой по стаканчику, — сказал офицерик и щелкнул себя по горлу.

— Спирт к обеду, — сказал толстый полковник. — Эй, ты! — повернулся он к матери, — скоро обед?

— Скоро, — сказала мать и стала нарочно тянуть: налила в горшки воды больше, чем надо, горшки отодвинула подальше от огня, а огонь притушила.

Настала ночь, а офицеры все играли в карты и пили.

— Господа! — крикнул высокий офицер, косоглазый, в пенсне, — господа, вино кончается.

— Васька! — приказал офицерик, — тащи спирт!

— Постой! — остановил денщика полковник. — Подождем-те же, господа, обеда. Скоро ты там справишься, дура? — крикнул он матери.

— Сейчас, сейчас! — заторопилась мать.

Наконец обед готов. На стол поставили целую гору цыплят, кур и отдельно на большом подносе — индейку.

Полковник обвязался носовым платком, положил себе на тарелку цыпленка, поперчил его, отрезал ножку, запихнул ее в рот и сказал:

— Теперь и по рюмочке можно.

— Я пойду, принесу, — сказала мать.

— Без тебя обойдется, — сказал полковник. — Васька, тащи!

— Круго-о-м арш! — скомандовал офицерик денщику.

Денщик пошел к двери.

— Господин офицер! — крикнула мать.

Тут вдруг дверь открылась, и в комнату ввалился запыхавшийся ординарец.

— Ваше-родь! — крикнул он, — приказано отступить. Красные переходят реку.

Офицеры вскочили.

— А? Что? Где? — испугался полковник и, как сидел, с платочком, засунутым за ворот, побежал на улицу. Офицеры за ним. Слышно было, как на улице полковник кричал:

— А? Что? Где?

Как только офицеры вышли, в комнату вбежал Миша.

— Ура! — крикнул он. — Наша взяла!

Миша скинул офицерскую шинель и к двери.

— Куда вы, Миша? Что вы? Убьют вас! — сказала мать.

Но Миша махнул рукой и убежал.

Явился Миша поздно ночью, усталый, но веселый.

— Всыпали кадетам по первое число, — сказал он. — Попомнят!

— Как вы попали в город? — спросила мать.

— Я пришел на разведку, — сказал Миша, — пошел с товарищем, с Гришкой Петошиным. Оделись мы кадетами. Я вроде ихний штабной офицер, Гришка вроде денщик мой. Пошли. До города дошли, а за мостом наскочили на патруль. «Пароль?» А кто его знает, пароль-то ихний? Я хотел было на постовых прикрикнуть: как, мол, смеете, собаки, у штабного офицера! Да Гришка тут сплоховал — побежал. Те стрелять. Гришку убили, а я к вам. Вот оно как. А за Гришу Петошина я с ними расквитался. Как выбежал от вас, смотрю — пулемет стоит, пулеметчик сидит. Я пулеметчика скрутил, пулемет повернул и по ним, по белякам, как начал шпарить — не одну дырку просверлил. Будьте покойны. А тут наши подоспели. Попомнят Гришку Петошина.

В ту ночь мы хорошо поужинали. А индейку мы dokonчили только на другое утро. Не съесть было за раз.

## Как Монька Карась спас город от белых\*

Наш детский дом — по-тогдашнему «приют» — стоял за городом на горе. Гора была высокая, и дом был высокий — двухэтажный, так что из окон дома во все стороны было далеко видно. В правое окно посмотришь — весь город как на ладони. В левое посмотришь — степь, холмы, дорога. А город занимали то белые, то красные. Переходил город из рук в руки.

Вышло раз такое дело. В городе стояли красные. Стоят неделю, другую, а вокруг — в городе и в степи за городом — никого: ни белых не слышать, ни махновцев. «Ну, — говорят ребята, — кончилась война. Амба». Как вдруг вечером — вечер был ясный, лунный — заметили мы в степи движение, как будто подходят к городу люди. Много людей. И эти люди не бегут, не идут, а крадутся, подползают. Сначала одна цепь, проползет несколько шагов, припадет к земле и лежит. За первой — вторая. За второй — третья, четвертая. Все больше и больше. Глядим — вся степь ожила.

— Эге! — сказал Александр Велипольский. — У нас его звали Александр Македонский. — Эге, ребята, — сказал он, — а, ведь, дело-то скверное. Дело-то вон какое!

— Какое? — сказал Липа Гухман.

— А дело такое, — сказал Македонский, — что к городу подступают белые.

— Почему белые? — спросил Липа.

— Потому что не черные, — сказал Македонский. — А красные и не ждут, не гадают. Вот оно что. А ну, ребята, посмотри, как там в городе.

Шая Лейбман открыл правое окно и высунулся, чтоб посмотреть, что в городе делается. А в городе ничего не делалось. Там было тихо и темно. Только на вокзале горел фонарь, и по перрону шагал часовой.

— В городе — могила, — сказал Шая, — в городе ничего и не знают.

— То-то и оно-то, — сказал Саша Македонский, — попадут они как мышь в мышеловку, и не выкрутятся им будет.

— Надо б им дать знать, — сказал Липа.

— Герой какой! Поди-ка. Ну! Не видишь, что ли, что внизу-то делается? — сказал Бенья Яхнин.

---

\* Рассказ Дони Шаца.

Ребята выглянули в окно и прямо ахнули. Цепи белых уже огибали город. Дело принимало совсем плохой оборот.

— Во, дьяволы! — заругался Саша Македонский. — Дрыхнут как свиньи и не видят, что у них под самым носом.

— Как же быть-то? — сказал Бенья.

Тут прозвенел звонок к ужину.

— Заведующему ни слова, — прошептал Саша: — узнает он, нас загонят в подвал, и все пропало. Поняли?

За ужином ребята сидели, как в воду опущенные. Перешептывались, переглядывались и все прислушивались, не началось ли уже. Но — нет. Пока все было тихо.

Покончив с ужином, ребята снова собрались в спальне.

— Где Саша? — спросил Шая Лейбман.

— Он пошел куда-то с Монькой Карасем, — сказал Бенья.

Надо вам сказать, что у нас ребята делились на две группы: на «старших» и на «младших». «Старшие» — это были ребята лет тринадцати-четырнадцати, «младшие» — все другие. Хозяевами в доме и в саду были «старшие». Младшие их боялись.

Моньке Карасю шел четырнадцатый год, но старшие его не принимали в свою группу, а не принимали за маленький рост. Для своих лет Монька был очень уж маленький и щуплый, вроде нашего Иеньки Малиновского. Но зато Монька был парнишка ловкий, хитрый — и бегать мастак и плавал как рыба. Оттого-то его и прозвали «Монька Карась».

Прошло минут пять. Ребята не отходили от окна. Белые все ближе и ближе подбирались к городу.

— Надо б дать им знать, — повторил Липа Гухман.

— Не дури, Канашка, — сердито проворчал Бенья. Канашка — было прозвище Липы.

— Отстань, — сказал Липа, — трус.

— Кто трус? — крикнул Бенья.

— Тихо! — прошептал Шая Лейбман, — заведующий услышит.

Тут появился Саша Македонский, веселый идет.

— Сделано, ребята, — говорит: — послал человека.

— Кого?

— Моньку Карася, — сказал Саша: — такого и не заметят. Только трудно ж его было уломать, скотину. Пришлось принять его в «старшие» и яблоко дать и цветной карандаш подарить. Торговался он как барышник. Еле его уломал, дьявола.

— Он уже пошел? — спросил Шая.

— Пополз, — сказал Саша.

— А не убьют его? — спросил Бенья.

Никто не ответил.

— Смотри, ребята, за городом. — сказал Саша, — смотри в оба.

Все полезли к окну. Город, как и раньше, был нем и глух. По вокзалу под фонарем шагал сонный часовой.

Час тянулся как год. Белые все ближе подползали к городу. Вдали показались конные. Было видно, как там устанавливают орудия.

— Плохо дело, — прошептал Саша, — запоздает наш Менька.

— Может, его убили, — сказал Бенья.

— Может, ты дурак, — сказал Липа.

— Гляди! — крикнул Шая.

В городе что-то случилось. Город ожил. Из дверей вокзала выскочило несколько человек, на минуту они остановились, поговорили о чем-то, размахивая руками. Поговорили и разбежались в разные стороны. Один побежал в город, второй — по путям, а третий подскочил к вокзальному колоколу и рванул веревку. Зазвенел колокол. Из домов выбегали красноармейцы, заряжая на ходу винтовки. Откуда-то появился броневой паровоз. За ним тянулся ряд желтых бронированных вагонов. Поезд медленно двигался по путям. Когда он вышел из-под вокзального прикрытия, из первого вагона выстрелила пушка.

— Началось! — сказал Липа.

— Ай да Менька! — кричал Саша. — Молодец!

— Думаешь, он? — спросил Бенья.

— Он, конечно, он! — кричал Саша.

Перебежка белых прекратилась. Стоило кому из белых приподнять слегка голову, как из города начинали палить.

Тут из города выкатились три желтых броневых автомобиля. Они ползли по дороге и стреляли. А из поезда били пушки. Белые дрогнули и подались назад.

— Ай да наши! — кричал Саша. — Бьют как! Бьют как!

— А ведь белым не устоять, — сказал Шая Лейбман.

— Не устоять! — кричал Саша. — Вишь, пятятся. Что, голубчики, туго? — крикнул он, свесившись в окно.

Бенья потянул его за рубаху.

— Очумел ты! — сказал он. — Расстреляют тебя, дурака.

По дому зазвенел колокольчик.

— Дети, вниз! — кричал заведующий, перебегая из комнаты в комнату.

— Чтоб тебе лопнуть, плешивому! — выругался Саша.  
— Красные наступают! — крикнул Липа.  
— Где? Где? — закричали вокруг.  
— Вон видите, бегут. Залегли. Опять бегут! — кричал Липа.  
— Опять залегли! Опять бегут!

Верно, из города в степь навстречу белым поползли густые цепи красных. Перед цепью шли броневые автомобили. Пушки из поезда бухали все чаще. Им отвечали пушки белых. Над полем стоял гул.

— Дети, вниз! — вбегая в комнату, крикнул заведующий. — Немедленно спуститься вниз! — тонким голосом кричал он.

Рано утром, когда бой уже отодвинулся далеко в степь, когда мы вылезли из погребов и после бессонной ночи отогрелись чаем, явился Монька. Мы все кинулись к нему. Но у Моньки был важный и сердитый вид. Однако ясно было, — лопаются парень от гордости и от радости.

— Монька, расскажи! Подробно расскажи! Все расскажи! — тербил его Саша.

— Как же тебя не убили? — кричал Бенья.

— Монька, как ты до города добрался? А тебе-то пришлось стрелять, Монька? Это ты, Монька, звонил в колокол? — кричали со всех сторон.

Монька оттолкнул всех и важно сел к столу.

— Перво-наперво, — сказал он Саше, — гони карандаш. Так. Во-вторых, — повернулся он ко всем, — не галдеть. Я и так устал как собака. В-третьих, — попросил он экономку, — налейте мне, Марья Абрамовна, стакан чаю. Только покрепче да посла... Эх, — перебил он самого себя, — и задали ж мы им перцу! Двести пленных взяли! Во как!

— Да ну! — ахнули мы все.

— То-то — ну! — уже кричал Монька, разойдясь вовсю. — Били мы белых как собак. Как наши в наступление пошли, тут и я не выдержал, побежал тоже, бегу и кричу: «Ура! ура!» Я бы до белых добежал, ей богу, если бы меня кто-то вдруг за штаны не сцапал. Посмотрел я — товарищ Ейно из ЧК. «Ты, — кричит он мне, — малец, хоть и герой, а только если на огонь полезешь — высеку».

Мы загоготали. Монька обиделся.

— Да ну вас, — сказал он. — Ржать будете — рассказывать не стану.

— Да нет же, Монька! — закричали мы. — Это не над тобой, это мы над товарищем Ейно смеемся.

— Насчет Ейно — это я все выдумал, — сказал Монька.

— Как же ты все-таки добрался до города? — спросил Саша.

— Да ну вас! — проворчал Монька. — Вы только и знаете, что зубы скалить, а как до дела...

Как его ни упрашивали, он ничего больше не сказал. И только за обедом Моньку уломали, и он подробно рассказал как было.

— Вышел я за ворота, — рассказал Монька, — вижу: ползут. Много их. Может, тысяча. Ну, думаю, поползу-ка и я. Будто я тоже белый. Пополз. А они-то ползут медленно, а я-то ползу быстро, так что скоро я обогнал передовую цепь и дальше пополз один. Вдруг слышу — солдат из передовой цепи шепчет мне вслед. «Стой, черт! — шепчет. — Стой, стрелять буду!» — «Врешь, — думаю, — стрелять не будешь. Стрелять будешь — шум сделаешь, шум сделаешь — в городе услышат». Подумал я так да поднялся на ноги, да бегом. Прибегаю на вокзал, вбегаю в какую-то комнату — вижу: сидит у стола человек в кожаной тужурке, без шапки, сидит, свесив голову, и спит. А на лавке у стены лежат двое, военные. Этого у стола я узнал. Это был товарищ Ейно из ЧК. «Товарищ Ейно!» — крикнул я.

Товарищ Ейно открыл глаза, посмотрел на меня и говорит:

— Ну, что тебе?

— Товарищ Ейно! — говорю, — белые подступают.

Товарищ Ейно вскочил. Схватил меня за плечо, кричит:

— Где белые? Что белые?

Я рассказал. Товарищ Ейно к военным. «Встать!» кричит. А сам побежал в город. Один из военных кинулся к бронепоезду. Другой — ударил в колокол. Дальше известно, что было.

— Да, — сказал Саша, — спас ты, Монька, город, что говорить.

— Не я один, — сказал Монька, — все мы.

— Мы-то как? — сказал Бенья.

— Да так уж, — сказал Монька, — посоветовали пойти. То да се.

На другой день к нам в приют пришел товарищ Ейно из ЧК. Нам он сказал речь, а Моньке он подарил часы.

— На, — сказал он, — Орлеанская дева, носи во славу республики.

Моньку с тех пор мы так и прозвали «Орлеанская дева».

## Глава шестая

### ПОТЕШНЫЙ БОЙ

Ледин давно заметил, что у Семена, — фамилия его была Острогорский, — неладно с правой рукой, а что — Ледин никак не мог разглядеть: Семен прятал эту руку, не показывал.

Ледин раз не удержался и спросил:

— Что у тебя, Семен, с рукой?

Семен почему-то сконфузился.

— Чепуха, — сказал он, — глупость.

И показал руку. Она была вся исковеркана: нехватало двух пальцев, указательного и безымянного.

— Отморозил? — спросил Ледин.

— Да нет, — сказал Семен, — глупее вышло.

— А что?

— А рано больно в вояки пошел, и вот — довоевался...

И рассказал эту историю о потешном бое, который начался у плотины на лугу, а кончился в больнице, в хирургическом отделении.

— Местечко наше большое, — сказал Семен, — тысяч в восемь населения. Из них большая часть живет в самом местечке, меньшая — на слободах. У нас четыре слободы. В одной живут кузнецы, в другой — гончары, в третьей — огородники, в четвертой — мужики-землеробы. Встречаются они только по воскресеньям на базаре и друг на друга глядят косо, недружелюбно. А ребята — те воевали. Крепче всех воевали кузнецы и гончары. Силы у обеих сторон были равные, примерно по тридцати ребят у каждой. Но воевали они разно. Кузнецы были храбрее, гончары — хитрее. Во главе «кузнецов» стоял Мотька Косой, или Чумовой. Во главе «гончаров» — Берка Длинный, или Крыса.

Я попал к «гончарам». Там у меня были друзья: Ошер, Тана, Мейлах. Берка Длинный долго меня расспрашивал и заставил поклясться. Я повторил за ним клятву слово в слово:

Если изменю гончарам,

Буду трусом,

Не послушаюсь начальника,

Скажу кому военный секрет,

Не приду по приказу, —

Чтоб я тогда стал столбом,  
Камнем,  
Козлом,  
Собакой, которую бьют и на которую плюют.  
Хазак. Вахазак\*.

Попал я в отряд в неудачное время, весной.

Настоящие бои были зимой и летом. Весной и осенью мало дрались. Бывали иногда стычки, но пустяковые — так, забава, после которых враги садились рядом и с тоской вспоминали славные бои, когда сворачивали носы, выбивали зубы. «Чем бы заняться пока?» говорили ребята. «Придумайте что-нибудь, гончары», говорили кузнецы. «А вы-то что — котелки, что ли, дома забыли?» отвечали гончары.

И вот раз кто-то сказал: «А порох?»

В те годы в наших местах была гражданская война. В нашем местечке появлялись то петлюровцы, то деникинцы, то красные, то поляки. Иногда бои бывали совсем близко от местечка, и тот, кто отступал, бросал по пути ранцы, винтовки, консервы, одеяла, ручные гранаты, порох. Ребята все это подбирают. Ранцы, одеяла, консервы отдают родителям, винтовки, ручные гранаты несут в городскую охрану, а порох оставляют себе, чтобы потом на дворах устраивать взрывы.

Теперь мы решили этот порох пустить в дело. Устроить пороховой бой. Берка Длинный написал условия боя:

1. Бой начать в среду, в 12 часов дня.
2. Место боя — у реки.
3. Порох пустить в дело только к концу боя.

Условия подписали в воскресенье, а бой был назначен на среду. Эти два дня мы, «гончары», готовились. Надо нам было, во-первых, достать побольше пороху, во-вторых, сделать так, чтоб он легко взрывался, и, наконец, устроить «пушку».

Порох достали. Но сделать так, чтоб он легко взрывался, было не просто. Сначала мы пробовали так: порох всыпали в пустую бутылку, к бутылке привязывали шнур, и шнур зажигали. Но взрыва не получалось. Шнуры не горели, или порох был сырой, или другая какая причина, но не получалось взрыва — и точка. Берка долго думал и придумал. Он взял бутылку, насыпал на дно сухой песок, утрамбовал его, сверху насыпал порох, затем забил бутылку паклей, смоченной керосином, к бутылке приделал короткий шнур из пакли, тоже

---

\* Хазак, вахазак — креппись (из Библии).

смоченной керосином, и шнур зажег. Бутылка с треском разорвалась на мелкие куски.

— Снаряд готов! — крикнул Берка. — Теперь нам, ребята, нужно сколотить пушку.

Снова Берка ходил по двору, думал-думал и придумал. Он взял доску. Вбил в доску два гвоздя. К гвоздям приделал две резинки. К резинкам привязал палку. Палку оттянул вдоль дощечки до самого конца. На дощечку перед палкой положил бутылку пороха с горящим фитилем. Потом палку отпустил. Резинки потянули палку вверх, палка толкнула бутылку, бутылка полетела через забор, упала и взорвалась.

— И пушка есть! — крикнул Берка. — Теперь нам нужны пушкари.

Берка выбрал самого здорового детину из гончаров, рябого и курносого Зелика, и назначил его «главным пушкарем». Меня и Ошера Берка назначил помощниками Зелика и назвал нас «младшими пушкарями».

Весь же отряд он назвал так: «команда усиленных пушкарей имени товарища Буденного».

— Держись, ребята! — крикнул Берка Длинный. — Покажем же теперь кузнецам. Не обрадуются!

В среду, в десять часов утра, оба отряда собрались у реки. После долгих споров луг поделили так: часть луга, так называемый «выгон», дали нам, гончарам, часть луга у моста — «Заливной» — дали кузнецам. Стали мы каждый на своем месте и ну ругаться.

— Переломаем вам горшки, гончары! — кричали кузнецы.

— Пошли бы лучше кляч ковать! — кричали гончары.

— Чего нам уходить! — кричали кузнецы. — Нам плевать. Не нас бить будут.

— А то нас, что ли? — кричали гончары.

— А то кого же? — кричали «кузнецы». — Бабку Гапку, что ли?

Между тем, начальники, Чумовой и Крыса, договаривались, чем драться. Сошлись на мелких камешках и на небольших палочках. Берке потребовал еще песок. Мотька удивился, пошел к себе в лагерь посоветоваться. Но потом вернулся и сказал, что согласен. О пушках пока не говорили.

Тогда выступили трубачи с бумажными трубами в руках. Они сыграли зорю. Над лугом полетели первые камешки.

Бой начался.

Наша позиция — «выгон» — была во многом выгодней позиции кузнецов. Во-первых, рытвины, во-вторых, постройки. Было их на нашей стороне две: направо — пустой домик с выбитыми окнами и с развороченным полом, налево — ближе к мельнице — широкий навес, под которым лежала груда бревен. Так что у нас были и «окопы» и «форты».

Еще до начала боя Берка Длинный разбил нас на четыре отряда и поставил по местам. Двенадцать бойцов во главе с Мейлахом Хромым залегли в рытвины. Они должны были выдержать первый натиск. Восемь бойцов во главе с Айзиком Казаковым спрятались под навесом за бревнами. Это была засада. Мы втроем — «команда усиленных пушкарей» — залезли на крышу домика, который мы называли «штабом». Пока что, до «пушки», у каждого из нас был мешок с песком. Наконец, семь бойцов во главе с Калманом Коротеньким засели внутри дома. Это был резерв. Сам Берка перебегал от отряда к отряду, указывал, приказывал, проверял запасы камешков и палок, хлопотал, одним словом.

Кузнецы, глядя на нас, посмеивались. Сами они ничего не делали. Мотька ни о каких резервах, засадах и не думал. Сам он знал только открытый бой.

Трубачи сыграли зорю. Над лугом полетели первые камешки. Бой начался.

Мотька Косой крикнул своему отряду: «Ребята! На штурм!» и кинулся вперед. Кузнецы с криком: «На штурм! на штурм!» побежали за ним. Они бежали как стадо, наскакивая друг на друга и сбивая друг друга с ног. Но дрались они здорово. Главное сам Мотька. Он летел впереди своего отряда как бешеный и кричал: «На штурм! на штурм!»

Но Берка Длинный, должно быть, знал, что делал, когда на передовую позицию назначил отряд Мейлаха Хромого. В этом отряде были крепкие, надежные ребята. Они не испугались кузнецов и с места не двинулись, а подпустили кузнецов поближе и тогда по команде — бац камнем в лоб.

Кузнецам на бегу трудно было целиться, а наши ребята, лежа на месте, ловко стреляли. Чем ближе к рытвинам, тем чаще кузнецы останавливались. Наконец они совсем стали. Один Мотька пробежал еще несколько шагов. Но тогда все камни полетели в него. Мотька остановился, постоял минуту и не выдержал — повернул назад. Вместе со своим отрядом он отступил к мосту.

Наши ребята обрадовались.

— Что, кузнецы, попало на орехи? — кричали мы.— Один гончар троих кузнецов побил. Бойцы! Курицы вы, а не бойцы.

Кузнецы не отвечали. Они собрались у моста и о чем-то советовались.

— Погодите, ребята, — сказал нам Берка, — рано еще прыгать. Это только начало.

И правда. Эта атака была только началом боя. Бой был впереди.

Кузнецы что-то затевали. Посоветавшись, они разбились на два отряда. Один остался сторожить мост, другой перешел на правый берег в кусты.

— Кузнецы что-то затевают. Это ясно, — сказал Берка Длинный. — Но вот что они затевают? Не понять! Кто из вас, ребята, узнает?

— Я! — сказал Айзик Казаков.

— Ладно, иди, — сказал Берка, — только смотри.

— Слушаю, товарищ командир! — сказал Айзик.

Чтобы сбить с толку кузнецов, он сначала пошел в местечко. Но на полпути повернул назад и — задворками, огородами — добрался до реки. У реки он пролежал минут десять и, вернувшись, доложил:

— Кузнецы нарезают свежую лозу, товарищ командир.

— А что они делают с этой лозой? — спросил Берка.

— Не мог рассмотреть, — ответил Айзик, — кусты мешают.

— А много их на том берегу? — спросил Берка.

— Ребят двадцать, не меньше, — сказал Айзик.

— Мейлах, — сказал Берка. — Возьми свой отряд и ударь на мост.

— Ребята, за мной! — крикнул Мейлах и, прихрамывая, побежал к мосту.

Кузнецы у моста не ожидали нашего наступления. Они сидели на земле и лутили семечки. Когда кузнецы вдруг увидели Мейлаха, они, вместо того, чтобы отбивать атаку, побежали на мост. Но с того берега уже спешила подмога.

— Ребята, назад! — крикнул Берка Длинный.

Берка уже понял, в чем дело, зачем кузнецам нужна была свежая лоза. Кузнецы держали в руках щиты, сплетенные из лозы.

Берка Длинный долго стоял и думал. Но потом вдруг повеселел и отдал два приказа.

Первый приказ: Мейлаху Хромому разделить свой отряд на два отряда: в девять и в три человека. Первый отряд, в девять

бойцов, остается на месте, второй, в три бойца, забирается на крышу к пушкарям.

Второй приказ: отряду на передовой позиции боя не принимать. Когда кузнецы пойдут в наступление, он, отстреливаясь, должен отступить к штабу.

После этого Берка сказал:

— А ну-ка, Мейлах, — сказал он, — раздразни-ка гусей.

— Эй, кузнецы! — крикнул Мейлах. — Чего засели на плотине, как куры на насесте?

— Заткнись, хромой козел, не то вторую ногу обломаем! — ответили кузнецы.

— Мне ноги ни к чему, — сказал Мейлах, — я ни от кого не бегу.

Кузнецы поняли, в чей огород камень.

— Побежишь, хромой козел, — закричали они, — подожди-ка!

— Больно долго жду-то, — отвечал Мейлах, — да, видать, не дожждаться.

— Домой удерешь? — смеялись кузнецы.

— Вас, дураков, домой погоню! — крикнул Мейлах.

— Погонишь! Держи карман!

— А что — в кармане спрятаться хочешь? — спросил Мейлах.

— Нам прятаться нечего, — крикнули кузнецы, — а вы вот от страху даже в могилки залезли.

— Мы-то сами залезли, да сами и вылезем, — крикнул Мейлах, — а вас вот мы так зароем, что не встать будет!

— Живых в могилки не зарывают! — кричали кузнецы.

— Вы скоро от страху подохнете! — крикнул Мейлах.

Тут уж Мотька Косой не стерпел.

— Ребята, на штурм! — крикнул он.

— На штурм! На штурм! — закричали кузнецы и кинулись на нас.

Кузнецы наступали теперь осторожней. Они растянулись длинной цепью, и каждый держал перед собой щиток из лозы. Мейлах, по приказу, боя не принял. Да ему с девятью бойцами против тридцати все равно не устоять было. Отстреливаясь камешками и палками, он отступал к штабу. Кузнецы напирали со всех сторон, теснили, окружали его.

И вот тогда, когда кузнецы были уже в трех шагах от штаба, Берка отдал приказ: «Песок!» И с крыши штаба на кузнецов посыпалась куча сухого, мелкого песку.

Кузнецы от неожиданности присели. Они было попробовали залезть на крышу штаба, но оттуда все сыпался песок. Песок кусался, попадал за воротник, слепил глаза, заклеивал рот. Кузнецы не знали что делать. А тут Мейлах Хромой повернул свой отряд и стал напирать на них справа, а слева из-за бревен с криком выскочила засада — отряд Айзика Казакова. Кузнецы дрались отчаянно, что говорить, но все же не устояли — побежали.

Остался один Мотька. Прямо взбесился парень. Подбежал к Мейлаху, схватил его за горло и — душить. На Мотьку набросились человек пять, но он всех раскидал и опять к Мейлаху. Тут на него надели человек десять, скрутили ему руки и связали.

Кузнецы, увидав, что командир их остался один, стали пробиваться к нему на выручку. Тогда Берка выпустил резерв — отряд Калмана Короткого. Кузнецов загнали за мост, на правый берег реки.

Победили мы.

Целых три часа продержали мы кузнецов на правом берегу. И в местечко и на слободы они могли попасть только через мост, а на мосту стояли мы. Пробовали было кузнецы пробиться с боем, да не тут-то было — мы их с треском погнали назад. Тогда они прислали парнишку одного для переговоров.

Сначала договорились о Мотьке. Сторговались на двенадцати плетеных щитках. Затем парнишка осторожно повел разговор о том, чтобы пропустить «кузнецов» через мост, и предлагал за это еще десять щитков. Мы не соглашались.

— Куда вам торопиться? — сказал Берка. — Посидите, отдохните. Может, соберетесь с силами и нас прогоните.

— Да брось ты, — ответил парнишка, — пойми: нашим ребятам шамать хочется. Мы ведь с утра не жрали. Не бузину же лопать, в самом деле.

— А хоть бы и бузину, — сказал Берка, — не бойсь: от бузины не околеешь.

Наконец сошлись вот на чем: мы получаем тридцать один щиток, по числу бойцов, двенадцать за Мотьку и девятнадцать за мост. Объявляется перемирие, и мы расходимся по домам. Но через два часа все опять на месте, и бой продолжается.

После обеда бой шел лениво. Все ждали чего-то. Наконец, решили перейти к «пушкам». У нас были четыре бутылки с порохом, у кузнецов — три.

Стали по местам. Наши — у штаба. Кузнецы — у моста. Вперед выступили пушкари. У кузнецов, собственно, пушкарей не было, так как у них и пушки-то не было. У них был один метальщик — сам Мотька. У нас же пушкарей было трое: Зелик, Ошер и я. Зелик метал. Мы с Ошером приготавливали снаряды, зажигали фитили и подавали их Зелику. Бросили жребий: первым метать вышло кузнецам.

Мотька Косой широко расставил ноги, достал бутылку с порохом, зажег фитиль, взял затем бутылку за горлышко, размахнулся и, крикнув: «Гончары, отойди!» — кинул ее к нам. Бутылка не долетела, упала на землю, разбилась, но не взорвалась. Когда минуты через две мы решились подойти к бутылке поближе, мы увидели грудку битого стекла, перемешанного с порохом, и наполовину обгоревший фитиль.

— Эх ты, стрелок! — крикнул Мотьке Зелик. — Посмотри, как мы стреляем. Это да!

— Кузнецы, расступись! — крикнул Ошер, подавая Зелику бутылку.

Зелик придвинул пушку. Он натянул палку, положил перед ней на середину доски бутылку, отпустил — и бутылка полетела. Но полетела она как-то криво, упала, не долетев до кузнецов, и тоже не взорвалась.

Кузнецы заржали.

— Стрелок тоже! — кричали они. — Тебе бы из этого полена по клопам стрелять да мух бить.

Мотька Косой долго целился, долго выбирал удобное положение и наконец, размахнувшись, кинул вторую бутылку. И опять бутылка, не долетев, упала на землю, разбилась на кусочки, но не взорвалась.

— Чем у вас бутылки-то набиты?! — закричали мы. — Уж не горохом ли?

— Это у вас бутылки и котелки набиты трухой! — отвечали кузнецы.

— Сами вы труха! — кричали мы.

— Смотри, Зелик, — сказал Берка Длинный, — не осрамись. Покажи кузнецам.

— Помолчи, — сказал Зелик, — сам знаю.

Он что было силы натянул резинку, отпустил. Бутылка взлетела высоко вверх, перелетела мост и плюхнулась в воду.

— Стрелок! — загоготали кузнецы. — Всех рыб перепугал! Червяку ус оторвал! Рыболов!

— Подождите-ка! — крикнул Зелик, — мне еще два раза метать.

— Хоть двадцать! — кричали кузнецы. — Нам-то что? Нам в реке не жить.

Снова Мотька Косой кинул бутылку. Снова она не долетела и не взорвалась.

— Ты что, кидать разучился? — кричали мы Мотьке. — Кидаешь как баба.

— Да это он, ребята, в лапту играет, — смеялся Мейлах.

— Сами вы в лапту играете, рыболовы! — кричали кузнецы.

— Смотри, Зелик, — сказал Берка.

— Замолчи! — крикнул Зелик. Он был бледный и злой. — Подай бутылку, — сказал он Ошеру.

Ошер зажег шнур и подал Зелику бутылку. Зелик положил ее на доску, натянул резинки и отпустил. Но бутылка не полетела совсем. То ли у Зелика дрожали руки, то ли резинки ослабели, но бутылка не удержалась на доске и упала на траву.

— Ого-го! — гоготали кузнецы.

Зелик еще больше побледнел. Он отбросил пушку, схватил бутылку с горящим шнуром за горлышко и кинулся к кузнецам.

— Зелик, куда? — крикнул Берка.

— Стой, Зелик! — крикнул Мейлах. — Взорвет!

Тут вдруг раздался грохот и гром, что-то ударило меня по руке, и я упал. Ну, а дальше-то я не помню ничего.

Пришел я в себя только на другой день в больнице.

Рядом на койке стонал Ошер. Он стонал, кричал, бредил, плакал. Ему было от чего плакать: раздробило ногу. Я-то все-таки выздоровел, а Ошер на всю жизнь остался калекой, хромым.

Зелика убило на месте. Его хоронили на другой день.

Берку и Мотьку таскали к коменданту. С них взяли слово, что не будет больше боев, не то — тюрьма. Мотька и Берка поклялись, что не будет боев.

И верно, в нашем местечке потешных боев больше не было.

## Глава седьмая

### БЕСПРИЗОРНИКИ

Разговор о беспризорных начался с того, что Иеня Малиновский однажды вместо «чуть» сказал «чуч».

Это было во время перерыва. Вокруг сидело много ребят из младших классов, почти все бывшие беспризорники.

— Не чуч, а чуть, — поправил Иеню Ледин.

Иеня рассмеялся.

— Что поделаешь? — сказал он, — плохо я говорю по-русски. Теперь-то еще ничего, а посмотрели бы вы меня года два назад, когда я только приехал в Ленинград. Я тогда по-русски ни «бе», ни «ме».

— Тебя кто-нибудь сюда привез? — спросил Ледин.

— Нет, — сказал Иеня, — один приехал. В том-то и штука, что один приехал. Сошел я, помню, с поезда, вышел на улицу, стою и глазами хлопаю. Не знаю, что делать. У меня тут есть сестра двоюродная, Ита. Я думал, что Ленинград — местечко вроде Калинковичей. Весь город в две-три улицы, и все друг друга знают. Сойдешь с поезда, спросишь, где тут живет Ита, и тебе враз укажут: вон в том доме, у колодца. А тут — на тебе. Большие дома, улиц много, народу полно, все куда-то спешат, а спросить не у кого. Вижу я, что по улицам ходят поезда без паровозов и все садятся в эти поезда. Я тоже сел. Проехал я немного, подходит ко мне кондуктор и говорит: «Билет». Я достаю из шапки свой железнодорожный билет и подаю. Кондуктор посмотрел билет и что-то сказал, но я не понял что.

— Вас зогт ир?<sup>1</sup> — спросил я.

— Билет, билет, — повторил кондуктор.

— Нат айх дем билет<sup>2</sup> — сказал я и снова сунул ему свой железнодорожный билет.

Но кондуктор рассердился, выбросил мой билет на улицу, остановил вагон и велел мне сойти.

«Ладно, — подумал я, — пойду-ка за поездом пешком». Но трамвай (это был трамвай, теперь-то я знаю) пошел очень быстро. Я отстал. А сзади наскакивает уже другой трамвай, а навстречу уже несется третий. Я обхватил руками столб и по-

---

<sup>1</sup> Что вы говорите?

<sup>2</sup> Вот вам билет.

стоял так немного. Потом, когда трамваи разошлись и стало тихо, я перебежал улицу и пошел по тротуару.

Иду по тротуару, гляжу по сторонам и думаю: как найти Иту, у кого спросить? И вдруг вижу за стеклом, в богатых таких костюмах, стоят трое: две девочки и мальчик. Я постучал по стеклу и крикнул им:

— Эй, ятен<sup>1</sup>.

Но ребята за окном не пошевелились и даже не посмотрели на меня. Я снова постучал — ребята не двинулись с места, не ответили. А из магазина выкатился толстенький человек и накинулся на меня с криком:

— Проходи, проходи, а то в милицию отправлю.

— Ир вейст нит во вонт до Ите?<sup>2</sup> — спросил я человека.

Но толстяк все:

— Проходи, проходи!

— Вос шрайт ир?<sup>3</sup> — сказал я.

Тогда толстяк закричал тонким голосом:

— Милиционер, милиционер!

«Ну, — думаю, — пропал я. Загребут в тюрьму». Свернул в какой-то переулок, подхватил подмышку узелок, шапку и бежать.

За переулком опять улица, за улицей опять переулок, снова улица, снова переулок, снова переулок, снова улица. Запутался я в улицах и переулках и уже не знаю, где вокзал и откуда я вышел и куда иду. Слышу — музыка играет. Так играет, будто это наш калинковический пожарный оркестр. «Пожарная репетиция», подумал я и пошел на музыку. Оказывается, красноармейцы маршируют. Впереди музыканты дуют в трубы и бьют в барабан. Пошел я за ними, дошел до одного высокого дома, вместе с ними поднялся по лестнице и потом прошел в какой-то зал. Когда все расселись по местам, вышел на сцену человек и что-то сказал. Потом во всем зале потух свет и впереди, в конце зала, задвигались по стене какие-то люди. Сначала я, понятное дело, испугался и хотел даже убежать, но потом вижу — все спокойно сидят на местах, не пугаются и даже смеются, ну, и я сидеть остался.

Когда зажегся свет, я вышел в буфет. Мне очень есть хотелось. Но я не знал, как спросить. «Надо найти тут еврея», подумал я. И решил так: пойду по столикам и буду всем гово-

---

<sup>1</sup> Эй, ребята.

<sup>2</sup> Вы не знаете, где тут живет Ита?

<sup>3</sup> Чего вы орете?

рить: «гут морген»<sup>1</sup>. Если кто ответит по-еврейски, я у него попрошу поесть. Пошел и всем говорю: «гут морген». Один удивляется, другой смеется. Наконец один красноармеец ответил по-еврейски: «гут иор»<sup>2</sup>. Я ему тогда говорю, что есть хочу. Он усадил меня за столик, угостил чаем, булкой и спросил, кто я и откуда. Я рассказал.

— Вот что, — сказал красноармеец, — ты меня тут подожди. Когда кончится кино, я тебя возьму с собой и где-нибудь да устрою.

— Ладно, — сказал я, — подожду.

Когда кончилось кино и все стали выходить, ко мне подошел этот красноармеец и говорит:

— Идем.

На улице я его спросил:

— Вы меня ведете к Ите?

— Нет, — сказал красноармеец, — не к Ите, а в ГПУ.

Я испугался.

— Это в тюрьму? — сказал я. — Не пойду я в тюрьму.

Красноармеец захохотал:

— Дурак ты, дурак! — говорит. — Какая ж тюрьма? Там тебя куда-нибудь устроят, в детдом в какой.

Сели мы в трамвай и приехали на тот самый вокзал, где я был утром. Пришли в ГПУ. Тут сидели двое: один высокий, бритый, другой постарше, в очках. И что, вы думаете, со мной сделали в ГПУ? Угостили булкой с колбасой, а потом уложили спать. Утром за мной пришла женщина. Она повела меня в ОНО. Оттуда меня направили в карантин, а уже из карантина перевели сюда».

— Зачем же ты приехал в Ленинград? — спросил Ледин.

— Я же говорю, что к Ите приехал, — сказал Иеня, — в Калининковичах мне не у кого было жить. Раньше там жила тетя, а потом она умерла. Пока тетя жива была, я жил у нее. Я все думал, что она мне мать, и называл ее мамой. Раз летом, — я тогда торговал на рынке ирисками, — прихожу я домой и вижу, что тетя лежит в постели. Она давно уже хворала и редко выходила из дому. Но тут я вижу, что с ней очень плохо, она дрожит и стонет. Я ее накрыл одеялом, подал ей молока.

— Иеня, — сказала тетя, — подойди поближе, я хочу тебе что-то сказать.

Я сел у кровати на сундук.

---

<sup>1</sup> Доброе утро.

<sup>2</sup> Добрый год.

— Иеня, — сказала тетьа, — знай же, Иеня, что я тебе не мать. Я сестра твоей матери. А твою мать и твоего отца убили бандиты. Тебе бандиты отрубили шашкой пол-уха, но ты тогда еще малый был и не помнишь. А твоих родителей они убили.

Когда она мне это сказала, я, конечно, заплакал и снова пошел на рынок продавать ириски. Вечером прихожу домой и вижу: на столе горит лампа, а тетьа лежит уже мертвая. Я испугался и побежал к соседу — банцику Лейбе. Он часто приходил к нам в гости.

— Ладно — сказал Лейбе, — я сейчас приду. Ты иди пока домой.

Но я домой не пошел. «Что я там буду делать, когда мама умерла! — подумал я. — Поеду в Ленинград к Ите». На вокзале жил наш знакомый, циркульник. Он пошел со мной в кассу, купил мне детский билет до Ленинграда, дал на дорогу буханку хлеба и посадил в вагон. На первой остановке я подхожу к кондуктору и спрашиваю:

— Дос ис Ленинград?<sup>1</sup>

Но кондуктор не понял.

— Что Ленинград? — сказал он.

Тут с верхней полки крикнули по-еврейски:

— В Ленинград приедем завтра. Ложись, мальчик, спи.

Но легко сказать — спи, когда в вагоне битком набито. Я спал стоя, измучился.

— Измучился! — презрительно сказал Рома Эрман. — Ночь в вагоне проехал и измучился. Эх ты, кисель с водой! Я вот три недели под вагоном ехал и то ничего. Жив, как видишь.

— Откуда? — спросил Ледин.

— С Кавказа.

— А не задержали тебя по дороге? — поинтересовался Ледин.

— Как не задержали? — удивился Рома. — Раз десять, может, задерживали, а то и больше. Только я выкручивался. Заезает агент, по нужде пойдет или там протокол сядет писать, а меня уж и нет. А придет поезд — я под вагон, в ящик, и поминай как звали. До следующей станции. На станции, конечно, слезешь, пойдешь «стрелять» по вагонам. Сколько там настроляешь и, коли агент не задержит, опять в ящик, под вагон, и до следующей станции трясешься. А как приехали, вижу — стал поезд и дальше не идет. Жду, жду — не идет дальше. На перроне наши шкеты стоят, с которыми вместе ехал.

---

<sup>1</sup> Это Ленинград?

- Хлопцы, — говорю, — какой город?
- Ленинград, — отвечают.
- Чего, — говорю, — поезд долго стоит?
- Он дальше не пойдет, — отвечают. — Дальше путей нету.
- Вы, — говорю, — хлопцы, что делаете?
- Мы, — говорят, — в город идем.
- И я с вами.
- Ладно, — говорят, — валяй.
- Чего ж ты с Кавказа уехал? — спросил Ледин.

— Да ну его! — отмахнулся Рома, — надоел. Вначале, как я приехал на Кавказ, мне там даже понравилось. Кругом, куда ни помотришь, горы, на горах стада, коровы, пастух, что твой палец. Там тебе водопады, тут тебе горцы ходят в черкесках, в бараньих шапках, с кинжалами. Дома или, по-ихнему, сакли, мне тоже понравились: плоские крыши, вроде пола, на крышах сидят люди, едят, пьют, тут же спят, а перед каждым домом вышка такая стоит, вроде крепости. А потом, как пожил я немного, надоело мне все это до черта — и горы, и вышки, и кинжалы. Плюнул я, пошел на станцию, сел на поезд и уехал.

— Да что ты там делал? — спросил Ледин.

— На Кавказе-то? Ничего не делал. Я как приехал туда, на станции не остался, а пошел в горы, в деревню горскую, по-тамошнему — аул. Тут я познакомился с горскими ребятами. Они меня устроили жить на пустой вышке. Я там все время и жил. «Стрелять» не у кого было. Зато ребята мне попались хорошие, приносили шамовку из дому, персики таскали, шашлык. Это бы все ничего. Да скучно уж больно в ауле-то. Днем жара. Ни души не видать. А вечером выйдут горцы на крыши, сидят на корточках, лопочут по-своему, по-кавказски, а то песни поют. Поют ничего, только не понять ни шиша. Поговорить мне не с кем. Горские ребята по-русски не умеют, а я по-горски ни в зуб. Пальцами разговариваем. Пожил я там недели две, а скучно, хоть плачь. Я ребятам и говорю:

— Уйду, — говорю, — ребята, от вас, скучно тут.

А те не понимают. Пальцами показывают и кивают. Хорошо, мол, понимаем.

— Ухожу, — говорю, — поняли?

Кивают. Да, мол, ясно. Но когда уходить стал, тут они и удивились. Оказывается — ни фиги не поняли. Пальцами спрашивают: куда, мол, собираешься?

— Ухожу, — говорю, — совсем от вас ухожу. Ну его, говорю, ваш Казбек, к лешему. Скучно тут.

Попрощался я с ними и пошел на станцию.

— А на Кавказ-то ты откуда залетел? — спросил Ледин.

— С Волги.

— Ты разве жил на Волге? — спросил Мишка Вербов.

— Жил, — сказал Рома. — А что, ты тоже там был?

— Как же, — сказал Мишка, — год целый в Саратове болтался. Голодал, брат ты мой, что твоя собака. Крыс жрал.

— Как крыс? — удивился Ледин.

— Ну так, жарили и ели, — сказал Мишка. — Я тогда с Мее-ром ходил. Приятель у меня был такой. Гопничали вместе. Жили мы в подвале, жрать нечего было. А еще говорят — Волга.

— Вот в Белоруссии хорошо, — сказал Рома, — там садов много.

— Садов-то много, — сказал Мишка, — яблочк налопаешься так, что здорово. Это верно. Зато, скажу я вам, мужики там дерутся тоже здорово. Раз, помню, пришел я в какую-то белорусскую деревню. Зайти в деревню боюсь — мужики прогонят да еще стукнут. Пошел я в самый конец деревни, залез на сеновал и лег спать. Ночью слышу — скрипит дверь и входит кто-то. Я лежу, боюсь пальцем двинуть, потому знаю: учует — убьет. А тот человек взял охапку сена да в охапку и мою штанину загреб. Загреб, черт, и тянет. Пыхтит, а тянет. Сейчас, понимаешь ты, скovyрнусь. Начал я, легонько так, тянуть штанину к себе. Да нет, не тянется, шкура. Вижу, плохо дело. Я тогда, что силы, рванул. Вырвал. Но человек меня учуял. Учуял, испугался, выбежал на двор да бабьим голосом как закричит: «Ратуйте, люди! Воры!» Я за дверь и бежать, а мужик не отстает. Бежит и кричит: «Ратуйте, мужики! Держите вора!» Мужики сбежались, поймали меня, повалили и бить. Ну и били! Думал, живым уж не встану. Да ничего. Отлежался. Меня тогда Меер спас. Утром, чую, кто-то меня трогает, ворошит. Мокрое к лицу прикладывает. Очухался я, открыл глаза, вижу — деревья, а рядом стоит рыжий паренек, без шапки, босой, в рваном армяке, а под армяком, понимаешь ты, ничего — голое тело. Стоит и держит в руках примочку, лоскуток от армяка, смоченный водой.

Рыжий паренек, как увидел, что я открыл глаза, рассмеялся и говорит:

— Очухался?

— Очухался, — говорю.

— А попало?

— Попало, — говорю.

— Скажи спасибо, парень, что жив, — сказал рыжий, — не я — тебе б крышка. Я тут в деревне был. Видал, как за тобой гнались. А я, брат, — смекалистый. Дело, вижу, плохо. Убьют, вижу, шкета. Закричал во все горло: «Пожар, пожар!» Мужики испугались, побежали в деревню. А я тебя приволок сюда, отходил тебя, дурня. А теперь, раз ты в себя пришел, хряем отсюда. Нечего тут волынить. Опять, гляди, мужики прибегут.

Пошли мы.

— Как тебя звать? — спросил меня рыжий.

— Мишка, — говорю, — а тебя?

— Меер.

Мы после того года два вместе ходили. Гопничали. Жили в Киеве, в Полтаве, в Смоленске, в Минске, в Саратове. Жили и хорошо, и плохо. Меер не любил сидеть на одном месте. Только в Саратове мы долго торчали, год целый. А то неделю-другую в каком-нибудь городе проживешь и хряешь дальше. Раз — на Украине дело было — нам мужик сказал жить у него. Мы зашли вечером к нему в хату и попросились ночевать. Мужик говорит:

— Вы откудова?

— Ниоткудова, — говорим, — шляемся.

— Поживите, — говорит мужик, — у меня. Поработайте. Семья у меня небольшая, сам-три: я, жена да сынишка. Мне помощники в хозяйстве нужны, а я уж вас обижать не стану, кормить буду, одевать, обувать.

— Ладно, — говорим, — поживем.

Жили мы у него месяца три, хорошо жили, что говорить. Днем в поле, ночью на ночное. Мужик кормил нас сытно, одевал. Меер вначале тоже доволен был, а потом, вижу, заскучал парень, хмурый ходит.

— Давай, — говорит, — уйдем отсюда. На волю охота. Скучно тут.

— Чем тебе, — говорю, — худо тут?

— Нет, — говорит Меер, — на волю охота. Я уйду, а ты как знаешь.

Я, конечно, тоже пошел. Расстаться не хотелось.

— Меер теперь тут, в детском доме? — спросил Ледин.

— Нету его тут, — сказал Мишка. — Где он теперь, не знаю. Гопничает, верно. Я его потерял в каком-то волжском городе. В каком — не помню. Знаю только, что на Волге. Шли мы по улице и встретили бородатого человека с портфелем, коммуниста. Увидал нас человек, остановился и говорит:

— Куда, — говорит, — идете, ребята?

Меер сразу — стрекача и мне кричит:

— Текай!

Я было хотел тоже убежать, но человек схватил меня за руку и держит.

— Куда, — говорит, — дурак? Идем ко мне, будешь жить у меня. У меня детей нет. Я тебя вместо сына возьму. Учить буду.

Пошел я за ним. Иду, смотрю, не видать ли Меера. Вдруг, вижу — за угловым домом в воротах Меер стоит. Я теку. Гляжу, это не Меер, другой шкет, тоже беспризорный. А Меер пропал. Я искал его по всему городу, на вокзале искал — нету. Верно, засыпался на чем.

— Воровал? — спросил Ледин.

— Бывало, — сказал Мишка и засмеялся. — Раз в деревне, — не помню где, в Белоруссии, что ли, — Меер спер поросенка. Вот смехота-то была. В деревню мы пришли ночью. Шамать хотелось до черта, а есть нечего.

— Подожди меня, Мишка, — говорит Меер, — я пойду в деревню, пощупаю, нет ли чего.

А ночь темная, ни черта не видать. Осенью дело было. Вдруг — бежит Меер и тихо мне:

— Текай!

А под полой у него что-то ворошится. А потом это, что под полой, как завизжит — хрю! хрю! Проснулись собаки, залаяли и на нас кидаются. Мы бежим, поросенок хрюкает, собаки лают — шум большой. Тем часом мужики из хат выходят узнать, что за гвалт такой посередеь ночи. Видят мужики: бежит кто-то по улице, поросенок визжит, собаки лают. Закричали мужики: «Вор, держи вора!» Бросили мы поросенка и драла. Только то и счастье, что темно было.

— Вот за мной раз гнались, это скажу вам — да! — сказал Володя Герман, — с кольями гнались. Поймали — убили б.

— Как же удрал? — спросил Мишка.

— На паровозе удрал, — сказал Володя, — я вскочил на паровоз. Паровоз был уже на ходу, а остановить поезд не имели права. Машинист кричит:

— Куда прешь, шпана несчастная? Слазь!

— Дяденька, — говорю, — убьют ведь. Дай до станции доехать. Помогать тебе буду в дороге.

— Не надо мне таких помощников! — кричит. — Катись колбасой.

— Ой, — говорю, — дяденька, дай до станции доехать.

А поезд уже полным ходом идет. Где тут слезать? Так я и доехал до станции. В Быхове это было.

— Что ты там делал в Быхове-то? — спросил Ледин.

— Перевозчиком там работал. Песок к линии подвозил. Сначала, как я из дому удрал, я гопничал по всяким городам. Попал я так в Быхов. Тут ко мне подходит один мужик и говорит:

— Хочешь, — говорит, — помогать мне песок перевозить? Я тебя кормить буду.

— Ладно, — говорю, — поработаю.

Стал я возить песок к станции. Мужик наскребет воз песку, а я отвезу. Ничего жилось, сытно.

Но раз такое дело вышло. Я поехал с возом, надоело мне сидеть на песке, я и сел верхом на кобылу. А мимо проезжали парни из соседней деревни. Увидали меня верхом на кобыле и гоготать. А один — здоровый такой парень, рожа с жиру лопается — повернул коня, поехал со мной рядом и давай настегивать кобылу. Кобыла — дохлая, а тут не стерпела, понесла. Я свалился и сломал руку. Три месяца потом пролежал в больнице.

А когда выздоровел и выписался, меня ОНО направило в детдом. Я от них смылся и остался жить на станции. К мужику назад не хотелось. Надоело возиться с песком. На станции я с ребятами познакомился. Жили мы все в пустой теплушке. К поезду выйдешь на перрон «пострелять». С месяц жил я так. Весело жил, ей богу. Лучше, чем дома!

— А дома худо жилось? — спросил Ледин.

— Худо, — сказал Володя. — Потому-то я и удрал, что худо там жилось. У меня мачеха. Злющая ведьма. А потом, когда отец заболел, — у него рак был, — совсем мне от мачехи житья не стало: дармоед, дармоед, — только от нее и слышишь. Я сначала молчал, терпел, а потом надоело. Слямзил у мачехи трешку и удрал. Пришел на вокзал, вокзал у нас большой, — я из Новобелицы, — там ребята стоят, беспризорники. Я им дал рубль, чтобы взяли меня с собой. У них старший был — Сенька.

— Ты, паря, со мной поедешь, — сказал он мне.

Залезли мы в ящик под вагон и поехали. Поехали в Юзовку. Оттуда в Киев. Из Киева — в Ростов. Из Ростова — в Харьков. Всю Украину объездили.

— А отсюда-то удирать не хочется? — спросил Ледин.

— Ну! — сказал Володя. — Гнать будут, и то не уйду.

Затрещал звонок. Перемена кончилась.

## ЭПИЛОГ

Утром почтальон принес письмо.

«Проспект 25 Октября, дом 76, товарищу-писателю Ледину».

Ледин рассмеялся.

«Товарищу-писателю Ледину», а номера квартиры нету. От кого бы это?

Письмо было от Иени Малиновского. «Товарищ Ледин, — писал Иеня, — почему вы давно у нас не были? А также написали ли вы про нас книгу и как она называется? Трое наших ребят уезжают, и поезд отходит в 9 часов. Приходите, пожалуйста, на Московский вокзал».

Сбоку крупными буквами шла чья-то приписка:

«И я тоже уезжаю. Приходите».

Вечер был теплый, весенний. Когда Ледин пришел на вокзал, было половина девятого. По широкой вокзальной лестнице бежала толпа. Какой-то человек все кричал :

— Иван Иванович! поезд уходит! Иван Иванович!

«Поезд уходит, — подумал Ледин. — Не тот ли?»

Он взял перронный билет и выбежал на платформу. На платформе сидела женщина в мужских сапогах и в галошах. Перед ней полукругом стояло штук десять бидонов.

— Не знаете, когда отходит этот поезд? — спросил Ледин.

— Мы не знаем, — ответила женщина, — мы из Тосно.

«Вот чудачки! — подумал Ледин, — не пишут, какой поезд. Как же их найти?»

Вдруг Ледина кто-то потянул за рукав.

— Вот вы где! — сказал знакомый голос. — А мы вас ищем.

Ледин обернулся и увидел Семена Острогорского.

— А я вас ищу, — обрадовался Ледин. — Каким вы поездом едете?

— Московским, — сказал Семен, — через Москву на Украину.

— И ты едешь?

— И я.

— На отдых?

— Да нет, в колхоз, — сказал Семен, — в еврейский колхоз.

— А еще кто едет?

— Да вот они, — сказал Семен.

Первым Ледин увидел Натана Шостака. Натан был в серой куртке с меховым воротником и с большими карманами. Ря-

дом, держась за ручку вагона, стояла Аня, закутанная в большой мохнатый платок так, что виден был только кончик ее носа. Она о чем-то говорила с Мишкой Коротуном. Вернее, говорил Мишка, Аня же в ответ только мычала, так как через платок ей было трудно говорить.

— Вот уезжаем, — степенно сказал Шостак.

— Все вы, что ли, едете? — спросил Ледин.

Аня что-то промычала в ответ.

— Что? — сказал Ледин.

— Не все, — сказал Шостак. — Я, Семен да она.

— И ты, Аня, едешь?

Аня сердито сорвала с головы платок.

— Закутали меня как куклу, — сказала она: — ни одного слова выговорить не могу. Вот теперь дышать легче стало. Ну да, тоже еду.

— На Украину?

— На Украину.

— В колхоз?

— В колхоз.

— Дело! — сказал Ледин.

— А книгу про нас вы написали? — спросила Аня.

— Написал.

— Про всех?

— Про многих.

— И про меня написали? — спросил Иеня.

— И про тебя написал, — сказал Ледин.

— И про «чуч» написали? — испугался Иеня.

— И про «чуч» написал, — сказал Ледин.

Иеня подумал.

— Ну, ничего, — сказал он. — Я скоро научусь хорошо говорить. Верно?

— Лет через двадцать, — сказал Мишка.

— А ты чего не едешь, Мишка? — спросил Ледин.

— Я поступил в фабзавуч, — сказал Мишка. — В деревообделочный.

— Товарищ Ледин! — крикнул Семен, — вас ребята просят сказать речь.

— Пусть сначала кто-нибудь из ребят скажет, а я потом.

— Я скажу! — крикнул Малиновский.

Не дожидаясь, пока его попросят, он поднялся на ступеньку вагона и снял свою шапку с наушниками.

— Товарищи! — заговорил Иеня, — вот вы все уезжаете в колхоз...

— Не все, — крикнул Мишка, — ты остаешься, и я остаюсь.

— Ну, хорошо, — сказал Иеня, — вот они втроем уезжают в колхоз. От имени остающихся ребят я вот вам хочу сказать...

— Ты не «хочу», ты говори! — крикнул кто-то из ребят.

— Вот я и говорю, — продолжал Иеня, — что работайте там, ребята, хорошо. Вы там про нас не забывайте и работайте хорошо.

— Хорошо да хорошо — только от тебя и слышно, — сказал Семен. — Дай-ка лучше я скажу.

— Пусть товарищ Ледин скажет, — сказал Натан.

— Я потом, — сказал Ледин. — Говори, Семен.

— Ребята! — сказал Семен. — Я вот о чем скажу: восемь лет тому назад на этот самый вокзал...

— Не восемь, а девять лет, — сказал Мишка.

— Ну, девять лет тому назад... на этот самый вокзал привезли десять вагонов с ребятами. Эти ребята были мы. Везли нас тогда в Петроград. А мы и не знали, что это за Петроград такой. Сошли мы — помню — на эту платформу...

— Не на эту, — сказал Мишка. — Эшелон наш вон где остановился, за будкой.

— Ну, да, — сказал Семен. — За будкой, верно. Так вот. Привезли нас сюда с Украины, а на Украине тогда война была. Привезли нас сюда, а мы и по-русски говорить-то не умели. Ну, так вот, ребята: девять лет прожили мы вместе. Сначала нам и тут худо было, а потом ничего жили. Верно я говорю, ребята? Ну, так вот, ребята: теперь опять мы на Украину едем, только не домой, а в колхоз. Работать едем, товарищи. Я на тракториста учиться буду. Ну, так вот.

— Покороче ты, — сказала Аня. — Дай товарищу Ледину сказать.

— А я уже и кончил, — сказал Семен. — Товарищ Ледин, скажите теперь вы.

Ледин откашлялся.

— Ребята! — сказал Ледин.

Раздался свисток.

— Скорей говорите, — заторопились ребята. — Сейчас тронется...

— Ребята! — повторил Ледин.

Гу-гу! — загудел паровоз. Лязгнули буфера, и поезд тронулся.

— Ребята! — в третий раз крикнул Ледин и побежал за поездом. Но поезд пошел быстрее, и Ледин начал отставать..

— До свиданья! — кричал Шостак, свешиваясь с площадки вагона.

— Прощай, Иеня! — крикнула Аня из окна. — Шапку надень.

Поезд шел все быстрее. Вот промелькнул последний вагон с двумя фонарями сзади, и поезд пропал в темноте. Только в воздухе еще долго кружились искры.

— Уехали, — сказал Иеня, надевая шапку с наушниками. — Ничего, года через три я тоже уеду.

— Куда? — спросил Ледин.

— Далеко, — сказал Иеня. — В Ташкент.

— Зачем в Ташкент?

— Хлопок сеять буду, — сказал Иеня. — Там хлопок растет.



# **ВОЛЬНЫЕ ШТАТЫ СЛАВИЧИ**

**Рисунки А. Каплана**

## Глава первая

### ЛЕСНЫЕ ГОСТИ

В четверг, в ясный погожий день, в Славичах появились два человека. Один, — толсторожий парень с угреватым носом, в белой расшитой рубахе, в лаптях, — никого не заинтересовал. Парень как парень. Дезертир, верно. Зато другого рассматривали внимательно и с любопытством. Мать честная, что за кикимора! Леший, что ль? Низкого роста, почти карлик, сутулый, лицо дряблое, безволосое, бабье, нос пуговкой, на носу большие граненые очки и за плотными стеклами очков совсем не видно глаз. Из-под белой, круглой, вроде поповской, шляпы выбиваются влажные волнистые кудри, вместо пальто — необъятной ширины плащ с капюшоном, на ногах — резиновые сапоги, в руке — зонтик. Чучело. Встречаясь с ним, люди испуганно шарахались в сторону, недоуменно хлопали глазами, более смелые начинали громко ржать — го-го, а те кто поробее, посмирней, те тихонько хихикали, будто кудахтали: «хи, хи, фигура».

Впрочем, очкастый и его товарищ — толсторожий парень в лаптях — недолго пробыли в Славичах. Они раз прошли по главной — Пробойной — улице местечка, свернули на слободу и пропали. Степа их встретил на мосту. Степа шел со слободы в местечко и вот на мосту ему встретились карлик в плаще и толсторожий парень с угреватым носом. Парень хмуро, исподлобья посмотрел на Степу и пошел дальше, а очкастый остановился и что-то спросил. Голос у очкастого был пронзительный, от этого голоса в ушах начинало звенеть, а слова сливались все в одно. Степа ничего не понял. Ему послышалось «Де- ту-куз-чик» или «Где-то-ку-ча».

— Что? — сказал он.

Человечек с досадой махнул зонтом и повторил более внятно:

— Де ту кузня, мальчик?

Кузня стояла рядом с домом Степы, в конце слободы. Работал теперь в кузне Антон Микитенко, коновал и конокрад. «Зачем им кузня?» — удивился Степа и сказал:

— Прямо, — сказал он, — а то хотите, провожу. Покажу.



— Не надо, — мрачно буркнул толсторожий, — сами найдем. Проваливай.

Степа обиделся.

— Ну, ты, потише, — сказал он, — а то знаешь?

Степе было шестнадцать лет, но выглядел он старше.

Толсторожий скосился на него — малый крепкий и сердитый, не стоит с ним спорить, — и молча пошел вперед. Очкастый, путаясь ногами в широченном плаще, заторопился тоже.

— «Проваливай», — ворчал Степа, провожая их недружелюбными глазами. — Я те покажу, бродяге, «проваливай».

Через час, возвращаясь к себе на слободу, Степа за три дома еще услышал голос отца. Надвигались сумерки. Дневной гомон улегся. Мужики сидели в хатах и ужинали. А по пустой заглохшей улице бухал гулкий голос Осипа. Он кричал и ругался. Спорил с кем-то, что ли?

«Нахлестался, черт, — лениво подумал Степа, — покричит-покричит, а потом выть начнет. Вояка!»

Осип, нескладный, длинный как жердь, однорукий мужик, в солдатской гимнастерке, в коротких, не по росту, синих портках, сидел у окна, вытянув до самой печки босые, грязные, корявые ноги и, равномерно взмахивая рукой, сжатой в кулак, говорил:

— Верно. Верно, милый человек. Вер-но! — говорил он, растягивая слова, — провались она в тарары, власть-то. Всяка власть. Кому как, а нам власть не в сласть. Не треба. Без нее проживем. Да так, что ги! Генерал позавидует. Ты вот ученый человек, умный, скажи мне, пожалста, вот по-товарищски скажи — ну, трогал я его, Николку-то? Ну? Живешь ты там в столице, царь ты или хто. Ну и живи, черт с тобой. Мне что? Я тебе не трогаю и ты мене не трожь. Так? А он мене за шкирку и в окоп. И руку отхватил. И хозяйство развалил. За что? За что, скажи ты мне, товарищ дорогой, а? А то вот тебе другая медаль. Савецка власть. Рабочая. Крестьянская. Горой за бедноту стоит. А что, однака, делает, а? Мене, инвалида империалистической войны, са-мую бедноту, и на два месяца в острог. А за что? Человека, скажешь, убил? Подпалил кого? Не, брат. За са-мо-гон. И кто донес? Сын родной донес. Вот что она делает, власть-то. Сына родного доносчиком делает. А ты — власть! Плюю я на ей! — Осип с остервенением плюнул, — тьфу!

«Здрасте. Заладил, — подумал Степа, — с кем это он там?»

Степа, не заходя, приоткрыл дверь и заглянул в хату. У двери на лавке сидел давешний толсторожий парень и перематывал онучи, затягивая их до отказа. А за столом сидел очкастый. Комнату обложили поздние сумерки. Стол и лавка сливались со стеной, но человек этот был замечен. Невысоко над столом белела его поповская шляпа, стекла очков отражали закатное небо, — человек задумчиво смотрел в окно, глаз не было видно и казалось, что он слепой. Все время, пока говорил Осип, человечек сидел неподвижно, словно уснул, и не понять было — слушает он или нет.

Степа тихонько свистнул: ф-ь-ю, вот так гости!

Вдруг очкастый зашевелился. Белая шляпа задвигалась суетливо, как мышь, и пронзительный голос зачастил звонко и дробно, повторяя несколько раз подряд одно и то же слово.

— Так, так, так, крестьянин, — затакал он. — Ага! Ага! Понимаешь? Понимаешь теперь? Человек рождается свободным, как ветер, как буря. А его в клетку, в клетку. Что? Не так? Не так? Подневольный! А что это значит? Под-невольный. Неволя. Клетка. Тюрьма. Что? Не так? Ты — крестьянин. Ты живешь с природой, видишь птиц, пташек. И ты меня понимаешь. Что? Не так? Не так?

«Что за плешь такая?» — подумал Степа. Он ничего не понял из того, что говорил очкастый — «клетка, клетка; пташек, пташек». Но речь ему не понравилась. Он насторожился: «контру разводит, холера, — решил он, — надо будет ребятам сказать».

А Осип согласно кричал и кивал острой кверху шишковатой головой.

— Правильно, товарищ. Верно, — заговорил он и голос его на этот раз звучал глухо и грустно как-то, — какая наша жисть? Собачья. Окаянная жисть, раз ее такая в дышло. Псу иной раз позавидуешь, ей богу. Тварь, думаешь, и разума-то в ей никакого, а лучше твоего век свой живет. Вольней. Пхнешь ее сапогом в пузо, она взвизгнет и на двор. А уже на дворе ее царство. Кто ей там указчик? А тебе нигде нет укрытья. В могиле разве. Прижался я тогда к брустверу, лежу — авось, думаю, пронесет; авось, думаю, не найдет, дура. Это я про шрапнель-то. А она нашла. Да так, проклятая,хватила, что открыл глаза, а правой-то руки как не бывало. Да. А тут тоже. Пришли из милиции, а я задним двором, да через плетень, да в поле. — Отлежусь, думаю, може уйдут, може забудут, хворобы. Ан нет. Засаду устроили. Поймали. Поволокли. А за что?

Что я худого натворил? «Самогонку гнал?» Ну, гнал! «Продавал?» «Ну, продавал! Верно! А что в том худого? Жить же надо. Жить, товарищ дорогой, надо али не надо?» А мене в острог. Ах, ты, божжа мой! Божжа мой!

Осип поднялся и, тяжело волоча длинные ноги, прошелся по хате: «Божжа мой! Божжа мой!» — негромко повторял он. Он обмяк весь, постарел.

Толсторожий звучно шлепнул ладонью по онучи, — ладно будет, — и, не глядя на Осипа, пробасил важно и загадочно:

— Повремени малость, дядя, — сказал он, — скоро станет добре.

Осип остановился.

— Откуда ж? — сказал он, — как жа?

— Так уж, — парень хмыкнул и принялся переобувать вторую ногу.

Степа вышел на двор. Он хотел найти мать, спросить, что за люди? Как вдруг в комнате прозвучал выстрел, гулко, будто в пустую бочку ударили. Степа испугался: ой, палят! Он со стуком распахнул дверь и кинулся в хату. Но в хате все было спокойно и мирно. Не было дыма и порохом не пахло. Что за черт? И вдруг опять — бах! — да так, что стекла зазвенели. Степа осмотрелся и чуть не фыркнул: очкастый в углу, схватившись руками за стол, громко чихал. Он мотал головой, захлебывался, сопел, икал, рыгал и опять чихал. «Да что он, помирает, что ли?» — подумал Степа и тут увидел на столе бутыль из-под самогона и пустые стаканы. «А, -а, -а, — догадался Степа, — нализался, герой», — и пошел к двери.

В эту минуту сзади кто-то сгреб его за шиворот, тряхнул разок и потащил к столу.

— Вот он, товарищи дорогие, — лез в уши сердитый голос Осипа, — вот он, сстерва! Отца родного продал! А? Отца родного в острог засадил! А? Бить его? Резать его? А?

Степа рванулся:

— Пусти, ну!

Но Осип держал крепко.

— Бить его? — кричал он, — резать его?

Очкастый икал. А толсторожий покосился на Степу и спокойно сказал:

— Бей, — сказал он, — чего на него смотреть?

Степа вобрал голову, изловчился и острием локтя как двинет батьку в живот. Осип только охнул и разжал пальцы. А Степа, отряхиваясь, как лошадь после купанья, не спеша по-

шел вон. В дверях он остановился и погрозил толсторожему кулаком: попомнишь, шкура!

По двору ходила мать, Ганна, круглая крепкая баба с плоским рябым лицом, узкоглазая, как татарка. Она рассыпала у крыльца овес и сгоняла туда кур: «Цып, холера на вас! Цып, чтоб вам окосеть!» — беззлобно кричала она и замахивалась прутом.

— Это кто же там сидит-то? — спросил ее Степа.

— А где жа? — певуче сказала Ганна.

— В хате.

— А лях жа их знает.

— Они зачем пришли то? — спросил Степа, — за самогоном что-ль?

— А нет жа, — сказала Ганна.

— Так чего им надо?

— А лях жа их знает.

— «А лях жа, а лях жа», — передразнил Степа. — Дура.

Он встал под окно и прислушался. Но в хате заговорили тихо, зашумелись. Толсторожий скоро-скоро о чем-то спрашивал. Осип кратко отвечал. Очкастый одно слово сказал громко с визгом: «Узурпаторы! Узурпаторы!» Но Степа не понял, что это значит, слово то было незнакомое. Потом Осип высунулся в окно — Степа присел — и крикнул: «Ганна!» «А чего жа?» — певуче спросила Ганна. — «Пойдешь, товарищей проводишь, — сказал Осип, — чуешь?» «А корову жа доить», — сказала Ганна. «Не подохнет корова. Иди». И Осип отошел от окна.

Степа, пригнувшись, чтоб не видно было из окна, пробежал шагов тридцать и лег во рву у дороги. Дорога была безлюдна. Сумерки сгустились. Наступала ночь. В поле было темно и тихо. И только далеко, у самой земли тлела красная полоса зари.

Вскоре показались Ганна, толсторожий парень и очкастый. Он плелся последним, смешной карлик в круглой белой шляпе и в длинном плаще. Степа слышал, как он бормотал про себя: «...каторы... завцы... уби!.. уби!..» и икал.

У городища — отвесная гора с котловиной, вроде кратера — все трое остановились. Тут дорога разветвлялась. Прямо — широкий шлях, телеграфные столбы и тополя, стройные и строгие. Налево — дорога в лес. Правее, огибая городище, узкая тропа в соседнюю деревню Малаховку.

Ганна, протяжно и певуче попрощавшись, повернула назад, а те двое пошли по дороге в лес.

Было темно и тихо. Где-то близко в болоте верещали жабы. В небе зажглась звезда. А толсторожий и очкастый все удалялись, все уменьшались, постепенно сливаясь с темнотой.

«Задержать бы их, гадов, следовало», — подумал Степа. Он вскарабкался на городище — с горы-то видней — и, задрав голову, долго стоял и смотрел на дорогу в лес. И увидел: на дороге появились конные. Вдруг. Словно из-под земли выросли. Трое. За ними вдали догорала и рдела вечерняя заря. И на заре четко видны были черные тени верховых и коней. Толсторожий им что-то крикнул. Всадники ответили, потом повернули коней, гикнули, цыкнули и умчались так же мгновенно, как и появились. Поле опустело.

— Степка! — на всю улицу кричала Ганна. — Степка! Где ж ты? Иди вечерять!

Но Степа не слышал. Он, как куль, скатился с горы, вскочил — и бежать по шляху, по слободе, по мосту, в Славичи, в клуб, к ребятам.



## Глава вторая

### КЛУБ РКСМ

На главной — Пробойной — улице в Славичах с давних пор — деды не помнят, с какого года — стоит дом купца Хазанова. Дом одноэтажный, но высокий, крыльцо в одиннадцать ступеней, а у крыльца фонарь. За домом большой фруктовый сад: купец-то был человек хозяйственный, раскинул сад, а за садом на пустыре построил маслобойню. При маслобойне соорудил флигель для рабочих, клетушку в два окна. В этом флигельке два года назад, в революцию, поселили самого Хазанова, а дом заняли под совдеп. Купцу не сразу дали флигель. Некоторое время его продержали в каталажке, взяли сколько там полагается контрибуции, а потом выпустили и даже вернули ему в пользование сад, но «чтоб своей собственной рукой, без эксплуатации чтоб. Ясно?» Летом совет переехал в соседний дом, двухэтажное каменное строение, весьма ветхое, но просторное. Купец было обрадовался: «может и домишко вернут». Да не тут-то было. Рано обрадовался. В доме появилась шумливая братва, молодые ребята, комсомольцы. В наследство от купца они получили только зеркало-трюмо и две картины в позолоченных рамах: «Лето» — усадьба, пруд, беседка, в беседке девица мечтает и «Зима» — лес, дорога, вечерний свет, мчится тройка, а навстречу охотник с ружьем и с собакой. Все остальное вывез совет. Но комсомольцы не унывали — трюмо так трюмо, «лето» так «лето». Пригодится. Не все же буржуям только глядеться в зеркала и любоваться на картины. И мы поглядимся и мы полюбуемся. Тоже не лыком шиты. Раздобыли откуда-то длинный стол, дюжину стульев, диван с продырявленным сиденьем, библиотечку и — гордость ребят — девять винтовок. По стенам развесили портреты вождей, плакаты, агитки. Оглянулись и ахнули: «батюшки! Клуб-то какой, а? На ять!» И прибили к крыльцу дощечку, а на дощечке неумелой рукой — буквы получились кривые, одна лезет в гору, вторая смотрит долу — выведено: «Клуб РКСМ».

Вечер был теплый. С поля дул ветер и приносил с собой запах свежего сена. Тихо шумели тополя в палисадниках. Теплый вечер, июньский. В такие вечера обычно всё Славичи

высыпало на улицу. Но сегодня было пусто на Пробойной. Время тревожное, вокруг местечка в лесах — бандиты, «зеленовцы» или кто их там знает как! И всё сидели дома. В окнах тускло светились огоньки. Люди молча ужинали и молча укладывались спать. День прошел спокойно — и слава тебе! Гулять? болтаться? Какое там! Быть бы живу!

И только в одном доме было шумно и людно — в клубе. Окна распахнуты настежь. За окном яркий свет большой висючей лампы. Кто-то смеется, кто-то притворно-сердито ругается, кто-то тренькает на балалайке, подбирает «барыню». Но все покрывал чей-то по-петушиному звонкий голос, который с короткими промежутками грозно и свирепо рявкал: «На ру-ку! Ать! Два!» «К но-ге! Ать! Два!» «Ко-ли! Ать! Два!» «Пли!»

«Косой чудит, — подумал Степа, — вот уж балда неугомонная».

Он не заметил, стоит ли кто на крыльце или нет. Было темно. И вдруг у самых дверей его поймали три пары цепких рук, оторвали от пола, подняли, понесли, и Степа даже пикнуть не успел, как сама собой открылась дверь, и Меер Кремер, сын сапожника с «низа», невысокий, широкогрудый паренек с бугристым от оспы, сумрачным лицом, торжественно возвестил:

— Тиш-ше! Покойник-с!

И только Меер вымолвил «покойник», как Леша Косой, вертлявый, лохматый, похожий на обезьяну, уже стоял на столе и, то и дело всплескивая руками, вздыхая и сокрушаясь, многословно и печально, на церковный лад, сообщал, что:

Степка слободской,  
пьяница и пропой,  
такой и сякой,  
приказал долго жить,  
по нем не тужить,  
панихиду не служить,  
водки не пить,  
слезы не лить,  
так как подход он по доброй воле,  
нажравшись жимолости в поле...

И скороговоркой:

лоп-поп-гроб-стоп! Аминь!

Но Степе было не до шуток.

— Пустите, черти! Дайте сказать! — кричал он. Косой слушать не стал. Кивнув балалаечнику: «жарь, Мота», он вдруг перемахнул с печального на веселый лад, на частушку:

Посмотрите-ка ребята,  
что тако случается:  
не покойник, а собака  
и рычит и лается.

— Дайте же сказать! — кричал Степа.

Наконец ему удалось вырваться. Он кинулся к Яну, высокому, белокурому, очень спокойному парню и, запыхавшись, проговорил злобно, криком:

— Янек, да скажи же ему, обезьяне, чтоб заткнулся, ну! У меня же дело!

Вместо ответа Ян подошел к Лешке, сгреб его в охапку и скovyрнул со стола, как вещь. Поводя перед самым его носом пальцем, Ян вразумительно сказал:

— Цыц, Косой! Засохни! Понял?

Косой мрачно чесал грудь и ворчал:

— Ну и грабли у тебя, чтоб им отвалиться. Сжал так, что кости ноют. Халда!

Степа, не теряя времени, взобрался на стол и закричал:

— Реб-ята! Тиш-ше!

— Чего орешь? В чем дело? — раздалась голоса.

— Дело, ребята, вот в чем, — закричал Степа. — Видали вы сегодня тут в Славичах очкастого такого и другого — в белой рубахе? Видали, да? А кто такие, знаете? Не знаете? То-то! А горланите, дурни. Вам бы глядеть в оба, а вы — горланить и песни орать. Только и знаете, хворобы...

— Говори толком, — сказал Ян, — в чем дело?

— А дело, Ян, такое, что эти-то — знаешь кто? Шпионы. Да. Я их сперва на мосту встретил. Антона-кузнеца спрашивали. Ну, а потом прихожу домой, а они в хате, сидят, с батькой разговаривают, очкастый-то все: «власть... тюрьма», а толсторожий говорит: «погоди, говорит, скоро станет добре». А потом зашушукались. Вышли они. И я за ними. Они — по дороге в лес, а я на городище вскарабкался. Стою. Смотрю. А вечереет уже. Вдруг вижу — им навстречу конные бегут. Трое. Да. Доскакали, поговорили о чем-то, коней повернули и в лес. Да...

Ребята притихли. Они стояли вокруг стола и смотрели на Степу во все глаза. Парень-то, видать, не врет. Дело, значит, серьезное, да-а-а...

— Ты чего сразу-то не сказал? — проговорил Леша. Вся его бузливость пропала. Он стоял внимательный и сердитый.

Степа с сердцем плюнул:

— Тьфу ты! Еще спрашивает, обезьянья рожа! «Почему не сказал?». Я кричу «пустите!» «слушайте!», а он «поп-гроб-стоп»! У, ты!

— Да почему ты знаешь, что шпионы? — спросил Меер, — может, так люди...

— Бабка гадала — вот и знаю, — сказал Степа, — а по-твоему, кто же? Уездкомы, что ли?

— Н-да, — процедил Ян, — похоже на то, что парень прав. А дальше что было?

— А дальше было ничего, — сказал Степа, — они в лес, а я сюда. Уже темно было.

Меер свистнул:

— Фью, дрянь дело, ребята, — сказал он.

— Эй, караульные! — крикнул Косой, — все здесь?

— Здесь! — ответили семь голосов.

В эти тревожные дни комсомольцы установили охрану местечка. Каждую ночь, в десять часов три пары караульных располагались в разных концах Славичей — на слободе, у моста и у больницы. Четвертая пара — карнач\* и его помощник — переходили от поста к посту, проверяли, все ли благополучно, все ли на месте, не завалился ли кто спать.

— погоди, Алексей, — сказал Ян, — прежде всего надо сообщить Каданеру. Понимаешь? Ребята, кто слетает к товарищу Каданеру? Только враз. Без волынки чтоб. Ну?

— Я, я, я, я, я, я.

— Ладно, так много не требуется. Иди ты, Степа, — и потом, — Ян оглянулся, — ну ты, что ли, Меер. Расскажите, как и что. Только, ребята, чтоб скоро. Понятно?

— Ясно. Враз.

И только ребята вышли за дверь, как услышали конский топот. Кто-то крупной рысью мчал по пустынной улице. В ночной тишине цокот копыт звучал гулко, как удары топора в лесу на морозе. Цок-цок. «Кто бы это?» подумал Степа. И вдруг у клуба всадник на всем скаку остановил коня и спрыгнул наземь. Он попал в полосу света из окна и Степа его узнал.

---

\* Начальник караула (Прим. изд.).

— Товарищ Каданер, — сказал он, — а мы к тебе.

Каданер возился у фонарного столба, коня привязывал.

Услыхав голос, он поднял голову.

— Что-нибудь случилось? — сказал он.

— Да так, знаешь, всякие тут у нас подозрения, — неуверенно сказал Степа.

— Именно?

— Да шпионы, будто...

Каданер махом — через две ступеньки на третью — влетел на крыльцо.

— Шпионы? Какие шпионы? — резко спросил он. — Где вы тут, ребята? Не вижу!

— Вот мы, — сказал Меер, — Степка говорит — шпионов будто видел сегодня, — продолжал он, — двух, будто...

— Один очкастый, другой — толстый такой, в лаптях, — добавил Степа.

— Вот оно как! — Каданер шарил рукой по двери, искал ручку, — пройдемте в комнату, ребята. Потолкуем.

Уре Каданер, до войны славичский кузнец, в войну — солдат-пехотинец, ныне — председатель волисполкома, человек лет тридцати, рослый, крепкий, с большим скуластым лицом, в длинной, до пят, драгунской шинели, еще с порога гаркнул бодро, по-военному:

— Здорово, ребята!

— Здорово, товарищ Каданер, — ответил ему нестройный гул, — слышал, дела какие?

— Вовремя пришел, — сказал Ян, здороваясь с Уре за руку, — мы уж за тобой послали...

— Нынче, брат, когда ни придешь, всегда вовремя, — сказал Каданер и размашистым шагом направился к столу. Он сел и пальцем поманил к себе Степу.

— Выкладывай, брат, — сказал он, — что там у тебя за шпионы.

Степа рассказал.

— А не брешешь? — спросил Каданер, глядя на Степу через плечо.

— Ей-богу, нет, — забожился Степа.

Каданер вдруг рассмеялся.

— Эх ты, комсомолец, — сказал он, — «ей-богу». Ну ладно. «Бог» с тобой. Значит так, одно к одному. А ведь я к вам, ребята, по этому же делу. То есть не совсем по этому. Степкиных молодцов мы проворонили. А жаль. Интересно бы их прощу-

пать. Жаль. Да что поделаешь! Поздно уже. Теперь вот что. Положение за этот день обострилось. Банды подступили совсем близко. Особенно опасна одна банда. От Махно будто откололась и залетела сюда. Гости дорогие, черт их дери. Теперь они тут по нашему уезду ходят, кулаков вербуют. А разъезды их совсем близко. Между прочим, телеграфное и телефонное сообщение ими прервано. Звонил сейчас в уезд — ни бум-бум. Линия прервана. Не сегодня-завтра залетят. Будь другое время, их бы можно турнуть так, чтоб дорогу назад забыли. Корни ведь у них тут слабые. Да не собратсья нам сейчас сразу — вот что худо, силы распылены. Ян, вы сколько дали по последней разверстке на фронт? Забыл что-то. Четверых? А мы семерых. Да на Колчака пятнадцать. Да в Питер девять. Итого тридцать один. Вот и считай. На «низу» тоже пусто. Все на фронтах. На «верху»-то, среди лавочников и купцов есть еще здоровые мужики. Да что в них? Предадут же, сволочи. Мобилизнуть все-таки? Как думаешь, Ян?

— Ну их к чертовой, — сказал Ян, — враги же. Мало сказать — предадут, в спину стрелять начнут. Знаю я их. Я больше на слободу надеюсь. А потом, думается, на «низу» наскребем все-таки сколько-то. Мейлех пришел уже в отпуск? Не знаете, ребята?

— Явился, — сказал Меер, — вчера.

— Во, — сказал Ян, — кстати явился. Якова еще нет? Жалко. Ну, ничего. На худой конец стариков снарядим. И потом мы вот, я думаю, ребят пятнадцать дадим.

— Добавишь, — уверенно сказал Каданер.

— Так это одних комсомольцев, — сказал Ян, — еще беспартийных ребят с «низа» и со слободы наберем. В общем, молодежный отряд бойцов в сорок могу выставить. Только время, понимаешь, надо, — махом этого не сделаешь. Хоть бы один день, что ли.

— День-то обеспечен, — сказал Каданер, — главные их силы, по сведениям, верст за шестьдесят, — так скоро не соберутся. День обеспечен.

— А с оружием как? — сказал Меер.

— Я сейчас прямо отсюда — в уезд, — сказал Каданер, — за оружием и потом подмоги просить буду. Одним, боюсь, не справиться будет. Никак. Буду завтра вечером. Самое позднее в субботу днем. Без оружия и без подмоги не вернусь. Организацию молодежного отряда возлагаю, Ян, на тебя. Персонально. Держи связь с продкомиссаром, с Губаревым. Ему по-



ручено сколотить стариков. Так. А пока будьте, ребята, начеку. Караулы усилить. Карнач! Кто сегодня карнач?

— Я! — подскочил Косой.

— Сколько у тебя народу?

— Как всегда. Восемь.

— Мало. Дай двенадцать. И еще пятерых мы дадим. Что? Винтовок не хватит? На, вот, — Каданер, к великому восторгу ребят, выложил из карманов на стол два нагана и новенький маузер. — Ну, моя поехала, — сказал он, вставая. — Обращаться-то с револьверами умеете? Смотрите, как бы пузо себе не прострелить. Сегодня-то, я думаю, они еще не наедут. Что? Как бы меня по дороге не сцапали? Ничего, брат. Бог не выдаст, свинья не съест.

— Эх ты, коммунист, — сказал Степа, — «Бог» не выдаст...

Каданер рассмеялся.

— Верно, брат, не того. Виноват. Ну, ребята, до свиданья. До завтра.

И уже за дверью послышался его голос, глуховатый и ласковый: «Стой, дура, не балуй».

По пустой улице зацокали копыта. Цок-цок. Все дальше. Все слабее. Уехал.

— Караульные! — по-петушиному звонко крикнул Косой. — Сюда! Ст-ройсь!



## Глава третья

### НА КАРАУЛЕ

Не везло нынче Степе. Первое — упустил тех двоих. Сказать вовремя — их бы взяли. Славичам — польза, а ему, Степе, почет. Раз. Второе — дежурить вышло в таком глухом месте, где не то что бандиты, крысы и то не проходят. У больницы. Больница, — приземистый, длинный дом старинной постройки с квадратами малых окон, — стояла на отлете местечка. На пригорке. Сзади — Славичи, «выгон», — широкая улица и редкие дома, огороды и пустыри между домами. Впереди поле и тяжелый полуночный мрак. Дохлое место, скучное. Никого тут не увидишь. Ни черта. И одно только радовало Степу — наган в кармане. Ладная штучка. На ять.

Ночь была темная. На черном небе неярко горели звезды. Под звездами, на холмах, в ложбинах, лежали Славичи, городишко, городок — три-четыре десятка улиц, базарная площадь и белая церковь на площади. Славичи спали. Глубокая, немая какая-то тишина висела над землей. Даже собаки не брехали. Даже петухи не пели. И ветер улегся.

На крыльце больницы их сидело четверо — Степа, Меер, Никита, парень из ближайшей деревни Самсоновки, и Бер Гезин — низкорослый человек с рыжими волосами и с золотым зубом во рту. Бер долго жил в Америке, работал на крупном заводе, женился, вырастил сына. Но узнал о революции в России, бросил все: и работу, и семью, — жена и сын не захотели поехать, — и вернулся домой, в Славичи. «Сгори она, Америка», — кратко отвечал он на все расспросы. Мечтал Бер стать землеробом, на Дону где-нибудь или в Сибири. Но пока это было невозможно, — время военное, страна в дыму, где тут думать о землеустройстве? И Бер слесарничал. Теперь вот сидел он на верхней ступеньке крыльца, — винтовка лежала рядом, — и, покуривая козью ножку, не спеша рассказывал:

— Вначале всяко приходилось, — рассказывал Бер, — и бродяжил и у фермеров работал. Фермер? Да это, если по-русски сказать, будет крепкий хозяин, кулак, одним словом. Вот уж верно, что «кулак», — жмет, дьявол, так, что ой. Все соки высосет. В котелке, в гетрах, а паук почище нашего. Батраков, таких чтоб всю жизнь на одного хозяина работали, там

мало. А все больше — бродяги, трампы\*, одним словом. А этих жать не трудно. Соединиться, чтоб сообща отстоять себя, этого они не умеют, да и не признают. Каждый сам по себе. Скажешь им — союз, партия, а они тебе — про Клондайк, про то, как этот разбогател, как тот разжился. Не все, конечно, так говорят, но большинство. А есть и такие, что на все плюют. Анархисты, одним словом...

— Это что такое «анархисты»? — спросил Стена.

— А которые власти не признают, — сказал Бер, — не то что там царскую или буржуйскую власть, а всякую. Барская затея, одним словом. Нам, рабочим людям, она ни к чему. Буржуи-то свою власть признают, да еще как, а нам они, анархисты, говорят: «Не создавайте власти. Буржуев скovyрните, а власти не создавайте. Пусть всякий живет вольно, как хочет». Да ведь если мы, рабочие, после революции не создадим власти, так что же будет-то, а? Через три месяца буржуи опять сядут на шею и такое нам пропишут, что век не забудешь. Нет уж, дудки. Нас на мякине не проведешь. Знаем мы, чем это пахнет, безвластие-то. Либо кабала через три месяца, либо грабеж. Вот Махно тоже себя «анархистом» называет. Из всех лозунгов взял только один: «Грабь-де награбленное». Ну и грабит и режет заодно — советчиков, коммунистов, евреев... да всех. Уж все одно. Чего там? Анархия! Подлющий народ...

Бер вдруг замолк и прислушался. С поля в местечко мимо крыльца шел человек. По тому, как он ступал, было ясно, что человек-то большой, грузный, что идет он издалека и что он устал. Бер вскинул на руку винтовку, щелкнул затвором и негромко спросил: «Кто идет?» Из темноты тотчас же ответил спокойный, густой, как труба, голос:

— Свои.

— Кто свои?

— Да я же, Антон.

Человек повернул к крыльцу. В темноте неясно маячила дородная фигура, и густой голос тянул нехотя с зевком:

— Караульщики, што ль?

— Ты откуда это? — вместо ответа спросил Бер.

Антон Микитенко, рослый, черноволосый мужик, до войны барышничал и конокрадничал. Последние годы, когда торговать стало трудно, он работал в кузне, но коней крал по-старому. Мужик он был умный, хитрая бестия. Поймать его было

---

\* Трампы — бродяга.

невозможно, — всегда выходил сухим из воды. Посадят его, продержат сколько там и выпустят — улик никаких. Упорно говорили, что Антон знается с бандитами, с «зелеными». Но опять — только молва, а улики нет.

— Ты откуда это? — спросил Бер.

Антон ответил не сразу. Он присел па ступеньке крыльца, рядом с Бером, смачно зевнул, почесал спину, грудь, потом достал из кармана кисет с самосейкой, поднес Беру — «Хошь?» — закурил и только тогда ответил и то вяло как-то, через силу:

— Тута, — сказал он, — близко. Застенковский Авсей, знаешь? — сына женил, Игната. Хлебнули малость. Они-то еще гуляют, а я, видишь ли, до хаты, спать. С утра в кузню. Рабочий, видишь ли, человек. Им-то, мужикам, лафа, гуляй, сколько влезет, хоть до свету. Мужик-то ноне, видишь ли, баринном заделался. А нам нельзя. Трудом кормимся. Верно?

— Тебя сегодня спрашивали, Антон, — сказал Степа, — двое. Один — очкастый, а другой на дезертира похож, толсторожий, в лаптях.

— Знаю, — сказал Антон, — заходили. Заказчики, елки-палки. — Антон презрительно фыркнул. — Показывает железное кольцо, очкастый-то, поломанное. «Запаяй», — говорит. «Не, — говорю, — я сделать вам как след не могу. Больно тонкая, видишь ли, штука. Не по нам. Идите, говорю, к другому кому». А потом насчет самогону спросили. Я их тогда к твоему батьке, Степа, послал. Один ведь он, видишь ли, на все Славици благодетель такой.

Степа скривился. Ехидный, холера. Скользкий мужик. С ним сцепишься — и не рад будешь.

— Он уж больше не торгует, — сказал Степа.

— Не торгует, говоришь? — повторил Антон, — не бойсь. Для хорошего человека у него бутылочка про запас найдется. Завалищая какая. А самогончик он здоровый. Чисто работает, хорошо. Это верно. Не самогон — спирт, настоящий спирт, ей-богу. Агроном недавно брал — нахвалиться не мог: «Хоть, говорит, американскому царю на ужин, и то не стыдно».

— В Америке нет царя, — сказал Бер.

— Скажи ты! — удивился Антон. — Там что же значит: советы или как?

— Президент, — сказал Бер.

— Учредилровка вроде? Так, так, понимаем.

Некоторое время Антон молчал. Он потягивался, что сытый кот, скреб бороду, протяжно зевал «а-а-а, господи», но

потом, как бы спохватившись, что сидеть так и зевать невежливо, равнодушно сказал:

— Есть слышок будто бандиты близко, — сказал он, — ти правда это?

— Тебе кто говорил? — быстро спросил Бер.

— Не упомяну, — неопределенно ответил Антон, — говорили. Верно это?

— Не знаю, — промычал Бер.

— Думается — брешут, — сам себе ответил Антон, — не полезут они на огонь, побоятся. Они, видишь ли, не дюже храбрые ребята. Самогонку дуть — это они молодцы, а как до боя, так они не тае. Кабы они знали, что охраны нет, тогда может решились бы, а теперь-то, думается, не полезут, побоятся. Верно?

Не дождавшись ответа, Антон заговорил опять.

— Вот объясни ты мне, мил человек, — сказал он, обращаясь к Беру, — как это так. Я что-то, по дурусти, не понимаю. Вот савецкая власть говорит: «Все, которые трудящие, — братья, товарищи, значит». Верно? А кто-кто, крестьяне-то уж в сам деле трудящие. Что «баре» — это я смеялся. Крестьянин, он большой труженик. Верно? А гляди, милый человек, что получается: одни-то крестьяне идут в камитеты бедноты, в камунисты, другие — в банды, в «зеленые». И режут друг друга, стреляют, насильничают. А чего? Ей богу, не пойму. По дурусти или как, а не понимаю. По мне, знаешь ли, жили бы все мирно, по-братски, по-товарищески, значит. Бог-то у всех один. А жисть каждому дорога. Вот и жили бы тихо, полюбовно, без драки и всем бы хорошо. Верно?

Бер вдруг сердито засопел носом, заворочался.

— Слыхали, — сказал он, — старые сказки.

— Верно, — охотно согласился Антон, — про это давно уже говорили. Все больше духовного званья особы, конечно. Поп там из евангелия читал или так, проповедник какой. А только иной раз и духовная, видишь ли, особа скажет впрок и евангелие не соврет. Вот говорят — граф Толстой так тот очень даже уважал евангелие. Попов не любил, а евангелие уважал. А може, это я все по глупости говорю. Человек-то я, видишь ли, необразованный, темный. Вам-то нынешним, молодым, видней, конечно. Но по мне, по-стариковски, выходит, что так: коли братья, товарищи, то уж и живите по-братски. Это по-мне значит, по-стариковски.

— Ты чего врешь? — сказал Бер. — Какой ты старик? Тебе сколько?

— Сорок три года, милоч, — с достоинством ответил Антон, — срок, знаешь ли, не малый.

— «Не малый», — Бер хмыкнул, — а мне сорок шесть. По-твоему, мне что? Тоже в старики записаться?

— Кому как, конечно, — Антон встал, — пойду, посплю, — сказал он, зевая, — что-то спать охота. До свиданья, товарищи. — И дородный, величавый, как гусак, неторопливо зашагал по улице.

— Вредный мужик, — тихо вслед ему сказал Бер, — гадина.

— Ходит, все хо-одит, — протянул Меер, — вынюхивает.

— Сынку потом доложит, — сказал Никита, — у него сын, Ефрем, в офицерах служит или у бандитов он. Шут его знает.

— Да и шпионы к нему не зря наведывались, — сказал Степа, — было верно о чем поговорить-то.

— Не без того, — сказал Бер. — Знаешь, Меер, поди-ка сейчас за ним. А? Проследи, домой ли он или куда. Навряд ли он у Евсея был. Сомнительно. И не домой он отсюда. Врет. Проверь, одним словом. Ладно?

— Ладно. — Меер встал и, как всегда, упрямо начал собираться; застегнул куртку на все пуговицы, надвинул поглубже шапку, дунул зачем-то в ствол винтовки.

— Живей, парень, — сказал Степа, — а то пока ты соберешься, Антон состарится и помрет.

— Не горит, — мрачно сказал Меер, — успеется.

Он спустился с крыльца и сразу же пропал, стал невидим. Тьма была такая густая и плотная, что казалось ее можно рубить топором. Только слышно было, как они шагают оба: Антон и Меер. Антон не спеша и твердо ставит ноги, а Меер семенит, догоняет.

Вдруг где-то на Пробойной загорелся огонек. Огонек вспыхнул и потух и раздался долгий оглушительный свист. И опять загорелся огонек.

— Косой, — сказал Степа, — карнач.

Бер приложил к губам свисток и ответил таким же переливчатым, как бы захлебывающимся свистом. Все в порядке, карнач! Все на месте!

Вскоре появился и сам Леша, шумный, запыхавшийся, шапка набекрень, в руке карманный фонарик. Леша был не один. За ним, как тень, ходил помнач, молчаливый, губастый Мота, а сбоку, то залетая вперед, то отскакивая назад, шаром ка-

тился Сонин — учитель местной школы, круглый жирный человек, лысый, краснощекий, в бархатных шароварах и в чесучовой толстовке, крепьш, обжора и болтун.

Удивительный это был человек, Сонин. Купаться он ходил верст за десять от Славичей, озеро нашел, по его словам, целебное. А то и так: пойдет шататься по большим и малым дорогам и пропадет на неделю, на две. Хлебом накормит встречный мужик, воды напьется в ручье, поспит в лесу, во мху, на полянке. Вернется и, не заглядывая домой, сразу же в школу: «Ну-с, сверчки запечные, на чем мы третьего дня остановились?» «Не третьего дня, а две недели тому назад», — поправит его кто-либо из учеников побойчее. «Что ты, братец? — искренно удивится Сонин, — неужели две недели? Да все равно. Валяй». Но едва начнется чтение, как Сонин упадет головой на стол и захрапит на все Славичи. Чудак человек.

Легко помахивая суковатой дубинкой — а в дубинке без малого полпуда — Сонин катился рядом с Лешей и без умолку тараторил. Слова у него изо рта вылетали такие же жирные и круглые, как он сам. Не слова — лепешки.

— Вам, коммунистам, этого не понять, — продолжал он ранее, по-видимому, начатый разговор, — вы человека сушите, как сушат глину на кирпичи. Вся влагу из него вон. «Партийный человек». «Классовый человек». А я говорю — «Просто человек». «Просто человеку» что надо? Налопаться, чтобы быть сытым, выпить, чтобы быть в духе, — человеку, коллега, влага нужна, не думай — надо ему поработать сколько там требуется, а затем развалиться на лугу, под солнцем и, задрав ноги, зубоскалить с приятелем. И все. Конец. Остальное к нему приспособили. «Классовая борьба». «Классовая ненависть». Чепуха, коллега. Человеку важно одно — чтоб его не трогали. «Не лезь ты ко мне — и я тебя не трону», — вот что «просто человек» хочет. А вы и то, и се, и третье, и десятое. Ерунда, братец. Сочиняете...

— Так что же по-вашему — человек? — кричал обозленный Леша, — скотина? вол? Час пахал — и на травку? Так?

— Во! Во! — восторженно подпрыгивал Сонин — «час пахал и на травку», святая правда, коллега. А вола ты напрасно хаешь. Чудесная скотина. Добродушная. Благородная. Но человек не хуже, не-ет, не хуже. Добродушней и благородней человека нет. Поверь, братец. Только дайте ему волю. Дайте ему жить как хочется — и увидишь...

— Это какому такому человеку? — кричал Леша. — И буржую? и бандиту? Видали! Вот «зеленые» вольно живут. В поле. В лесу. А каковы пташки?

— Чем плохи? Чем плохи? — наскакивал на Лешу Сонин, — чудесные парни. Жрут, пьют, на гармошках играют...

— И режут, — мрачно подсказал Мотэ.

— А вы их почему расстреливаете? — набросился на него Сонин. — Вы к ним добром попробуйте и увидите, что за человеки...

— А ты пробовал? — грубо сказал Мотэ.

— Нет, не пробовал, но...

— Ну и молчи!

Подошли к крыльцу больницы. Леша пошарил фонариком и спросил важно, начальство же:

— Все в порядке?

— В порядке.

— Меер где?

— Тут по одному делу пошел, — проворчал Бер. Он не хотел при чужом, при Сонине, рассказать об Антоне. — А у вас как? Благополучно? — спросил он.

— Благополучно, — сказал Леша, — вот одного гражданина задержали, — он показал на Сони́на. Сонин при этом стукнул дубинкой об пол и захохотал, — блондает как неприкаянный по улицам и песни орет. Ну, на бандита не похож. Отпустили мы его: «идите, говорю, домой». А он не хочет, теории тут всякие размазывает. Слыхал?

— Слыхал, — сказал Бер.

— Очкастый сегодня говорил батьке что-то вроде, — сказал Степа, — тоже все «клетка да воля».

Сонин заинтересовался.

— Это кто такой? — спросил он. — Очкастый-то?

— Да.

— Также прохвост, — ответил за Степу Бер. Сонин опять захохотал.

— Это как понять «тоже»? — сказал он. — Я — прохвост и он тоже. Так, что ли?

— Как хотите, так и понимайте, — жестко сказал Бер.

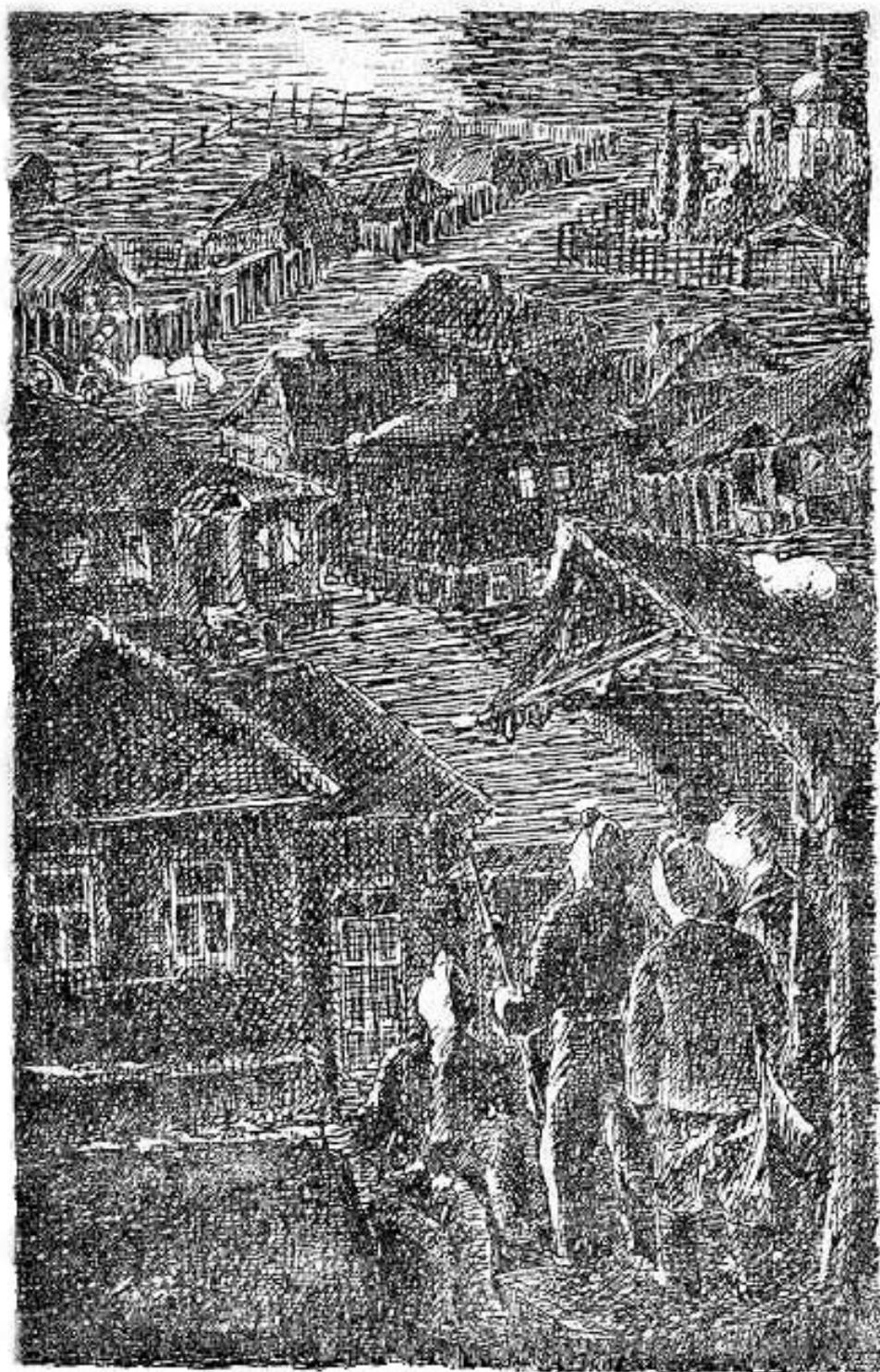
Вернулся Меер.

— К дьяку пошел, — доложил он.

— Арестовать ба его, — сказал Никита.

— Это кого же, ребята? — спросил Леша.

— Так, — сказал Бер. — Человека одного, — и тихо Леше:  
— Был на почте?  
— Был.  
— Связи нет?  
— Нет.  
— Плохо.  
Помолчали.  
— Спровадь-ка этого олуха, — шепнул Бер Леше, — поговорить надо.  
— Так вот, гражданин Сонин, — громко сказал Леша. — Спор наш мы продолжим завтра. Идет? А теперь отправляйтесь временно до дому. Не полагается ночью по улицам ходить. Вредно.  
Сонин фыркнул.  
— Это мне-то вредно? — сказал он и стукнул себя кулаком в грудь, — ого!  
— Вредно не вредно, а идите домой, — строго сказал Леша, — а то придется вас до утра под арест. Поняли? Ну до свиданья.  
Сонин, разговаривая сам с собой и посмеиваясь, ушел. Леша сел.  
— Яна видел? — спросил Бер.  
— Он у Губарева, — сказал Леша, — совещаются.  
— К организации пока не приступили? — спросил Бер.  
— Где там? — сказал Леша. — Глушь. Полночь. Приступим с утра. Как посветлеет, махнем до дому, — час, другой поспим, а там приступим.  
— Наших-то собрать — дело плевое, — сказал Меер, — беспартийных, главное, сколотить и вооружить. Вот что.  
— Сколотим, — сказал Бер, — «низ» я беру на себя. Там, верно, мало кто остался, а уж кто есть, тот сам побежит. Ты, Степка, на слободе у себя пощупай. С Федором поговори, из комбеда который. Он парень хороший.  
— Оружия надо, — хмуро сказал Никита, — народ я и у себя, в Самсоновке, подберу. Беднота-то пойдет, кабы оружия дать. А то они: «Куды, мол, с дубиной против пулемета? Башку отхватит и аминь».  
— Оружие будет, — уверенно сказал Бер. — Уре достанет. Будь спокоен. Раз сказал — достану, достанет. Ясно.  
— Значит так, — сказал Леша, — часов в пять можно домой на боковую. Потом за дело. Смены не дам. Ребята нужны будут все. Опасаться, видать, пока нечего. Бандиты, коли Када-нер не спутал, еще далеко. Ну, Мотэ, потопали.



Близился рассвет. Посвежело. Снова подул ветер. Но темнота не поредела. Как всегда перед рассветом, темнота еще сгустилась, окаменела. И вдруг далеко в поле встало огромное пламя. Пожар. Даже над Славичами — а пожар был верст за десять, не ближе — небо побурело и сделалось тяжелым, как свинец. Значит, сразу занялась целая деревня. До местечка не доходили ни треск огня, ни вой погорельцев. Была тихая черная ночь и в ночи стояло огромное зарево. Караульщики, собравшись в кружок, долго смотрели на пожар. Никто не сказал ни слова. О чем тут говорить? И так все ясно.

— Сволочи, — процедил наконец Бер, — бандитьё!

— Думаешь — они? — тихо спросил Степа.

— А то кто же? — сердито буркнул Бер, — Георг Вашингтон?



## Глава четвертая

### БАНДИТЫ

Степа крепко закрыл глаза. Пожар неожиданно приблизился вплотную. От огня шел дым и глазам было больно. Вокруг огня суетились люди. Они таскали на плечах домашний скарб и были похожи на горбатых. Мужчины кричали и ругались, а бабы выли тонкими голосами, по-собачьи. Вдруг кто-то забил в колотушку, дробно и четко: тк-тк-тррр. Степа, не видя, знал, что это Маркелл, базарный сторож, долговязый старик с зеленой болотной бородой. «Ты чего, Маркелл?» — сказал Степа, — брось!» Но старик только пуще разошелся. Звон стоял в ушах от его неумолчного треска. «Уймись ты, холера!» — крикнул Степа и проснулся.

Было утро. Через окно в хату врывается солнце. Оно ослепляло и жгло. Топилась печь. Около печи неторопливо ходила мать, Ганна. Осипа не видать было, то ли он был на дворе, то ли в Славичах. А с улицы доносились крики и непрерывная трескотня.

Степа стоял посреди хаты, заспанный, взъерошенный, в измятой рубахе, — он спал, не раздеваясь, — и старался понять, что за крики и что за треск. Глаза сами собой смыкались, до черта хотелось спать — сон сливался с явью и Степа не знал, снится ли это или действительно пожар. И в то же время ему было ясно: нет, не пожар, что то другое. Но что?

— Что там, а? — осипшим от сна голосом спросил он мать.

— А где жа? — певуче сказала Ганна.

— На улице?

— А стреляют жа, — сказала Ганна.

Степа очухался мигом, словно его водой окатили.

— Кто стреляет? — тревожно сказал он.

— А лях жа их знает, — равнодушно пропела Ганна, — бандиты, што ль.

Вот так да! Б-ан-ди-ты! — А отряд? Эх, ты!

— Давно? — быстро спросил он.

— Что жа? — сказала Ганна.

— Давно стреляют, ну?

— А недавно жа, — сказала Ганна, — с полчаса, што ль.

Так и есть. Засыпали. Степа пощупал карман — наган тут, есть наган. Но кто стреляет? Бандиты? Бандиты, конечно. Но в кого? Или успели ребята? Или Уре вернулся? Да, нет, навряд ли. Рано ему. Эх-ма! Что делать-то? А?

— В Славичах? — отрывисто спросил он.

— Чего? — не поняла Ганна.

— Бандиты уже в Славичах?

— А лях жа их знает, — сказала Ганна, — тама будто.

Степа одним духом вылакал кружку холодной, как лед, воды, пустую кружку кинул в угол и, как был, без шапки, невытый, взлохмаченный, выскочил на улицу. Ганна нашла кружку, поставила ее на стол и удивленно сказала: «Ти ошалел ты, Степка?» Но, оглянувшись, увидела, что хата пуста, что Степы нет. И тут впервые в это утро Ганна испугалась. Она кинулась к окну. — «Степа! — закричала она, — Степа!» Никто не откликнулся. «Степа, где жа ты? Сте-па!» Ни звука. Тогда Ганна тяжело опустилась на лавку, закачалась, как маятник, из стороны в сторону и тягуче завывала: «Степка! Сыночек мой родненький! А куда жа ты? А убьют жа тебя! Степ-ка!»

Курица в сенях ответила на вой заботливым бормотанием, залопотала что-то. Она стала на порог и, не мигая, долго смотрела на Ганну круглыми глупыми глазами. И вдруг, встревоженная чем-то, шумно захлопала крыльями и закудаhtала беспокойно и хрипло с частыми трубными криками.

А Степа стоял у ворот, не зная, в какую сторону повернуть. Стрельба доносилась с разных концов Славичей. Одно время и на слободе где-то палили. Но сейчас тут угомонилось. Было раннее утро. Улица — в тених и солнечных бликах — была пустынна. Люди спрятались в домах, закрылись ставнями и заложили двери крепкими засовами. Но из местечка на слободу шли крики и грохот и эхо нестройных залпов. В Славичах шел бой. Но с кем? Ведь ничего же нет! Ни отряда, ничего. Ребята же спят после дежурства. А Каданер еще не вернулся, не мог он так скоро вернуться. Не успеть ему. Отчего же такая пальба? В кого это они, сволочи?

Скоро Степа увидел — в кого. По дороге вдруг затарахтела телега, затопали кони и с поля через слободу к мосту в облаке пыли пронеслась двуколка, запряженная парой. С двуколки стрелял пулемет. Слобода была как вымершая, кроме Степы не было ни души, а пулемет все же стрелял безостановочно. Несдобровать бы Степе, скосила бы его пуля, если бы он вовремя не догадался пригнуться к земле. Пули рассыпались вее-

ром во всю ширину улицы. На землю, кружась, падали сбитые ветром листья тополей и берез.

«В безоружных стреляют, гады — с мрачной злобой подумал Степа, — измываются».

Сам толком не понимая, что делает, Степа пустился бегом за двуколкой, в Славичи. Он знал одно: надо найти кого-нибудь: Яна, Лешу, Бера, все равно кого. Надо что-то узнать, что-то сделать. Так же нельзя! Но, добежав до моста, он остановился. На берегу в кустах лежал кто-то и вопил как полумертвый: «О-о-у-у!» Это была женщина, старуха, Степа ее знал — Акулина, гончара Якова жена. Ее ранило в ногу, в икру правой ноги, навывлет. Рана была неопасная. Но старуха исходила предсмертным звериным воем. Она лежала на спине, раскинув руки, зажмурив глаза, вопила и в промежутках скороговоркой причитала: «Ой, смертушка моя пришла! Ой, православные! О-о-у-у!»

— Тише, бабка, тише, — сказал Степа, — не помрешь ты, не бойсь. Ти-ше, ну!

Но старуха, не открывая глаз, не глядя на Степу, не замечая его, никого и ничего не замечая, продолжала вопить истошным голосом и в промежутках скоро-скоро причитала: «Ой, православные! Ой, смертушка моя пришла! О-о-у-у!»

Степа осмотрелся: еще бы кого, а то одному не дотащить ее до хаты. Но никого. Пустынный берег. Безлюдье. Как в лесу. Вот народ! Он забарабанил в ставень ближайшего дома:

— Эй, открой!

На стук ответил испуганный топот: «Кто там? Чаго?»

— Открой, — крикнул Степа, — подсобь дотащить ее до хаты.

— Кого? — спросил голос.

— Акулину, гончариху. Раненая она.

— А пуцай, — сказал голос, — все равно ей подыхать. Старая.

— Чтоб тебе, холере, самому издохнуть! — сердито крикнул Степа, плюнул и отошел.

Он вернулся к старухе и удивился. Акулина уже не лежала пластом, не вопила и не причитала. Приподняв ногу, она аккуратно и хозяйственно перевязывала рану головным платком.

— Поможь-ка, сынок, встать, — попросила она Степу, когда он подошел. Степа, понатужившись, — старуха была толстая, пятипудовая, — приподнял ее и поставил на ноги.

— Довести? — сказал он.

Акулина нерешительно сделала шаг.

— Не надо, сама я, — проговорила она.

Чуть помедлив, старуха вдруг ринулась вперед и так прытко, хоть молодой и здоровой впору, заковыляла к хате, что Степа только рот разинул. Ну и старуха! Дуболом!

Пока Степа возился со старухой, он решил, что не стоит ему сейчас соваться в Славичи: — «Подожду,—решил он, — один-то я что? Что я один сделаю? А поймают — укокошат. Зашибут, как щенка».

Степа пошел домой. Он торопился, — скорее, скорее, а то на кого-нибудь нарвешься. Однако, пройдя шагов двадцать, он замедлил шаг. Остановился. Постоял, подумал и круто повернул назад, к мосту. Плевать! Что со всеми ребятами будет, то и с ним, со Степой. А дезертировать и трусить не годится. Не годится, парень, дезертировать. Плевать!

Трескотня, ненадолго затихшая, возобновилась снова. Она все приближалась. Сухие выстрелы рвались уже в приречном переулке по ту сторону моста. Вдруг из переулка вынырнул человек, невысокий, коренастый, в белой рубахе враспояску, без шапки и босой. За ним, пригнувшись к шее коня, несся бандит в бурке, с небритым щетинистым лицом, с выпученными круглыми глазами, весь колючий, как еж. Рядом мчался второй бандит, молодой паренек, озорной, чубатый хват. Он на скаку гикал и размахивал обнаженной шашкой. Сталь на солнце сверкала, как молния.

Человек бежал не спеша, он, видимо, берег силы. Держа руки, зажатые в кулаки, на уровне груди, он мерным шагом, — хоть бандит в бурке был уже близко, — поднимался на мост. Степе человек показался знакомым. Где-то он его видел. Но человек опустил голову и его трудно было узнать. И только заметив впереди Степу, человек резко вскинул голову. Степа его узнал. Губарев! Продком!

А Губарев, должно быть, не узнал Степу. Он метнулся в сторону, быстро и зорко, по-волчьи, оглянулся — догоняют! Капут! Но, не ускоряя шага, неторопливо добежал до перил. Он ухватился за перила руками, оттолкнулся от моста и повис над рекой. Бандит в бурке проскочил мимо, — не остановить было коня. А чубатый с размаху рубанул шашкой. Сталь со звоном врезалась в дерево, не причинив Губареву никакого вреда. Он вовремя разжал пальцы, пролетел сажени две в воздухе и с плеском бухнулся в воду.

Бандиты спешили. Зычно ругаясь, они суетились на мосту, свешивались через перила, глядели в воду: не выплывет ли? В одном месте, где было сильное подводное течение, образовалась воронка. Степа знал это место, не раз купался тут. Но чубатый решил, что это комиссар. Он сорвал с плеча винтовку и, не целясь, выпустил в воронку всю обойму. Вода фонтаном рассыпалась от пуль, а Губарева не было. Утонул, что ли?

— Утоп, тудыт его растуды, — прохрипел бандит в бурке, — а говорят, дерьмо не тонет.

— У ниго от комиссаровой жратвы жилудок тижолый, на дно тянит, — голосисто крикнул чубатый и сам первый захотал.

— Отъелся, паскуда, — сказал бандит в бурке, — гладкий кабан.

Губарев выплыл. Хороший, верно, был пловец. Он вынырнул далеко от моста и плыл так же размеренно и не спеша, как перед тем бежал.

— Гляди, Митрей! Плыветь! Плыветь, раз его в дуло! — закричал чубатый. — Стрели! Стрели, ну!

Бандит в бурке прицелился и выстрелил. Голова Губарева скрылась под водой. Наверяд ли его задела пуля. Он, должно быть, решил укрыться так от огня. А то уж больно цель завидная — темная голова на светлой реке, тут и левша подстрелит.

Чубатый вмиг вскочил на коня.

— Не уйдешь! Врешь! Врешь, сука! — цедил он, торопливо оправляя седло, сползающее вбок. Но бандит в бурке его оставил.

— Брось, — лениво сказал он, — делов и без него много, а комиссаров хватит. Не скули.

Он бережно обеими руками снял с головы шапку и вытряхнул себе под ноги лист бумаги, сложенный в четвертушку. Подняв и развернув лист, он медленно по складам стал читать.

— Бе-бе-бер Ге-ззи-ин. Имечко, трясци его матери, — сказал он чубатому, — подавишься.

Чубатый свесился с коня и сочувственно кивнул.

— У них, у жидов, имена тижолыи, — серьезно сказал он, — Шмерка, да Берка, да Тудрес. А где живет написано?

— С и н а г о г а л ь н а я у л и ц а, — прочел бандит, — леший ее знает, улицу-то эту. Спросить бы кого.

Степа все время стоял на мосту, плотно прижавшись к перилам и стараясь занимать возможно меньше места. Дернула

же его нелегкая повернуть в Славичи и вступить на мост как раз тогда, когда на мосту показались бандиты. И вот теперь стой, как пугало, не дыши, не моргай — заметят, а заметят — плохо. Обыщут: «А, наган? Откуда наган? Нашел? Знаем, как нашел. Бабушке расскажешь на печке. А пока идем-ка с нами до атамана». Эх ты, Степа! Засыпался ты, парень! Пропал!

— Леший ее знает, эту улицу, — сказал бандит в бурке, — спросить бы кого.

Он обвел вокруг выпуклыми мутными глазами. Это кто там стоит? Паренек, кажись.

— Э, браток, — негромко позвал он и поманил Степу пальцем.

Степа похолодел. Готово! Каюк! Он сделал вид, что не слышал и не пошевелился. К нему подъехал чубатый.

— Паренек, слышь, — сказал он мирно, — тебе.

— А? Что? Меня? — Степа усиленно моргал, как бы не понимая, — меня? Да?

— Тебе. Тебе, — Чубатый носком сапога подтолкнул Степу в спину, — иди.

Бандит в бурке, глядя на Степу в упор, сурово спросил:

— Грамотный?

— Н-да.

— На, читай, — он ладонью прикрыл лист таким образом, что видна была только одна строчка, — читай. Что тут написано?

Когда бандит заговорил, на Степу дохнуло чем-то затхлым и кислым, — перегаром самогона, что ли. Степа слегка отодвинулся. Бандит это заметил и рассвирепел.

— Ты чего, сукин сын? — рявкнул он, — читай!

Слова на бумажке были написаны замысловатыми, полуславянскими буквами, вязью. Писал, видно, поп или дьяк.

— Бер Гезин, — прочел Степа.

— А улица?

— Синагогальная.

— Значит так, — сказал бандит.

Надвинув шапку на лоб и откинув полу бурки, бандит сел на коня.

— Веди! — коротко приказал он.

## Глава пятая

### ВИСЕЛИЦА И ПУЛЕМЕТ

Степа не шел, его вели, как ведут пленного: справа ехал бандит в бурке, слева чубатый. Степа все боялся, как бы не наехали конем. Руки он держал в карманах, а то уж очень оттопыривался наган.

В приречном переулке — переулок был узкий и недлинный — восемь домов, — им преградила дорогу тележка-двуколка. На тележке стоял пулемет. Ни возницы, ни пулеметчика не было поблизости. Но в доме рядом слышны были раскаты могучего баса и визгливый говорок женщин. Потом оглушительно загоготал гусь. Открылась дверь и в пролете, головой касаясь притолка, появился рослый бородатый человек в галифе малинового цвета, в черном бушлате, весь обвешанный пулеметными лентами. За ним, громыхая деревяшкой, вышел возница, скуластый, узкоглазый, похожий па калмыка. Одноногий держал под мышкой живого гуся. Женщина, до самых глаз обвязанная теплым платком, плача и повизгивая, высунулась в окно. Но бородач, полуобернувшись к окну, так грозно цыкнул, что женщину словно ветром сдуло.

— Ладно хозяйничаешь, — одобрительно сказал бандит в бурке.

— А то как же? — громовым басом ответил бородач, — с ними по-другому нельзя. Дуры!

Одноногий положил в тележку гуся, сел сам и предложил бородачу сесть.

— Седай, Опapas, — сказал он дребезжащим, как старые стенные часы, голосом, — седай, боров, чтоб те околеть.

Бородач усмехнулся.

— Опять, Анютка, лаешься? — сказал он добродушно, — гляди у меня, хромой черт, а то как стукну.

— Врешь, бродяга, не стукнешь. — Одноногий лениво распутывал вожжи.

— Силы, думаешь, не хватит?

— Силы-то хватит. Ого!

— А почему не стукну?

— Духу, милок, не хватит. Дух в тебе слабый. Курица.

Бородач беспомощно развел руками и обратился к бандиту в бурке.

— Как тьявкает, пес? — сказал он удивленно, — что скажешь? А?

— Вправду, стукни, — посоветовал бандит в бурке.

— Пробовал, — бородач досадливо отмахнулся, как от мухи, — не помогает.

Ворча себе под нос, он полез в тележку.

— Чего, боров, бурчишь? — сказал одноногий, — живот болит или молитву читаешь?

В ответ бородач, встав на тележке во весь рост, так зычно гаркнул: «Гони, Анютка!», что одноногий ошалело подался в сторону и выпустил вожжи, а кони в испуге подпрыгнули, потом рванули с места и понесли. Тележка завернула за угол и пропала. Только пыль клубилась по улице.

— Теплые ребята, — сказал чубатый, — веселыи.

— Опанаса-то я знаю давно, — сказал бандит в бурке, — вместе в гусарах служили, а одноногого не видал. Новый человек.

— Должно, из «зеленых», — сказал чубатый, — их теперь к нам привалило прорва. Ты чего? — заорал он вдруг на Степу, — по рылу хошь? Назад!

Степа, пока бандиты переговаривались, медленно, шаг за шагом, отступал к мосту. Шага четыре он уже сделал, оставалось до угла шагов семь. Степа руками, ногами, спиной, корнями волос на голове знал одно: надо дойти до угла, до угла. Что будет затем, он не думал. Важно было одно — доползти до угла. Лишь бы дойти. А там хоть что, хоть из пушки пали. Там-то уже не страшно. Удерет. Лишь бы дойти!

— Ты чего? — крикнул чубатый, — назад!

Степа сник. Сутулясь, он уныло вернулся и стал между чубатым и бандитом в бурке, выжидая, что будет.

А было вот что: чубатый наклонился, посмотрел Степе в лицо, подмигнул ему и, показывая ровные белые зубы, захотал:

— Сигануть вздумал, а? — кротко и весело сказал он.

Степа молчал.

— Что ж, браток, — так же ласково продолжал чубатый, — воля твоя, конешно. Валяй. Шамать, може, захотелось? А то, може, предупредить кого, а? Ему, Митрей, к матке захотелось. Отпустим его? А? — Он, улыбаясь, смотрел то на Степу, то на бандита в бурке, — отпустить тебя, браток, а?

— Ну, отпусти, — тихо сказал Степа.

— Сичас.

Бандит расстегнул желтую кожаную кобуру, прицепленную к поясу, и вытащил новенький револьвер. Он повернул один раз барабан, — барабан сухо щелкнул, положил на курок указательный палец и наставил револьвер Степе в спину, между лопатками.

— Валяй, — благодушно сказал он, — иди.

Степа не двинулся.

— Расхотелось? — как бы недоумевая, сказал чубатый, — ишь ты! Расхотелось ему, Митрей, к матке, — сообщил он бандиту в бурке. — Ну, добре. Коли так, то веди. П-шел! И запомни, с-стерва! — чубатый ощерился, как волк, — ты скок, а я в бок. Понял? П-шол!

От приречного переулка до Синагогальной улицы ходу было минут пять. Но Степа повел бандитов окольным путем. Ему надо было выиграть время. Авось, удастся как-нибудь смыться. Чем ближе подходили к базарной площади, тем чаще начали попадаться бандиты, в одиночку и группами, на тележках и верховые. Славичи занял, должно быть, крупный отряд, сабель в триста-четырееста. Среди бандитов встречались всякие люди: и юнцы, и старики, чужаки и местные, «зеленые» в расшитых рубахах и домотканых портках, военные в офицерских кителях, в гусарских накидках, один — в драгунской шинели, другой — во френче, третий — в куртке с котиковым воротником. Но все, даже «зеленые», были хорошо вооружены. Особенно много было пулеметов на тележках-двуколках. Бандиты без видимой цели носились взад и вперед по опустевшим улицам местечка. Мирных жителей не видеть было. Только два-три человека толкались среди бандитов, нашептывали им что-то и таинственно показывали пальцами. Бандиты тотчас начинали в указанном направлении стрелять. Среди «шептунов» Степа увидел человека с мелким крысиным лицом, в теплом ватном пальто — дьяка славичской церкви. Дьяк ловко лавировал среди тележек и коней, то сгибаясь в три погибели, то подымая на цыпочки свое хилое, тщедушное тело. Надрываясь в кашле, брызжа слюной, захлебываясь, он останавливал того, другого бандита и выкладывал им тайные какие-то сведения и робкие просьбы. Иной бандит слушал его внимательно и кивал головой в знак того, что понимает и запомнит, иной отмахивался и ехал дальше. К удивлению Степы, пьяных попадалось мало. И грабежа пока не было. Бандиты выжидали. Чего? Степа не понимал. Приказа, что ли?

— Э, ты, киса, — сказал бандит в бурке, — скоро?

— Скоро, — ответил Степа, — сейчас.

— П-шол! п-шол! — торопил чубатый.

«По Пробойной или по Дубровской? — думал Степа. По Пробойной, — решил он, — там народу больше».

Действительно, народу на Пробойной было много. Народ тот же все, конечно: бандиты верхом или бандиты на двуколках. Но Степа недолго шагал по Пробойной. Он вдруг остановился как вкопанный. Ноги сделались точно чужие, деревянные, никак их, проклятых, с места не сдвинуть. Разинув рот, выпучив глаза, Степа стоял и смотрел на столб у почты. Это был обыкновенный телеграфный столб, каких тысячи: потемневший от времени, с коротким, толстым подспорьем сбоку. Но на столбе медленно раскачивался человек. Труп. Труп висел к Степе спиной и не разглядеть было, кто это. Сапоги с него сняли, голые ноги склонились одна к другой, почти касаясь пальцами, а коричневая рубаха задралась вверх, обнажив крепкое загорелое тело. Ветра не было, но труп все же медленно раскачивался.

— Чего? — опять крикнул чубатый — п-шол!

— Кто это? — срывающимся голосом спросил Степа.

— А тебе што? — ехидно сказал чубатый, — родня он тебе или хто? Братан може? А?

Бандит в бурке почесал колючую щетину на подбородке и рассудительно заметил:

— Вздернули комиссара и ладно, — сказал он, — жидом меньше стало. Им, пархатым, так и надо. А не все ли равно, кто: Ицка или Хацка? Один черт. Верно?

Он нахлестался еще с утра, бандит в бурке, но разбирать его только сейчас начало. Пьянел он чудно: то станет добродушно-словоохотливым, как девяностолетний дед, то серьезно-рассудительным, как умный отец. Это было непохоже на него и смешно. После того, как он по-отцовски серьезно объяснил Степе о комиссарах, на него нашла словоохотливость доброго деда. Он скреб небритый подбородок и говорил, ни к кому, собственно, не обращаясь, а так, не то про себя, не то всем добрым людям вообще.

— Мы их, комиссаров-то, ротами резали, — невнятно, будто со сна, говорил он, — выстроишь их, как на параде, босую команду, — сапоги-то мы снимали, чего им пропадать, сапогам-то? — и скажешь им, бывало, по-сердешному скажешь: «Молитесь, сволочи, богу, перед смертью-то хоть помолитесь».

Тут кто как: кто молчит, сумный, сволочь, пальцы от обиды кусает, а молчит, а кто лается, кроет нас, паскуда, нехорошими словами: «бандиты, дескать, палачи». Хватишь его по голове наганом — угомонится. А на остальных пулемет наставишь — и под гребенку. Так-так-так-так. Чисто. А могила-то готова. Сами себе, голубчики, могилу рыли. Мы по-ихнему, по-камунистически, делали: «кто не работал, тот и не лопай». Верно?

— Иди к лешему, — недовольно проворчал чубатый, — чего распелся?

— Ты, Гришка, меня лешим не пугай, — бандит в бурке ткнул себя в грудь большим пальцем. — Я и сам может лешему брат. Во! Кумовья мы с ним, детей у ведьмак крестили. Во! — Он захихикал. — Я его, хрена, в бороду целовал, а он по мне хвостом шелкал. Ги-ги-ги.

— Оно и видать! — крикнул чубатый и захохотал.

Бандит в бурке круглыми, как у совы, глазами уставился на чубатого. Он окончательно осоловел.

— Что видать? Ничего не видать, — бормотал он, — ничего, браток, не видать. Ни черта. Бреешь ты все, Гришка. Собака ты, псина, а не друх. Что видать? Ну? Ничего не видать. Ни черта.

Он клюнул носом, очухался и забормотал опять:

— Видать... видать... что видать? Ничего не видать.

Он опустил поводья, подбородком прижался к бурке и задремал. На счастье, конь у него был смиренный, не то бы он давно свалился.

А чубатому надоело наконец без толку кружить по улицам и переулкам.

— Ты нас, сука, куды завел? — сказал он. — Где она улица твоя, ну?

— Вот она, — сказал Степа.

Синагогальная улица — холмистая, кривая — была рядом. На углу стоял огромный дом, домина, с высоко прорубленными узкими окнами. Синагога. И странно: по Пробойной, на слободе, везде и всюду люди наглухо закрыли ставни, заперли двери и засели на всякий случай в подполье. А в синагоге было битком набито, окна распахнуты, дверь настежь. Старинное обыкновение, средневековое: в часы тревог, смут, погромов забираться всем миром в синагогу и смерть встретить не в одиночку, а вместе. В синагоге молились. Молились громко, с завыванием, с криком. Женщины плакали.



Бандит в бурке даже проснулся от этого многоголосного гула. Он посмотрел на синагогу, сплюнул, — плевков пролетел недалеко, зацепился за бурку и повис, — и сипло пропел:

— Ай-вай-мир, что за командир.

Степа видел, как со стороны Пробойной к синагоге подкатила двуколка. Возница придержал коней, а пулеметчик, ражий парень в желтых ботфортах, спрыгнул наземь и крикнул:

— Эй, жида! Расходись! Чуете? Расходись, говорю!

Его голос потонул в гуле, который несся из раскрытых окон синагоги. Пулеметчик повторять не стал. Он просто залез на тележку, направил пулемет стволом в дверь синагоги и открыл огонь. Пулемет затакал, а в ответ из синагоги послышались дикий вопль, стоны, рев. Казалось, само это громадное и древнее здание заревело в ответ. Тогда пулеметчик перестал стрелять.

— Ага! — торжествующе крикнул он, — поняли, дьяволы? Катитесь колбасой отсюда! Ну!

Толпа пароду, напирая друг на друга, давя друг друга, — толпа была большая, а дверь была узкая, — хлынула вон из синагоги. Женщины высоко над головой держали детей, дети хныкали и орали. А мужчины, одни старики, сомкнувшись в тесный круг, волокли раненых. Эта человеческая лавина подхватила Степу, закрутила его, как водоворот, и понесла. А Степе только этого и надо было. Пока чубатый, теснимый толпой, выбрался на простор и, ругаясь почему зря, кликал Митрия, Степа был уже далеко. Он залез куда-то во двор, заросший высокой травой и крапивой, растянулся в тени под навесом, свернул козью ножку и задымил. Он был доволен. Повезло ему на сей раз, ох, повезло как! Все равно, к Беру Гезину он бы их не привел. Предателем он, Степа, не был и не будет. Не такой он, Степа, человек. Да. А вот пристукнуть могли. Верно. Чубатый уложил бы его в два счета. Ему, гаду, что? Жалко, что ли?

Пойду на слободу, — решил Степа, — Федора разыщу. Это не дело сидеть так. Это, брат, никуда.

Он притушил окурок, воткнув его горящим концом в землю, встал, отряхнулся и, озираясь, осторожно вышел за ворота. И не по улице, а задворками, огородами, по пустырям, по полям, стрелой, не чуя ног, побежал в слободу.

## Глава шестая

### ВОЛЬНЫЕ ШТАТЫ СЛАВИЧИ

Федора Степа нашел в овине. Овины на слободе стояли далеко от хат, в поле. Федор, лохматый и смешливый парень, прислонившись к двери, запрятав руки в карманы штанов, без шапки, стоял и курил цыгарку. Увидев Степу, он лениво протянул:

— Что, космогол, скажешь?

— Ничего не скажу, — ответил Степа, — плохо.

— Душа-то где? — спросил Федор и, хлопнув себя по левой ноге, добавил: — в пятки ушла? А?

— Ну тебя, — сказал Степа, — брось дурака валять. Видал, что делается?

— Видал, — Федор выплюнул окурок и захохотал, — бандиты приехали.

— Зубы-то чего скалишь? — обозлился Степа, — вот подстрелят, так посмеешься. Дурня.

— Ага, — согласился Федор, — подстрелят, дык посмеюсь.

Степа, не отвечая, повернулся, чтобы уйти.

— погоди, — сказал Федор, — куды спешишь? На тот свет спешишь?

— Иди к лешему, — сказал Степа, — я за делом пришел, а он ги-ги, го-го.

— Постой ты, космогол, — примирительно сказал Федор, — посиди, коли пришел.

Он сел на траву и жестом пригласил и Степу сесть.

— Садись.

Степа сел.

— Ну, говори, — сказал Федор.

— Что говорить-то? — сказал Степа, — не видишь сам, что ли?

— Вижу.

— Так чего спрашиваешь?

— А мне интересно бы знать, — не спеша проговорил Федор, — где это вы, комсомольцы, были, когда бандиты в город приехали? На свадьбе гуляли или как?

— «Где были?» — передразнил Степа. — Ночь на карауле стояли, — вот где были. А потом отдохнуть-то час надо? Ну вот. А с утра мы думали отряд организовать.

— Какой отряд?

— Ну, боевой отряд, из партийных, из комсомольцев, из бедноты которые. Думали — успеем. Бандитов ведь скоро не ждали.

Федор настороженно оглянулся.

— Ты потише говори, — сказал он, — чуешь, в Славичах как палят? Скоро и сюда припрутся.

Он вдруг встал.

— Идем-ка в овин.

В овине он заговорил шепотом и быстро.

— Когда собрались-то, а? — зашептал он сердито, — а раньше что думали? О бандитах знали? Уж мне наши слободские многие говорят: «Чего это, говорят, камунисты отряд не собирают? Бандиты ж, говорят, близко». А я молчу: погодим, Федька, думаю, посмотрим, что они. Вот и погодили. А кулаки-то не годили. Хвилат да Кузьма уж давно перебегли к «зеленым». Мишка Солодков уже две недели с ними. Антон Микитенко, тот готовился. И дьяк готовился и другие. А вы что? «Погодим!»

— Еще не поздно, — сказал Степа.

— Как же! Самое время! — буркнул Федор.

— Все равно ж оружия у нас не было, — сказал Степа, — оружие только сегодня будет. А насчет время — это можно еще и сегодня.

— Трудно это, — проворчал Федор.

— Трудно, да можно, — сказал Степа, — а к ночи Каданер вернется, оружие доставит и подмогу приведет. Главное — быть нам готовым, вот что. Давай толком обсудим — с кем из наших слободских договориться надо. Ну вот, я да ты, да Егор, да Васька Кривошей. Еще кого?

— Еще Андрея надо, — сказал Федор.

— Пятеро, — сказал Степа, — еще кого? Андрон как?

— Уж не знаю, — сказал Федор, — он мужик хитрый — и так и этак. Я думаю вот что: уж коли до этого ждали, так погодим еще немного, нехай бандиты себя покажут как следует, а то многие мужики сомневаются. Ну, а после того пол-слободы пойдет за нами. Ты, Степа, вот что, ты ко мне вечерком заходи. Я тут пока пошукаю, поговорю с кем надо. Тебе-то ходить опасно, ты комсомолец, заметят, а мне ничего. Ты вечером заходи. Когда темно будет. Я тебе тогда скажу. Ладно?

— Только гляди, — сказал Степа, — осторожнее, а то ведь знаешь — как?

— Ладно уж, знаю.

Дома все было спокойно. Ганна повыла, сколько там полагается, и перестала. Приходу сына она даже не обрадовалась. Ганна домовничала: деловито стучала горшками, с натугой таскала из сеней в хату котлы с водой,— она собиралась мыть пол.

— Пожевать е? — спросил Степа еще с порога.

— А то как жа? — певуче сказала Ганна.

— Давай.

Ганна поставила на стол крынку молока, принесла хлеба, соли и творогу. Скрестив на груди руки, она осталась стоять у стола и равнодушно, без всякого интереса, а просто так, оттого, что уйти было лень, смотрела, как сын ест. А Степа ел жадно, торопясь. Он отрезал здоровый ломоть хлеба, обмакнул его в соль и так впился в него зубами, что хруст пошел по хате. Проголодался парень.

— Творогу ж, — сказала Ганна и придвинула миску с творогом к Степе поближе. Степа набрал полную горсть и запищал в рот.

— Батьки нету? — прошамкал он.

— А нету ж, — сказала Ганна.

— В Славичи пошел?

— А лях жа его знает, — ответила Ганна обычным своим «а лях жа» и спросила:

— А что тама?

— В Славичах? Ничего. Бандиты.

— Бабы бают, грабят они тама. Ти правда? — сказала Ганна.

— Не видать пока, — сказал Степа, — скоро верно начнется. Не тужи. И до слободы доберутся.

Ганна испугалась.

— Где ж он, акаянный, ходит? — захныкала она, — схватить жа надо.

— Чего там ховать, — сказал Степа, — вшей?

— А овчину жа.

— Батькину? Не возьмут.

— Отчего жа?

— Рваная она. Не годится.

— Рваную не возьмут? — с сомнением переспросила Ганна.

— Не возьмут, — твердо сказал Степа.

Ганна повеселела.

— Молока налей, — сказала она и, накрошив мелко хлеба, пошла на двор кормить цыплят.

Оставшись один, Степа вытащил из кармана наган, осмотрел, все ли в порядке, подержал-подержал в руке и сунул обратно в карман. Пригодится.

«Каданер чего там дрыхнет?» — сердито подумал Степа.

В окно он видел чистое голубое небо и на небе солнце. По солнцу, времени было часов одиннадцать.

«Рано ему, — думал Степа, — сказал — «завтра вечером». Хоть бы скорее вечер».

Но солнце ползло лениво. Впереди еще целый день, долгий летний день. Эх-ма.

Вдруг Степа услышал церковный звон. Торжественно гудел большой колокол и тревожно и часто перекликались колокола поменьше. Над Славичами, над слободой, над рекой, над полем, перекатывался медный крик колоколов и пугал и беспокоил. С чего бы вдруг? День будний. Пожар? Но пожарный звон другой, в пожар большой колокол молчит. Бандиты звонят? Но чего вдруг им понадобился пасхальный перезвон?

Степе не сиделось. Тянуло на улицу, в Славичи, хотелось ребят повидать. Лешку, может, или Яна. Чтобы при встрече не узнал чубатый или кто другой, Степа обвязал лицо маткиным платком, будто зубы болят, нахлобучил шапку до самых глаз и — раз в окно. Двором пойти — на Ганну наткнешься, а она, дура, привяжется: куда? зачем? Так-то в окно оно проще.

Конный бандит, вроде вестового или музыканта, с блестящей трубой через плечо, важно ехал по улице. Поравнявшись с каким-нибудь домом, бандит, не замедляя хода коня, эфесом пашки стучал в захлопнутый ставень и кричал:

— В город! На собрание!

Доехав до Степы, — дом Степы стоял в конце слободы, дальше начиналось поле, — бандит слез с коня, сел у ворот на бревно и закурил коротенькую трубку. Лицо у бандита было морщинистое, дряблое, величиной в детский кулачок, зубы мелкие и черные, а нос смотрел куда-то вверх. Ни усов, ни бороды не было, но на голове росли густые дикие волосы, спадающие на лоб и закрывающие уши. С левого уха свешивалась серебряная серьга в форме полумесяца. Бандит долго сидел так у ворот, потупив голову и уныло сплевывая себе под ноги желтую накипь курева. Степа подошел к нему и спросил:

— Это где собрание?

— В городе, — ответил бандит, — в городе. Подле церкви.

— А что там будет?

— Ничего не будет, — равнодушно сказал бандит. — Батько говорить будет, — добавил он.

Степа больше расспрашивать не стал и уже хотел отойти, как вдруг бандит поднял голову и, решительно сплюнув, заговорил сам:

— Ругаться будет, — сказал он, — я его, черта лысого, знаю. Товарищи, чай, были. Он только и умеет, что пить да ругаться. Фрайер.

— Что? — не понял Степа.

— Фрайер, говорю, — повторил бандит, — я его знаю, Нишку. Каторжник он, вот кто. — Бандит быстро оглянулся и, понизив голос, продолжал: — он, Нишка, шесть лет в каторжниках был, на мокром деле завалился. Я его знаю!

— А чего к нему пристал? — спросил Степа.

— Так уж. Делать нечего было, — сказал бандит, — а уйду. Надоело. Ну его, Нишку. Не ндравится мне у него. Мясник. Кой он мне дался? У меня на руках профессия хорошая. Я, браток, ширмач.

Степа опять не понял.

— Что?

— Ширмач, — сказал бандит, — карманщик, ну. Плюну и поеду в Одес. Городок такой, что лучше не надо. А на Нишку плюну. Нужен он мне очень. У меня профессия хорошая. Мне што? Плевать!

— Обидел он тебя, што ли? — сказал Степа.

— «Обидел, обидел», — передразнил бандит, — а тебе что?

Он сел на коня и пустился в обратный путь. Эфесом шашки он стучал в закрытые ставни и кричал:

— В город! На собранье!

Против церкви, на маленькой трибуне стояло несколько человек бандитов, а вокруг трибуны робко жались мужики со слободы, лавочники из местечка, коробейники с «выгона». Они осторожно сморкались в руку, то и дело подтягивали сползающие штаны, переговаривались шепотом, испуганно выжидая, что будет и не понимая, зачем их сюда пригнали. Особо держалась группа человек в десять, во главе с попом, благообразным, румяным стариком. Тут же были и дьяк и Антон, кой-кто с «верха» — из купеческих тузов, и хозяин единственного в местечке кожевенного завода Зелик Найш. Цепь верховых плотным кольцом обхватила толпу. Дальше выстроились в ряд тележки — двуколки с пулеметами на сиденьях.

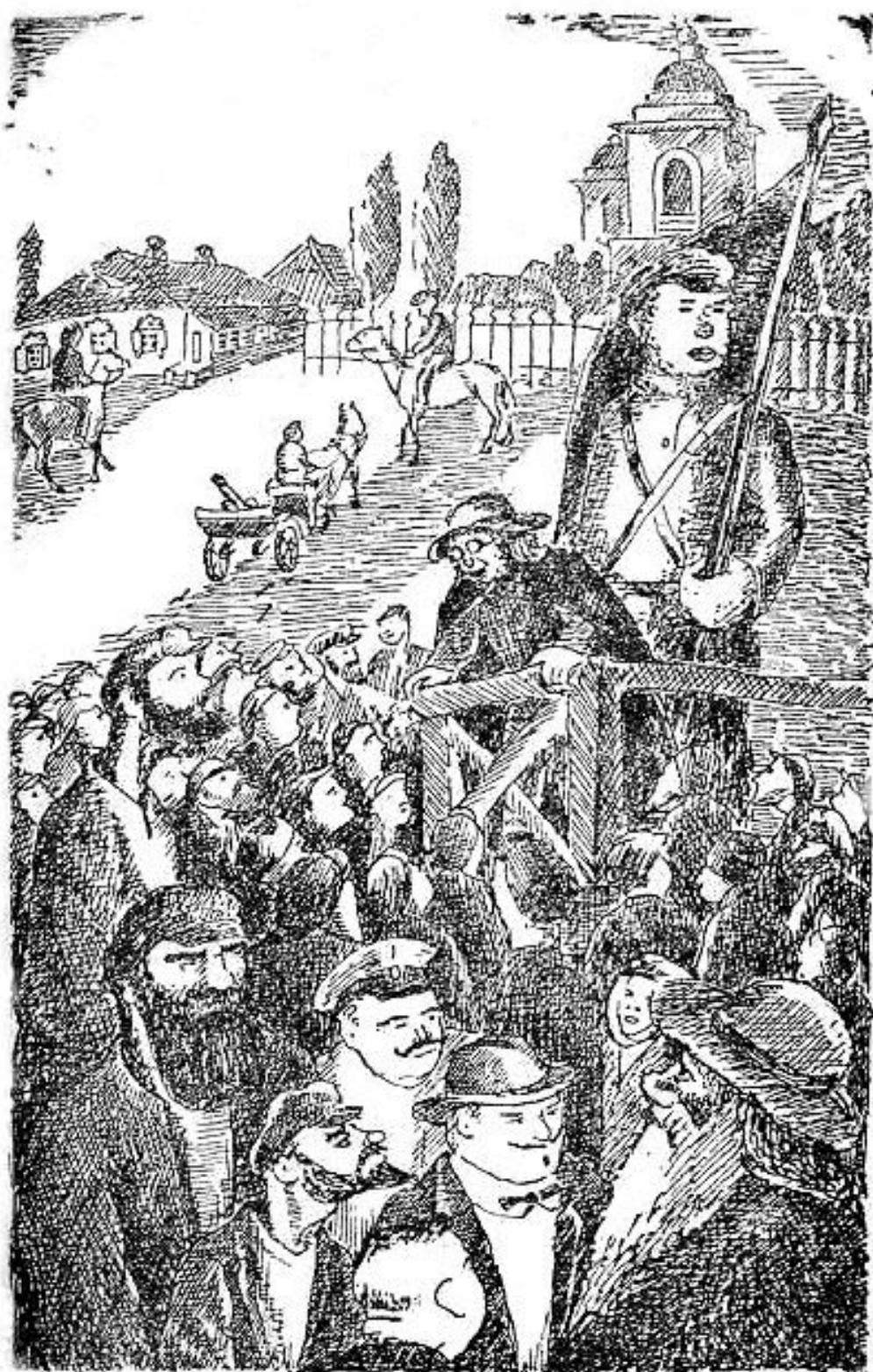
А еще дальше — было поле и синел лес, тот самый лес, откуда рано поутру сегодня явились в Славичи эти верхоконные и двуколки.

Когда Степа пришел на площадь, первым, кого он увидел, был старый знакомый, вчерашний гость, очкастый. В том же плаще, в той же белой круглой шляпе, из-под шляпы так же выбивались влажные волнистые кудри. Кикимора. Рядом с очкастым стоял его товарищ — толсторожий. Но сегодня вместо белой расшитой рубахи на нем был надет защитного цвета френч, опоясанный ремнями во всех направлениях. Толсторожий держал за древко знамя. Знамя было черное.

Что за плешь? — удивился Степа. В первый раз в жизни он видел такое знамя, сплошь черное, и не мог понять, что оно означает. Похоронное, должно, — решил он. — Сейчас они кого-то хоронить будут. И народ для того собрали.

Пока Степа, работая локтями, пробивался поближе к трибуне, собрание уже открылось и заговорил очкастый.

— Что? Не так? Не так? — кричал он своим пронзительным голосом, часто повторяя одно и то же слово. — Человек рождается свободным, как птица, как вихрь, а его — в клетку, в клетку. Что? Не так? Не так? И вот приходит власть и делает его рабом, рабом подневольным. Бьет его! Гнет его! Что? Не так? Не так? Под-не-воль-ный. А человеку воля нужна, как вода, как воздух. Мы не можем жить без воли, без воли. А нас душат, за горло держат, за горло. Была монархия, самодержавцы, но мы, вольные люди, анархисты, мы с ними расправились, расправились. А кто пришел на смену? Узурпаторы! Узурпаторы! Комиссародержавцы! Что? Не так? Не так? Они нас опять в клетку загоняют. Сиди! Сиди! Того не можешь! Этого нельзя, нельзя! А почему нельзя, а? Почему нельзя? Кто сказал «нельзя»? Бакунин сказал? Прудон сказал? Мы, анархисты, говорим: «можно! можно!» «Воля, мы говорим, воля». Вольный человек на свободной земле. Что? Не так? Не так? Мы избавили вас и от комиссародержавцев. Сегодня мы завоевали Славичи, а завтра мы завоюем весь мир. Мы начнем великую революцию, третью революцию, третью. Что? Не так? Мы освободим вас от самодержавцев и от узурпаторов, узурпаторов. Под этим черным знаменем, за которое погибло столько святых мучеников, — голос у очкастого от волнения сорвался, он заговорил шепотом, — мы поведем вас в анархию, в анархию. Что? Не так? Не так?



Он не мог продолжать больше, очкастый. Над трибуной трепетали, как крылышки, его тощие, немощные руки. Видно было, как шевелятся его губы, но голоса его не слышно было.

Тогда выступил толсторожий.

— Кто говорить хотит? — крикнул он в толпу. — Выходи!

Вышел Антон. Дородный, величавый, не кузнец — патриарх. Он обвел толпу строгим взглядом, откашлялся в ладонь и не спеша заговорил:

— Вот уж правильно говорил тут гражданин-товарищ, — сказал он. — Спасибо ему. — Антон снял картуз, полуобернулся к очкастому и чинно поклонился. — Сколько лет маемся, а хорошее слово впервые слышим. Хорошее слово, правильное слово. За такое слово в ноги поклонюсь и не стыдно. Вот, скажем, граждане-товарищи, как перед богом скажем: какая есть наша жисть? Раньше горе мыкали, драли исправники, стригли нашего брата, как барана. Оброки да подати, да налоги. А не так что — и в тюрьму, на каторгу. А теперь, при большевиках, лучше ли стало? Хуже, видите ли, граждане-товарищи, много-много хуже. Мужика ограбили, а мужик — он основа государства, без него нельзя. Никак. Его грабят, а нас бьют, стреляют. Безобразничают, проклятые. Немцам продались. Раньше, видишь ли, было худо, а теперь и совсем невтерпез стало. В святом писании сказано о Ровоаме, неразумном сыне царя Соломона: «И говорил он по совету молодых людей и сказал: отец мой наложил на вас тяжкое иго, а я увеличу иго ваше. Отец мой наказывал вас бичами, а я буду наказывать вас скорпионами». Так, граждане-товарищи, и коммунисты с нами. Они нас, видишь ли, скорпионами. А заслужили ли мы того? Нет, не заслужили. Мы не душегубы какие, не разбойники. Разбойники они сами и есть, большевики-то, антихристовы слуги. Явреи тут тоже нехорошо себя ведут. Народ они к нам пришлый, понимать надо, а они наперед лезут. Не все, конечно, есть и верные, а многие которые. Так что поблагодарим гражданина-товарища, который тут говорил. Он сказал — «воля будет» и спасибо ему на этом слове. Пообещаемся все ему, что в нас он и господин атаман найдут верных слуг, готовых голову свою за них сложить. Да.

— Правильно, Алексеич! — крикнул кто-то из толпы.

Степа оглянулся и увидел отца, Осипа. Нескладный, длинный, как жердь, на голову выше других, он взмахивал рукой, зажатой в кулак и кричал:

— Правильно, Алексеич! Правильно! Все пойдем! До единого! Нам нечего терять. Чего нам терять? Нам и так дрянь и так дрянь. Они, комиссары, дьяволы, сами в палатах живут, на перинах спят, а нашего брата в острогах гноят. Измываются. А нам тоже жить надо. Надо или не надо, мужики-товарищи? Он мне: «Самогонку гнал?» Гнал, говорю. Верно. «И продавал?» Верно. А только, говорю, дорогой товарищ, жить же надо? Жить надо или не надо? А мене — в острог. Кого? Мене! Инвалида империалистической войны, самую бедноту, а? За что боролись? Кровь за что проливали, а? Чтоб жить не давали? Чтоб в острог сажали, а? Правильно, мужики-товарищи, Антон говорит. Все пойдем! До единого! Пок-кажем!

«Во ведь холера какая — думал Степа, слушая отца. — Туда же. Все забыть не может. Дурня».

Путаясь в полах ватного пальто, на трибуну взобрался дьяк. Он выкроил на остром крысином лице сладенькую улыбочку и заговорил тихо и кротко. Но сейчас же поперхнулся, закашлялся, — кашлял он, будто лаял, — и продолжал уже другим голосом, хриплым шепотом.

— Братья! — начал он. — Православные! Поздравляю вас со светлым праздником христовым. Долго мы терпели, но бог, он правду видит, да не скоро скажет. И вот сказал. Поздравляю, православные, поздравляю, — тут дьяк закашлялся. — Но нельзя забывать, — продолжал он свистящим шепотом, захлебываясь и брызгая слюной, — нельзя забывать муки, которые перенесли мы, многострадальцы, от этих кровопийц и мучителей, кои изгнаны теперь с позором. Много их еще среди нас осталось. Так разыщем же их, братья, и предадим их в руки судей праведных и нелицемерных. Да воздастся им по заслугам. — Дьяк опять закашлялся. — Мы их знаем, всех знаем, — зашипел он, откашливаясь, — на лбу их Каинова печать, а имена их записаны в книгу смертных. Вот! — он потряс в воздухе какой-то бумажкой. — Не будет им пощады! Не будет!

Степа осмотрелся. Поискал глазами, нет ли в толпе кроме него, еще кого из тех «с печатью», о которых говорил дьяк? Нет. Никого.

Солнце стояло прямо над головой. Был полдень.

Степу, как бы невзначай, проходя мимо, задел локтем щуплый паренек в белой крестьянской свитке и в барашковой, низко надвинутой шапке.

— Тихе ты, — проворчал Степа и осекся. Он узнал паренька. Это был Косой, Леша.

Косой подмигнул: — молчи де, понял? — и стал рядом.

— Узнаешь толсторожего? — шепнул он.

Степа, не поворачивая головы, ответил:

— Нет.

— Самсоновский он. Его Никита узнал.

— Чей?

— Солоненкова Корнея сын. Знаешь?

— А-а!

Корнея Солоненкова все знали в Славичах. Богатый мужик, садовод. Все сады в Славичах были его.

— Федора видел?

— Видел.

— Ну?

— Поговорит с кем надо. Вечером скажет. У вас как?

— Губарев пропал. Не найти никак.

— Видал его на реке. Он уплыл или утонул. Не понять. А Бер?

— Неизвестно.

— Кто повешенный?

— Кажется, Шабанов.

— Что ты?

— Не знаю точно. Будто он.

Они переговаривались одними губами, не глядя друг на друга.

— Ян что?

— Ничего. Отряд сколачивает.

— И как?

— Ничего. Идет помаленьку. Губарева нет и Бера нет — вот что плохо.

— Что Каданер?

— Никаких известий. К вечеру не будет — выступим сами, без него.

— Верно! Кто это сказал?

— Я думаю.

— А оружие?

— Достанем. Вечером совещание будет. Приходи.

— Где?

— Не знаю пока. Узнаю, скажу.

— Надо послать кого в уезд за Каданером.

— Надо. Вечером выясним. Приходи.

— Ладно.

Леша ушел.

Степа туже обвязал лицо платком. Надо, брат, осторожней. Раз Косой узнал, значит и другой кто узнать может. Это не дело.

Степа услышал голос Сонины и удивился. Он не заметил, когда это Сонин поднялся на трибуну, и пропустил начало его речи. Степа свистнул: фью! и Сонин тоже. Ну и ну. Он стал внимательно слушать, но Сонин уже кончал говорить. Суковатую свою дубинку он держал перед собой, как посох. Щеки красные, как смородина, дышали здоровьем, а слова у него изо рта вылетали — жирные и круглые. Не слова — лепешки.

— Человек зверь благородный, — говорил Сонин. — Дайте ему волю и увидите, какой он. Глупость это — «классовый человек». Чепуха! Ерундистика! Есть «просто человек» и ему просто хочется жить: набить пузо горохом или мясом и развалиться на солнце. Нет добродушной и благородней человека, только волю ему дайте, свободу. Короче сказать — присоединяюсь...

Трибуна примыкала одним краем к стене двухэтажного дома с высоким резным крыльцом. На крыльце стояло четверо бандитов из отборных, рослые парни в черкесках. Прислонившись к перилам, они небрежно и презрительно посматривали на трибуну, на толпу, на мир. Но вдруг они встрепенулись, вытянулись и застыли, впившись глазами в закрытую дверь. За дверью в доме послышался звон шпор и чьи-то грузные шаги. Кто-то спускался по внутренней лестнице.

Толсторожий знаменосец оборвал Сонины и зычно крикнул:

— Тиш-ша! Батько!

Мужики со слободы, лавочники из местечка и коробейники с «выгона» нерешительно сняли шапки. Верховые бандиты и пулеметчики на двуколках приободрились, приосанились, приняли молодцеватый и гордый вид. Не бандиты — орлы.

На пороге показался батько. Невысокого роста, широкоплечий человек с непомерно большим туловищем и с короткими, кривыми, как у кавалериста, ногами. Лицо у батько было старообразное, темное, со шрамом через всю щеку. Надбровные кости резко выступали вперед и живые беспокойные глаза прятались в глубине, как медвежата в берлоге. На батько были казачьи синие с красными лампасами шаровары и обык-

новенная солдатская гимнастерка. За ним шел ординарец я бережно, обеими руками нес черную туркменскую папаху батько.

Слегка раскачиваясь на ходу, батько направился к трибуне. Он шел по пустому пространству, перед ним испуганно расступались. Ни на кого не глядя, батько заговорил сразу же глуховатым, как бы простуженным голосом.

— Значит так, — сказал он, — тут вам говорили. Устанавливаем, значит, вольную власть. Анархию. Чтоб без никаких. Кто против — повешу. Советы оставляю, но без большевиков. Большевиков и комиссаров повешу. Все их добро объявляю народным. Грабь награбленное. Мирных людей не трону. Живи, как хошь. Каждый за себя. Хлопцев моих вознаградить надо — они вас от сволочей избавили. Награждение с каждого хозяина устанавливают хлопцы на месте. Кого они обидят, приходи ко мне. Разберу. Совет выбирайте сами, не мое дело. Но бунтовщиков, горлодеров повешу. Так.

Батько сказал: «так» и на этом кончил речь. Но не ушел. После него заговорил очкастый и все время рядом стоял батько, темнолицый, мрачный и важный. Его, видимо, не сильно интересовало все, что происходило, и стоял он так, для полноты церемонии. Щеголеватый ординарец сзади батько обеими руками держал его папаху.

— Устанавливаем, — заливался очкастый, — безвластие. Совет выбираем, но властью он облечен не будет, не будет. Что? Не так? Называться предлагаю: штаты. Вольные штаты Славичи. — Он вопросительно посмотрел на батько. — Что? Не так?

Батько безразлично кивнул.

— Нехай!

— Устанавливаем, — продолжал очкастый, — полную свободу: свободу личности, свободу слова, печати, собраний, собраний. Что? Не так? Налоги упраздняются. Деньги упраздняются. Деньги — это цепи, иго, иго. Устанавливаем систему товарообмена. Что? Не так? Не так? Задача наших штатов — непримиримая борьба с коммунистами и комиссародержавием и распространение анархизма по всему свету, свету. Что? Не так? Знаменем нашим будет это черное знамя, за которое погибло столько святых мучеников, мучеников, — у очкастого от волнения сорвался голос и закончил он шепотом: — Что? Не так? Не так?

Толсторожий выступил вперед и крикнул:

— Голосуем! Кто не против, подымай руку, ну!

Первым руку поднял Антон, за ним дьяк и поп, купцы с «верха», Найш и Осип. За ними — все.

— Единогласна, — установил с удовлетворением толсторожий. — А теперя совет выбирать будим. Кого хотите? Говори!

— Господина атамана! — крикнул Антон.

Батько сердито махнул рукой. Еще что?

— Батько — нельзя, — сказал толсторожий, — у него и так делов по горло. Он армией командировать будит. Другого давай!

— Их! — прохрипел дьяк и ткнул пальцем в очкастого.

— Не их, а Бенедикта Гаврилыча — солидно поправил его толсторожий. — Еще кого?

— Еще Антона! — крикнул Осип.

Но Антон не соглашался.

— Не годен я, граждане-товарищи, для этого дела, — сказал он. — Мне уже и годов немало, да и человек я, видишь ли, темный, необразованный. Я так думаю, что самый подходящий для нас человек — это гражданин Крючарев, — он показал на дьяка, — за него и голосуем.

— Ладно, — согласился толсторожий, — третьего давай!

— Учителя... Сонины... — сказал чей-то робкий голос.

Батько насторожился.

— Это который? — спросил он.

— Этот будто, с дубиной, — сказал толсторожий, — леший их разберет, сучьих псов.

Батько подошел к Сонину, — Сонин стоял в двух шагах, тут же на трибуне, — посмотрел ему в лицо и сказал:

— Э, браток, — да ты никак жид?

— Не жид, а еврей, — смущенно сказал Сонин.

— Один черт! — батько повернулся к очкастому и мрачно сказал: — не годится это — жидов в совет выбирать.

Очкастый зашептал что-то батько на ухо. Тот слушал насупленный и злой. Ничего не ответив, он взял из рук ординарца папаху, надел ее и при торжественном и благоговейном молчании толпы пошел в дом.

— Все хорошо, — сказал очкастый толсторожему. — Все улажено.

— А теперя, — крикнул толсторожий, — которые желающие в анархисты записаться, так говори. Пиши, Бенедикт Гаврилыч.

Очкастый поправил очки на крошечном носу, достал из кармана ученическую, в желтой обложке, тетрадку, карандаш и приготовился писать.

— Ну, говори, — повторил толсторожий.

Вызвался Антон. Потом дьяк. Оба они, и Антон и дьяк, вежливо подталкивали старика-попа. Тот конфузливо посмеивался, упирался, отнекивался. Но наконец не выдержал, согласился.

— Господь с вами, — сказал он, — пишите уж.



## Глава седьмая

### СУД ПРАВЕДНЫЙ И НЕЛИЦЕМЕРНЫЙ

— Э-эй, куды! — закричал толсторожий, видя, что граждане «вольных штатов» задвигались и словно собрались расходиться по домам. — Куды, собачьи псы? А петь хто будет, язва вам в глотку? А гимн хто сполнять будет? Медведь Миша, што ль? Гони их, братва, назад! — крикнул он верхоконным, — лупи их, гадов! Не пущай никуды! С-т-о-о-й!

Конные бандиты еще теснее сомкнули круг и кое-кого из близ стоящих крестьян и лавочников не то для острастки, не то для пробы огрели нагайками по спинам. Толпа подалась вперед к трибуне.

Толсторожий успокоился. Он укоризненно оглядел толпу и сказал назидательно и строго, как провинившимся мальчишкам:

— Дурни! В бегунки подались, а понятия того нету, что те-перя спеть полагается, гимн сполнить. Несознательный народ. Прямо стадо какое, а не народ. Ну-ка, Бенедикт Гаврилыч, начинай.

Очкастый снял шляпу, закрыл глаза, задрал кудреватую голову и высоким горловым голосом запел «Черное знамя». Он пел один, никто его не поддержал, песня была незнакомая. Толсторожий от времени до времени начинал что-то мычать, но не понять было: то ли он тоже поет, то ли просто так, горло прочищает.

«Мы горе народа затопим в крови»... — пронзительно пел очкастый. «Гм — хор» — мычал толсторожий. А толпа молчала. Крестьяне и лавочники мяли в руках картузы и пугливо косились на конных бандитов, стараясь по их лицам угадать, скоро отпустят или долго еще мыкаться. Но лица бандитов были непроницаемы, и «вольные граждане» тихонько вздыхали и осторожно, без всякого шума, переступали с ноги на ногу.

Когда очкастый, в последний раз пригрозив «затопить в крови», открыл глаза и надел шляпу, толпа ожила. Теперь-то уж конец! Шабаш!

Да не тут то было.

— Ну-ка, братва! — крикнул толсторожий верхоконным, — запевай нашу, штоль. Но дружно. Чтoб как следует.

Бандиты оправились и откашлялись. Толсторожий поднял руку и по знаку сотня глоток разом, как один, рывкнула развеселый, разухабистый бандитский «гимн».

Мы их жа порежем,  
Да мы их жа побьем.  
Последних комиссаров  
Мы в плен заберем...  
Ура, ура, ура,  
Пойдем мы на врага...

— Все, — сказал толсторожий, сворачивая черное знамя, — рас-хо-дись!

Но прежде, чем кто-нибудь успел шаг сделать, из дома, в котором находился батько, выскочил щеголеватый ординарец и поспешно крикнул:

— Не смей расходиться! Кто приказал? Не смей! Сейчас будет народный суд. Комиссаров судить будут. Никто чтоб не уходил. А то гляди у меня!

Степа, услышав — «комиссаров», быстро оглянулся. Каких комиссаров? Кого? Губарева? Бера? Но никого еще не было.

Два бандита из охраны батько, в черкесках, вынесли из дома и поставили на крыльцо обитое зеленым плюшем низкое кресло. Третий бандит приволок стол. За стол сел писарь, плюгавый человечиска, лысый, с тонким, как струна, носом. Он аккуратненько разложил на столе какие-то бумажки и папки, извлек из внутреннего кармана пиджака грязный носовой платок, звучно высморкался, протер тем же платком потную лысину, взял в руки перо, обмакнул его в чернила и, пригрюбившись, как деревенская баба на похоронах, принялся ждать. Ждал он долго. И вместе с ним ждали все: и мужики со слободы, и коробейники с «выгона», и конные бандиты, и пулеметчики па двуколках. Было тихо.

Наконец толсторожий объявил во всеуслышание:

— Открываем суд над подлюгами-комиссарами. Судить будет батько и весь народ. Которые жилающие высказаться, будит им дан голос. — Веди, Кузьма! — крикнул он кому-то. — Живо!

Заскрипели на ржавых петлях ворота, в воротах показались конвоиры, пятеро с маузерами в руках, шестой, передний, Кузьма Мякитин, — местный, слободской, бывший унтер — с пашкой наголо, в центре — арестованные комиссары. Было их двое: Казимир Гущинский, военком, белобрысый сутулый парень в

армейской шинели и Бер Гезин. Рыжие волосы Бера растрепались и встали торчком, а под левым глазом, как холмик, возвышался синий желвак. Запятав руки в карманы штанов, в ночной рубашке, изодранной в клочья, Бер выступал с какой-то угрюмой важностью. Казалось, он не видел ничего из того, что делалось вокруг него и думал о чем-то своем, серьезном и нужном.

Степа вобрал голову в плечи, сжался весь: Бер! Поймали!

Кузьма Мякитин подвел арестованных к крыльцу, лихо, по-военному, звякнул шпорами и взял под козырек. Он отдавал честь плюшевому креслу, так как батько в кресле еще не было.

В окне второго этажа высунулась голова ординарца.

— Готово? — спросил он.

— Готово, — доложил толсторожий.

Батько, должно быть, в это время закусывал. Когда минут через пять он появился перед народом, челюсть его продолжала равномерно двигаться, дожевывая еду. Появился он в той же гимнастерке, но в шапке. Папаху батько не носил, жарко же летом в папаче, но возил ее с собой повсюду как знак своего высокого достоинства.

Батько развалился в кресле, вытянул по-барски кривые ноги и, ни на кого не глядя, глуховато сказал:

— Значит, так. Начинаем.

Первым к батько подвели Бера. Кузьма толкнул Бера в бок и мирно сказал:

— Руки из кармана вынь.

Бер вынул.

— Име? — коротко спросил батько.

— Бер.

— Отчество?

— Мовшев.

— Фамилье?

— Гезин.

Лысый писарь, низко пригнувшись к столу, проворно водил пером, записывал показания.

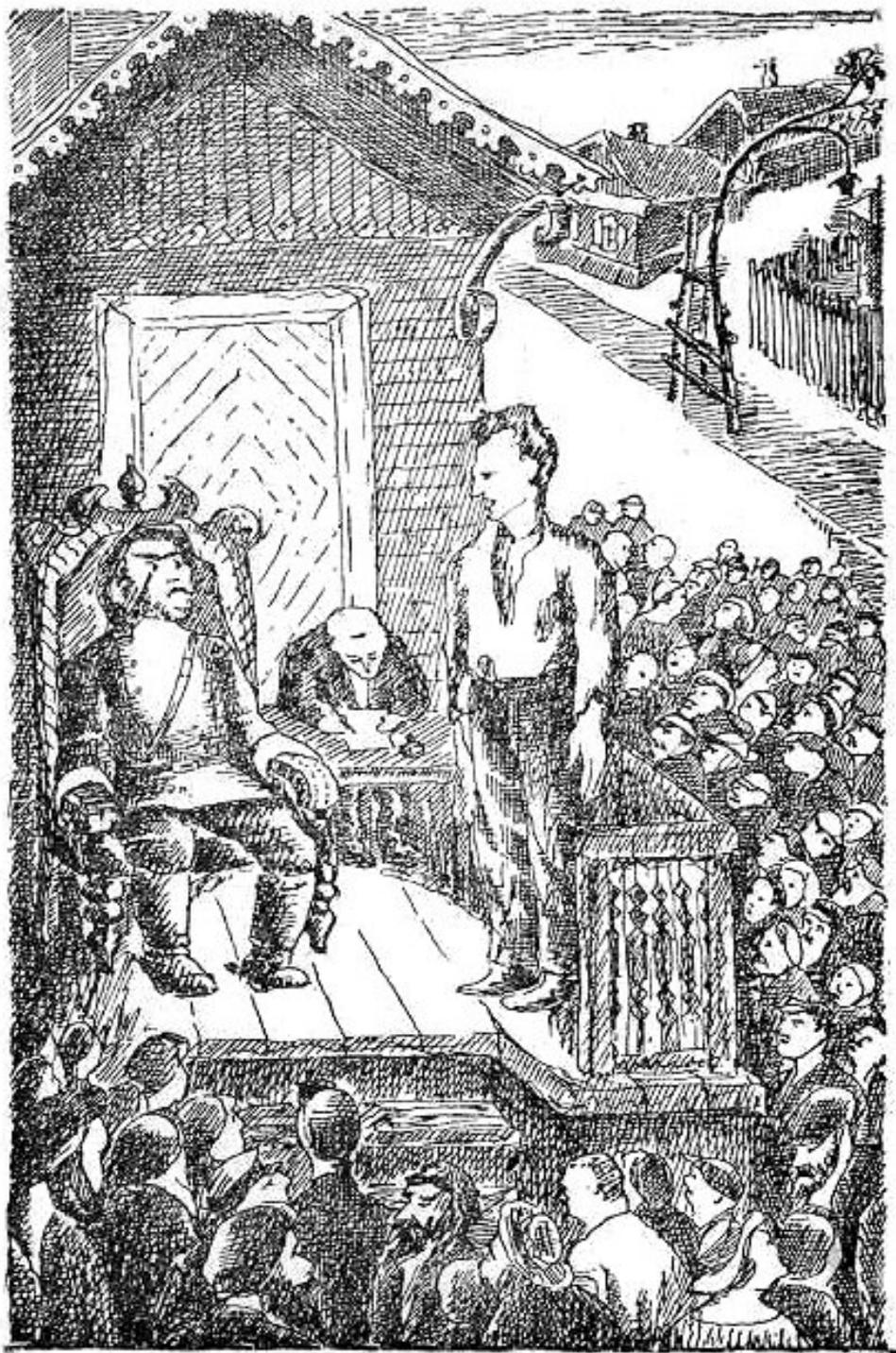
— Жид?

Бер не ответил.

— Хранцуз, може? — батько фыркнул, ему самому понравилась острота.

Фыркнул и толсторожий. Фыркнул и писарь.

Батько подался немного вперед и коротким, как обрубок, волосатым пальцем поманил Бера:



— Подойди-ка поближе.

Бер подошел.

— Скажи-ка, — тихо, как бы по секрету, спросил батько: — сколько вам, жидам, Вильгельм жалованья платит, а?

Бер ничего не ответил. Батько нахмурился.

— Я тебе спрашиваю, — повторил он громко, чеканя слова, — сколько вам его немецкое величество Вильгельм Второй жалованья платит? Ну?

Бер потрогал желвак у глаза и лениво сказал:

— Дурак.

Батько еще больше потемнел. Он повернулся к писарю и тыльной стороной ладони хлопнул его по лысине.

— Выкликай свидетелей! — мрачно буркнул он.

Писарь зачем-то поднялся и по бумажке прочел:

— «Крючарев».

Подошел дьяк. Трусливо перебегая глазами с батько на писаря, с писаря на толсторожего, с толсторожего на очкастого, дьяк зашептал хрипло и зло:

— Мы его знаем, этого яврея, — зашептал он. — Мы его хорошо знаем. Среди лиходеев он самый был лиходей. Мало нам было своих мучителей, так он еще из Америки приехал, дабы умножить число злодеев и кровопийц. — Дьяк закашлялся. — И вот стоит он перед нами, яки аспид с вырванным жалом, — продолжал он, откашлявшись, — неужели же, братья, мы его отпустим с миром и благоволением? Да не будет того, братья! Да покарает его меч правосудия! Кровь его на голову его! Не будет ему пощады! Нет!

Писарь, беззвучно шевеля губами, аккуратно записывал все, что говорил дьяк. Потом он встал и опять прочел по бумажке:

— «Калмыков».

Вышел Антон. Он строго поглядел на Бера, погладил бороду и не спеша сказал:

— Что долго толковать? Верно тут гражданин Крючарев говорил: злодей. Он у них, у камунистов, в большом был почете. Уважали они его, потому что прибыл он, видишь ли, издалека и человек будто ученый. Грабил тоже, как все они, окаянные. А больше ничего показать не могу.

Писарь записал и это.

Толсторожий пощупукался с очкастым, потом спросил что-то у батько, батько согласно кивнул, потом крикнул:

— Которые жилающие за обвиненного говорить, — крикнул он, — выходи!

Толпа испуганно молчала.

— Выходи, ну! — Толсторожий подождал. — Никто не хочет? — подождав, спросил он. — Може, ты хотишь? — толсторожий ткнул пальцем в какого-то долговязого коробейника с «выгона». Тот шарахнулся в сторону. — Не хотишь? Ну, ладно. Читай, браток, — сказал он писарю.

Писарь торопливо дописывал лист. Дописав и поставив последнюю точку, он выпрямился во весь свой мизерный рост и торжественно начал:

«Военно-полевой народный суд вольно-партизанской дивизии в составе: батько Никона Онуфриевича Шакилка, всего воинства и народа, при секретаре Кикиушкине, рассмотрев».

Вдруг писаря прервал спокойный голос Бера:

— Чего вы, мерзавцы, комедию ломаете? — сказал Бер. — Или мало вам повесить? Еще поиздеваться надо? Сволочи!

Батько, отбросив кресло, вскочил, рванулся.

— Врешь! — прохрипел он. — Не повешу! Жив-вьем закопаю, сстерва!!



## Глава восьмая

### «СВОИ»

Что было дальше, Степа не видел. Он тихонько улизнул с площади в ближайший переулок — и ходу. Степа не шел, его несло. Сжимая до боли кулаки, стиснув зубы, Степа шагал широко, бежал. Платок с лица он содрал. К черту! Он почти плакал от обиды и от злости. Как измываются, гады! Как изгибаются! У, скоты!

Степа обо что-то споткнулся и упал. Упал и увидел, что лежит в траве. Над головой небо. Вдали на холмах — Славичи. Но Степа не глядел ни на небо, ни на Славичи. Не до них. Он лежал и думал.

«Нет, — думал Степа, — так нельзя. Косой прав. Надо выступать. К вечеру, если Уре не будет, махну в уезд. Чего там?»

Только Степа это подумал, как перед ним словно из-под земли вырос человек. Чистенький старичок, ясноглазый, как ребенок, с розовой бородавкой на пухлом розовом носу. В левой руке он держал батожок, в правой — сундучок, обитый железом, а за спиной у него болталась тощая котомка. Подошел старичок неслышно, он был в лаптях, не поздоровался, как водится, и не спросил ничего. Он молча улыбался и с явным любопытством разглядывал Степу, как диковину какую. Степа, увидев над собой человека, сначала испугался, а потом рассердился.

— Ну, чего уставился? — спросил он.

— Так, — молодым, звонким голосом ответил старичок. — Так. Интересна.

— Ничего тут нет интересного, — сказал Степа. — Проваливай.

Но старичок и не думал уходить. Наоборот, он опустил сундук на землю, присел и, не переставая улыбаться, кротко сказал:

— А не говори, сынок, — сказал он, — всяка тварь интересна, комар и тот интересна гудит. А живой человек так тот всегда интересна.

— Чего там интересного? — сказал Степа.

— У, сколько! — сказал старичок. — Пуд! Вот к примеру ты. И знакомый ты мне будто и не знакомый. Лицом ты на своего

батьку схож, а кто твой батька — не припомню. Вот и интересна.

— Я — Осипа сын, сказал Степа, — слободского Осипа.

— Осипа? Однорукого-то? Знаю. — Старичок был доволен.

— Вот и признал, — сказал он с гордостью.

— А ты сам-то кто? — спросил Степа.

— Я сам-то далекий. Из Вознесенского, — сказал старичок.

— Село Вознесенское знаешь? Верст за десять отсюда. А звать меня Лукой.

— А в Славичи ты зачем?

— В сполком надо, — деловито сказал старик.

— Нету сегодня исполкома, — сказал Степа — завтра придешь. Старик покачал головой.

— Н-е-е-т, — протянул он, — не годится.

— Что не годится?

— Не годится завтра, — сказал старичок.

— Отчего?

— Завтра, сынок, другой день будет, — сказал старичок, — а мне еще и за сегодня покушать полагается.

«Из ума выжил хрен», подумал Степа и сказал:

— Так сходил бы ты, дед, домой и покушал.

— Не можно, — ответил старичок. — Не можно домой. Меня сын из хаты выгнал. «Чтоб не приходил, говорит, а то, говорит, голову проломлю».

— Ты затем и в исполком?

— Ага, — сказал старичок. — Службу какую просить хочу. Сторожем там или что.

— Приходи завтра, — сказал Степа. — Сегодня в исполкоме нету никого.

— Праздник какой? — спросил старичок.

— Не праздник, — сказал Степа, — а бандиты. В Славичах сейчас бандиты. Понимаешь?

— Так, так, — сказал старичок. — Понимаем. А что у них, у бандитов у этих, какое начальство? Председатель или кто?

— У них — батько, — сказал Степа, — атаман. А зачем тебе?

— А пойду к нему на службу проситься — спокойно сказал старичок. — Сторожем там или что.

Он встал, поправил на спине котомку, взял в руки сундучок и, не попрощавшись, побрел по направлению к местечку, к батько.

— Очумел ты, что ли? — крикнул ему вслед Степка. — Возвратись домой, говорят тебе!

— Ан нет, — не останавливаясь, ответил старик. — Не можно мне домой. Зарежет Васька.

И ушел.

— Вот ведь дурень, — ругался Степа. — К батько на службу проситься! Ах ты, старый пень!

Когда Степа вернулся домой, Осип сидел и обедал. Ел он смачно, громко чавкал, по всякому поводу начинал хохотать и вообще не узнать было мужика. Не тот Федот. Словно помолодел лет на пятнадцать. В последнее время, после острога, Осип зверем смотрел на Степу, злился, ворчал. А тут на радостях он и сына встретил как желанного гостя, весело и шумно.

— А, Степан Осипович! — закричал он. — Где пропадал? Садись. Лопай.

Степа мрачно покосился на отца.

«Развезло его, пьяницу, — подумал он. — Как кабаком запахло, так и ожил. Герой!»

А Осип жадно хлебал из миски щавель, заправленный сметаной, и говорил не умолкая.

— Каюк, Степка, камиссарам твоим, — говорил он, — крышка, брат. Пожили в каммунии и будет. Попробуем пожить вольно. Так-то оно лучше. Как мы революцию делали, нам в три короба понадавали обещающих — и то, и другое, и пятое: и свобода, и мир, и земля. А как на деле, так нашего брата в бараний рог согнули. В острог садят. И за что? За самогон. Тьфу ты! Но будет. Будет. Попробовали этого гостинца — каммунии и хватит с нас, хорошего понемножку. Поживем вольно. Так-то оно складней будет.

— Погоди еще зубы скалить, — проворчал Степа, — как бы потом не завыл.

— Брешешь, брат, — уверенно сказал Осип, — не таковские мы. Да с чего выть-то? Воля, брат. Понимать надо. Слышал, атаман что говорил: «Мирных людей не трону. Живи, как хошь». Ни тебе острогов, ни тебе властей. Осип захохотал. — Я, брат, ноне сам вроде власти. Партейный. В партею в ету, в анархисты записался. Со мной ноне знай как. — Осип вдруг понизил голос: — У меня с тобой, Степка, разговор будет, — сказал он серьезно. — Человек я теперь на виду, партейный, так ты уж запомни, чтоб ты с этими с твоими с приятелями, с консомольцами, больше не знался. Ни-ни. Их по всему городу ищут, а найдут — всыпят по первое число, а то и к стенке. Тебя в обиду не дам. Хуть какой, а сын ты мне. Но этих — чтоб духу

не было. Чуешь? Раньше я не хозяин был. Я тебе одно, а ты другое. А больше, чтоб этого не было. Чуешь?

За окном на улице затарахтели тележки и к дому подкатили четыре двуколки. «Стоп!» — скомандовал чей-то оглушительный бас. На двуколках горой были навалены шубы, тулупы, сапоги, валенки, тюки полотна. Поверх всего лежала пара стенных часов с тяжелыми медными гирями и с ярко расписанным циферблатом. На лошадях в виде попон были наброшены теплые стеганые одеяла.

Открылась дверь и в хату вошли трое бандитов. Во главе — коноводом выступал тот самый бородач в малиновых галифе, которого Степа видел в приречном переулке. Одноногий возница, его товарищ, остался сидеть на тележке, стеречь добро.

Осип вскочил с места и, сияя от гордости, поспешил гостям навстречу.

— Вот спасибо-то, что зашли, — захопотал он. — Вот спасибочка. Отобедаете, може, а? Ганка! — крикнул он жене, — тащи там, что есть! Ну!

Бородач — он был уже в суконной поддевке поверх матросского бушлата, — не обратил на Осипа никакого внимания. Он обошел хату, зорко вглядываясь во все углы, а потом высунулся в окно.

— Что, браток, скучаешь? — сказал он кому-то, вознице, верно. — Скучаешь, Анютка, а?

— Убери рыло, боров, — ответил ему из-за окна дребезжащий голос. — Сховай, холера, рыло, а то плюну.

Бородач не обиделся.

— Сплясал бы, хромой черт, коли скучно, — посоветовал он. — Чего зря сидишь? В хату все одно не пущу.

— Чтоб тебе околеть, бродяге! — крикнул голос.

— Гляди, Анютка, стукну, — пригрозил бородач.

— Это ты-то? — презрительно сказал голос.

— Поглядишь.

— И глядеть на тебя, на бродягу, не буду, — сказал голос. — Я лучше на свинью глядеть буду. Свинья красивше.

Бородач повернул к приятелям удивленное лицо и беспомощно развел руками:

— Как твякает, пес? — сказал он. — Что скажешь, а?

Меж тем Ганна понаставила на стол всякой всячины, все, что только нашлось в чулане, все запасы. И молока, и сметаны, и творогу, и яиц. А Осип все подгонял, все торопил:

— Живей, живей! Тащи!

— Отобедаете, може? — повторил он, когда все было готово.

Бородач сощурился, как от слишком яркого света, и широко зевнул.

— Дурной, — лениво сказал он. — Ты, небось, думаешь, что мы отродясь сметаны не видали? Или яиц? Так, что ли?

Осип хотел что-то сказать, но бородач не слушал.

— Нет, ты мне скажи, — настаивал он, — что мы, по-твоему, босяки какие или кто? «Отобедай». А я, может, уж не один обед слопал, да такой, что тебе, дурному, и во сне не виделось. Гуся, може, ел.

— Ну, молока попейте, — нерешительно сказал Осип. — Чего там обижаться? Свои же...

Бородач вплотную придвинулся к Осипу.

— Свои? — медленно выговорил он, — Это кто же свой? Ты, што ли? Дай-ка на тебя поглядеть. — Он выпятил губы, задрал бороду и уставился на Осипа. — У, ты, родненький мой, — протянул он нежно, как ребенку малому, — дитятко ненаглядное, — он гулко чмокнул и сделал ручкой.

Бандиты заржали.

Осип слегка опешил.

— Что вы, братцы? — сказал он. — Я ведь так...

— «Так, так» — передразнил бородач. — Ты так, а мы так. — Одним махом он смел со стола все горшки, тарелки, стаканы и миски. — Видал? — благодушно усмехаясь, сказал он. — Вот мы как!

Осип растерянно и недоуменно смотрел на черепки, на молоко, ручьями растекающееся по полу и, видимо, ничего не понимал. А бородач опять подошел к окну.

— Хотишь, Анютка, молока? — спросил он возницу, — за место самогону, а? Подь сюды. Лакай.

— Подожду уж, — ответил из-за окна дребезжащий голос, — подожду уж, боров, пока подохнешь. Тогда и налакаюсь.

— Долго ждать, Анютка, — сказал бородач. — Тебе не дожидаться. Н-е-ет.

Он облокотился на стол, сонный и раскисший от жары. День был душный. В такой день даже в ситцевой рубахе вспотеешь, а бородач был в поддевке поверх бушлата. Но скинуть поддевку у него духу не хватало. Больно одежда хорошая.

— Вот что, хозяин, — неторопливо начал он. — Ты это брось, глаза таращить. Эка невидаль, битые горшки. Я их тебе, коли охота, полну хату навалю. Брось, ну! Ты лучше послухай, что тебе говорят. Мы к тебе за делом. С тебя в пользу

вольно-партизанской дивизии контрибуция полагается. Что, братва, с него возьмем? — обратился он к приятелям.

— Что найдем, то и возьмем, — недолго думая, ответил второй бандит, черный, как цыган. — А что возьмем, то и наше.

— Нам, браток, треба, ценные чтобы были вещи, — пояснил бородач Осипу, — золото е?

— Золотом у него не поживишься, — вмешался третий бандит, с виду «зеленовец». — А тулуп вон лежит. Прямо на меня и смотрит, сердешный.

«Зеленовец» показал на печку. И верно, на печке, среди хлама, лежал тулуп.

— Сыми-ка, хозяйка, — приказал бородач Ганне.

Но Ганна, прислонившись спиной к косяку, тихо выла: «ой-ой-ой, божжа мой», захлебываясь, шептала она и кулаком размазывала слезы по лицу.

«Зеленовец» сам снял с печки тулуп. Тулуп был старый, рваный, в разноцветных заплатках. Когда его развернули, едкая пыль облаком поднялась к потолку.

— Сносил как, — укоризненно сказал «зеленовец». — Не хозяйский мужик.

Степа тревожно следил за отцом. С Осипом было что-то неладное. Он, шатаясь, прошел зачем-то в сени, но скоро вернулся, держа в руках большую медную кружку.

— На, — сказал он и поставил кружку на стол перед самым носом бородача. — На, — сказал он, — бери.

Бородач удивился.

— А зачем мне?

— Бери. Бери, — твердил Осип.

Бородач начал сердиться.

— Катись! — проворчал он, — не надо мне.

Но Осип не отставал.

— Бери. Пригодится, — негромко говорил он. — Доброму вору все впору. Бери. Ну!

Бородач побагровел. Его пальцы судорожно обхватили кружку.

— Вору? — процедил он. — Доброму вору? — И вдруг вскочил: — Ты что сказал: вору? — ах, ты!..

Сверкнув на солнце, в воздухе промелькнула медная кружка. Га! От блеска и от страха Степа плотно зажмурил глаза. А когда он открыл их, бандитов в хате уж не было, а на полу в крови лежал Осип.

## Глава девятая

### БАТЬКО АТАМАН

Бандиты давно уже ушли, давно уже отгрохотали их тележки по пыльной улице слободы, уже опять вернулась тишина жаркого июньского дня, а Осип все лежал на полу. Попало ему не сильно, повезло: удар пришелся по плечу, а кровь была не опасная, кровь шла из носа. Но Осип как бы умом тронулся. Он лежал пластом, — глаза закрыты, кровь тонкой струей стекает с подбородка на рубаху, с рубахи на пол, — и мычал. Мычал не переставая, ровно, как будто дело делал: «ымм».

Ганна принесла воды в той же медной кружке — с кружкой ничего не случилось, не сломалась и не погнулась даже, — она оказалась крепче хозяина. Вместе со Степой Ганна обмыла лицо Осипа холодной водой, вытерла сухим полотенцем кровь и Осип не сопротивлялся, только мычал. Но когда они захотели приподнять его и перенести на полаты, Осип вдруг забузил. Ганну сапогом в живот он отшвырнул в угол, а Стену хватил кулаком по скуле с такой силой, что тот отлетел на три шага и едва удержался на ногах.

Степа обозлился.

— Ну тебя, пьяницу, к черту! — сказал он с сердцем. — Я-то при чем? Твои же товарищи, «партейные». Воля! Воля! Вот они тебе и показали — «воля». Что? Невкусно?

Осип вдруг вскочил, сам вскочил, рывком.

— Врешь! — зарычал он. — Врешь, хол-лера! Не будет того! Я им пок-кажу!

Он был страшен, этот однорукий, долговязый человек. Он скрежетал зубами, рычал, как зверь, а по темным его щекам катились слезы, величиной каждая в горошину.

— Я им пок-кажу! — рычал он. — Я им пок-кажу!!

— Ну, что им сделаешь? Чего бахвалишься-то? Сам ведь того хотел. «Свои!»

Осип не ответил. Он, верно, не понимал, что говорил Степа. Ярость прошла. Он присмирел. Осип сел на лавке у окна и сидел долго, понурый и тупой, как вол. Изредка, когда очень уж надоедали мухи, — а мухи роями вились вокруг него, — он мотал головой и что-то бормотал про себя. Но что — не понять было. Только раз он сказал громко и отчетливо: «Очкастая твоя морда! Убивец!»

Степе стало жалко отца. Он попытался его успокоить и утешить.

— Плюнь, — сказал он, — чего ты от них хотел — бандиты же. Вот погоди — подойдут наши...

Осип, не дослушав, встал. Тяжело шаркая ногами, он пошел из хаты на улицу. Он недолго постоял у ворот, подумал, потом решительно повернул и зашагал к мосту.

Ганна, она в это время заметала под печь битую посуду, крикнула сыну:

— Степка, поди жа погляди, куда жа он!

Степа и сам уже собирался бежать за отцом. Он знал Осипа. Неладный мужик. Как бы чего не натворил. Главное, не напился бы. Напьется — скандалить начнет, а заскандалит — будет худо.

«Уж не к батько ли попер ругаться?» — с беспокойством думал Степан, еле поспевая за отцом. Осип шел быстро, помахивая в такт рукой, и Степе, чтобы не отстать, приходилось гнать рысью.

Улица была не та, что утром, не глухая, не безлюдная. Окна были открыты, у ворот кучами собирались мужики. На завалянках сидели бабы. Незачем было прятаться. Все, что можно, бандиты забрали. Очистили, окаянные, до нитки. Теперь ходи, гуляй, пой. Чего теперь-то хорониться? Но бабы не пели, бабы выли. А мужики стояли мрачнее тучи. Степа, проходя, видел, как Ермил, поджарый мужик с большим кадыком, подмигивал на Осипа и слышал, как он бурчал: «Твоей же стаи голубь».

«Искалечат мужики батьку», — понял Степа. «Так ему и надо, пьянице, — подумал он. — Чего ввязался? «Свой». Тоже!»

Парило. Казалось, надвигается гроза. Но небо было чистое и светило солнце. Листья деревьев поблекли, словно покрылись серой пылью. Сонно гудел шмель. Густой, недвижимый зной давил, как чугунная плита. Покупаться бы!

Должно быть, и Осип вздумал покупаться. Он пошел не по мосту, а берегом, дошел до песчаного мыса среди кустов и, не раздеваясь, опустился зачем-то на колени. Наклонив голову, Осип жадно тянулся к воде. Степа испугался. Чего он? Спятил или топить затеял? Степа вбежал на мост. С моста удобнее было наблюдать за отцом. Степа посмотрел и рассмеялся. Осип пил. Он пил, как лошадь, всхрапывая и пофыркивая. Ну и балда!

Напившись, Осип через мост направился в Славичи. Степа, незаметно для отца, шел следом, ни на минуту не упуская его из виду. Прошли одну улицу, другую, третью, миновали церковь и подошли к двухэтажному дому, в котором остановился батько. Так и есть! К батько попер!

У крыльца на часах, в полном боевом вооружении стоял бандит из личной охраны батько. Ему, верно, было скучно, этому рослому парню в черной черкеске. И вот, чтобы скоротать время, он занялся охотой. Держа у плеча винтовку японского образца, он не спускал глаз с церковного купола и, как только на крест садилась галка, начинал палить. Никто на пальбу не обращал внимания: стреляли во многих местах, к этому привыкли. Каждый раз, когда охраннику удавалось подстрелить галку, он шумно выражал свой восторг: хлопал себя свободной рукой по ляжке и гоготал. Невдалеке, у ворот, прямо на земле полулежал бандит в офицерском белом кителе с подполковничьими погонами, совсем мальчишка, с безусым, круглым девичьим лицом. За каждую убитую птицу он тут же наличными выкладывал сорок рублей керенками. Зато охранник за промаз платил «подполковнику» шестьдесят. Игра была азартная и увлекала обоих. Оба кипятились, часто ссорились и ругались.

На вопрос Осипа, дома ли батько, охранник ответил неопределенно: «Може дома, а може и нет. Тебе зачем?» Осип опять что-то сказал; что — Степа не расслышал, а бандит чесал затылок и, видимо, никак решить не мог, что верней: дать этому однорукому дьяволу по шее или же стукнуть его прикладом в бок. Наконец после усиленных просьб Осипа охранник смилостивился: «Хряй наверх, — сказал он, — дома».

Так как бандиты снова занялись пальбой, — «двух возьму, Мишка!» — хвастливо кричал охранник, — Степа быстро прошмыгнул на лестницу и поднялся наверх одновременно с отцом. Осип посмотрел на сына пустыми, невидящими глазами и промолчал. То, что Степа оказался здесь, его не удивило. Что тут такого? Раз пришел, значит, надо. Осип сейчас сообщал тугу.

Осип и Степа вошли в переднюю. Степе сначала показалось, что в передней — ни души. Повсюду на стульях, на подоконнике, на полу были раскиданы шубы, шинели и седла. Седел было больше всего. Посередине стояли два ящика, один поверх другого, с патронами. И — ни души. Степа вздрогнул от неожиданности, когда вдруг раздался чей-то слабый голос,

который спросил, чего им... Оказалось, что в углу за столиком сидел лысый писарь и усердно скрипел пером.

— Вам что угодно-с? — спросил он.

— Мне бы до господина атамана, — несмело сказал Осип.

Писарь встал, приоткрыл дверь в соседнюю комнату, просунул в щель кончик носа и, напрягая горло, крикнул:

— Никон Ануфриевич, к вам.

— Гони! — ответил сишный голос батько.

Писарь хотел захлопнуть дверь, но Осип, набравшись решимости, оттолкнул его и пролез вперед. Степу писарь не пропустил. Но дверь за Осипом осталась открытой и Степе видно было все, что делалось в соседней комнате.

Во всю длину комнаты, — а комната была узкая и очень длинная, когда-то здесь помещалась чайная-закусочная, а после революции читальня и зал для докладов, — тянулся ряд столов, сдвинутых вместе и для верности связанных еще веревками. На столах громоздились бутылки, стаканы, тарелки, кастрюли, опять бутылки и опять бутылки, с вином, со спиртом, с коньяком, с самогоном. Вокруг столов сидело человек тридцать. Посередине лицом к двери — батько, справа от него — очкастый, слева толсторожий. Щеголь-ординарец сидел рядом с очкастым, дальше — личная охрана батько, за ними — штаб отряда, шесть молодцев с ручными бомбами, прицепленными к поясам, и крайними за столом сидели члены совета Вольных штатов — дьяк и Сонин. И еще Антон.

Батько обедал. С притворной грубостью радушного хозяина он журил поочередно всех гостей за то, что будто мало едят и пьют. Чаще всего он обращался к очкастому:

— Хреновый ты мужчина, Бенедикт, — говорил он. — Рази так пьют? Глаза зажмурит, языком, как корова, лизнет и оставит. Рази так пьют? Так бабы пьют. Ты учись, — он показал на толсторожего, — вот человек пьет, любо-дорого. Уж он анархист, так анархист. Что надо: и выпить не дурак и в обиду себя не даст. Не-ет. А ты блаженный какой-то, хреновый мужчина. Ты не обижайся, Бенедикт. Я тебе от сердца говорю. Я ведь тебя, дурня, люблю. Ты вот меня не любишь. Это верно. Ты анархию свою любишь и потом, — батько прищелкнул пальцами, — пети-мети любишь. Я, браток, знаю. Копишь, ведь, черт, золотые десятки? Ну, рассказывай. Ладно. Ладно. Меня не обманешь. Я зна-а-ю. У меня, браток, сто глаз. А вот за ум тебя уважаю. Все понимаешь, чисто. И потом учен ты. Ну, прямо архиерей. За это уважаю. Верно слово, уважаю. Ну,



чего сумный сидишь? Эх ты, чудак. Я ведь тебе от любви говорю.

Очкастый не от обидных слов клевал носом. Он хлебнул лишнее и осоловел. Сдвинув очки на лоб, он выпученными близорукими глазами обводил стол, как бы не понимая, что тут за люди, застывал на миг и вдруг, поникнув кудреватой головой, засыпал. Его будили. Он опять таращил глаза, опять не понимал, где он и опять засыпал.

Осип переминался с ноги на ногу, не смея ни подойти к батько, ни окликнуть его. Он бы так и ушел незамеченный никем, если бы не щеголеватый ординарец.

— Э, ты, чего? — громко, через весь стол, спросил ординарец.

— Мне бы к ним, — сказал Осип.

— К кому — к ним?

— К господину атаману.

Батько услышал «атаману», вскинул голову и хмуро посмотрел на Осипа.

— Тебя кто сюда пустил? — сказал он. — Что надо?

Осип осторожно, стараясь никого не задеть, стал пробираться к батько.

— Ты вот послухай, что эти твои грабители понаделали, — бормотал он на ходу. — Ты вот послухай...

Щеголеватый ординарец вскочил и преградил ему дорогу.

— Куда прешься, ну? Катись отсюда!

Осип обошел ординарца, как обходят пень. В этой комнате он видел только батько, только батько ему был нужен и он шел прямо на него.

— Ты вот послухай, — говорил он, — ты вот послухай, что они наделали...

Но батько слушать не хотел.

— Да гоните вы его к черту! — нетерпеливо крикнул он. — Чего там возитесь?

На помощь ординарцу поспешил штабист, плотный дядя с усами, как у таракана. Они обхватили Осипа, скрутили ему руки, и, подталкивая пинками, поволокли к двери.

— А ты не лезь! не лезь! — приговаривал ординарец.

— Пустите его!

Это было так неожиданно, что все приумолкли. И в тишине снова прозвучал сердитый оклик:

— Пустите его, говорю!

На ординарца наступал Сонин, круглый, краснощекий, в бархатных шароварах и в длинной чесучовой толстовке. Он наскакивал, как драчливый петух, как-то смешно подпрыгивая. Он размахивал суковатой дубинкой, — а в дубинке без малого полпуда — и звонко, по-бабьи, кричал:

— Пустите, говорят вам! Он жаловаться пришел! Он к нам пришел. А вы — бить! Пустите же!

Ординарец растерянно пятился перед грозной дубинкой.

— Что ты? Что ты? — бормотал он ошалело.

Вдруг перед носом Сонины вырос громадный бородавчатый кулак батько. Маленькие глазки атамана налились кровью, а рубец на щеке дергался как живой.

— Ты что? — свирепо и тихо проговорил батько. — Ты что, жидовская морда? Указывать? Ты мене указывать? Да я тебя в порошок сотру! Ноги из заду выдерну! Шампалов не кушал, сукин сын? Нет? Так покушаешь! Федька! — гаркнул он.

Ординарец с готовностью щелкнул шпорами.

— Слушаю.

— Тридцать шампалов! И живо!

Батько грузно, как после трудовой работы, вернулся к столу.

— Уходи отсюда, уходи! — заверещал над ухом Степы нудный голос писаря, — уходи, а то караульного позову.

Степу упрашивать не стоило. Он уж и рад был уйти поскорее. Кубарем скатился он с лестницы, зажал под мышкой шапку и — бежать.



## Глава десятая

### АНАРХИСТЫ

Пробежал Степа немного. Там, где начинались ряды лавок, там нельзя было ни пройти, ни проехать. Улицу запрудили десятки телег. Сначала Степа понять не мог, что за телеги. Похоже было, что завтра «духов день», когда в Славичах открывается годовая ярмарка. Накануне еще из окрестных деревень наезжали крестьяне, на базарной площади ярмарочные торговцы ставили палатки, строили карусели и балаганы, а с зари до позднего вечера шумело и буйствовало великое торжище. Но «духов день» уже миновал, да и вообще в эти последние три года ярмарок не бывало и не сегодня же, когда в Славичах бандиты, открывать ярмарку. Но что за телеги? Откуда вдруг столько?

Скоро, впрочем, все объяснилось. Степа услышал звон разбиваемых замков и треск досок. Бандиты «чистили лавки». Орудовали одни «зеленовцы», юнцы и бородачи, кто в шинели, кто в расшитой полотняной рубахе, и действовали все одинаково усердно и дружно, не за страх, за совесть. Это была их законная добыча. Батько за помощь дал им лавки. «Зеленовцы» — в большинстве окрестное кулачье и дезертиры Красной армии, недовольные продрозверсткой и дисциплиной, — долго сидели в лесах и присоединились к отряду лишь недавно. Сделку «зеленовцы» заключили с батько еще до взятия Славичей. Главари «зеленовцев» потребовали лавки. Батько согласился, но с оговоркой — часть в пользу «вольнопартизанской дивизии». Славичи взяли. Зеленовцы тотчас дали знать по домам: «Гони подводу». И вот теперь они сбивали замки, ломали двери и, сгибаясь под тяжестью пятипудовых мешков, таскали муку и соль, и сахар-рафинад, и мануфактуру, и синьку, и иголки, и черствые калачи, и дамские шляпы, и чугунные котлы, и банки с солеными грибами, и гвозди, и склянки с уксусом, и бутылки с подсолнечным маслом, и бусы, и рогожи, и детские игрушки.

«А правда батя говорил, — подумал Степа, — что «доброму вору все впору».

«Зеленовцам» в грабеже помогали жены, дети, старики-родители. Старики жадничали как-то особенно люто. Они не упускали ни соринки. Что не укладывалось или не умещалось

в телеге, запихивали за пазуху, совали в карман, прятали в шапку. Торопливо и юрко, как большие крысы, метались они между телегой и лавкой, отпихивали соседей, кричали и бранились. Несколько раз дело доходило до драк, но драки не затягивались, спешили, а то, глядишь — пока ты тут колошматиться, а уже ничего и нету. Другие-то не спят и не ротозействуют, они знай набивают мешки и карманы.

— Сюды, сюды! Не рассыпь! Чего толкаешься, холлера? Мое! Не трожь! Куды? Уббью! — висел над улицей многоголовый крик.

У каждой лавки стояло два-три человека из охраны батько. Они на глаз, примерно, определяли, сколько и чего полагалось сдавать в пользу дивизии. Брали они лучшее, но с ними никто не спорил, их боялись. Ребята скорые, за поясом, туго обхватившим черкеску, у каждого два револьвера, ежели что — ухлопают и спасибо не скажут. Нехай берут, не жалко. Всем хватит. Много.

Хозяева лавок — вольные граждане вольных штатов — не показывались. В опустошенных домах, за плотными ставнями, они дрожащими голосами молили бога об одном: о спасении живота. О большем никто и просить не смел. Они затыкали уши, чтобы не слышать, как жалобно ноют замки, как трещат доски, как дико горланят и воют «зеленовцы». Быть бы только живу! Быть бы живу, господи!

Но господь помогал слабо. Лавочника Абе, горбуна с хитрым лисьим лицом, «зеленовцы» убили. Абе жил во втором этаже над лавкой и, когда к дому подкатили штук пять телег, он кинулся к окну. Абе торговал зонтами, галстуками и пуговицами. И то, и другое, и третье было бандитам ни к чему. Абе вздумал предложить им взамен товара деньги. Он распахнул половинку окна и крикнул:

— Погодите минуточку!

Пожилой «зеленовец» с окладистой по пояс бородой чинно ответил: «Погодим. Чего нам?» И так же чинно разрядил Абе в голову винтовку. Горбун не пискнул даже. Он со стуком рухнул на пол. Пуля прошла через рот в затылок.

— Вот те и погодил, — удивленно сказал пожилой «зеленовец», — потеха!

Он поскреб за ухом, сплюнул и пошел к товарищам на подмогу: замок не поддавался, надо было взламывать дверь.

— Дружней! — крикнул он. Приналег плечом и крикнул, — взяли! Раз!

«Чеку бы на вас! — стиснув зубы, думал Степа. — Распоясались, гниды. Погодим, дядька, погодим! Посмотрим!»

На базаре вдруг началась завируха. «Зеленовец», молодой парень, приземистый и крепкий как медведь, — Степа его знал: Гришка Коротков из Глубокого, дезертир, — напирал на охранника и кричал:

— Мародер ты, вот кто, тудыт твою растуды! Отдай деньги!

Случилось вот что: привалила этому парню удача. Забежал он в пустую, уже очищенную до нитки лавку, и нашел на полу в мусоре помятую жестяную банку из-под монпансье «Ландрин». Он пнул банку носком сапога и в банке что-то звякнуло. Взял он банку, снял крышку, глянул — и, мать честная, двенадцать золотых десяток! Ему бы смолчать, а он на радостях, к тому же был подвыпивши, давай хвастать. И покатила по телегам молва, что нашел-де Гришка Коротков полну банку золота. Охранники пронюхали такое дело, разыскали парня и отобрали все двенадцать десяток до единой. Это больше всего бесило парня. Ну взяли бы треть, как полагается, ну половину, ну десять десяток, леший те задави. А то — все!

— Мародер, растудыт твою! — разошелся он, — отдай деньги!

Охранник, сероглазый, бритый, с коротко подстриженными усами цвета спелой соломы, небрежно водил перед лицом парня тяжеловесным кольцом и цедил:

— Не балуй, не балуй, браток. Слышишь?

Но парень ослеп и оглох. Парень ничего знать не хотел.

— Отдай деньги! — рычал он, — деньги отдай, мародер!

«Зеленовцы» были на стороне парня. Свой! В обиду не дадим! Брешешь! Они угрожающе наседали на охранников, — их у этой лавки было всего двое, — и все теснее смыкали круг.

— Чего там? — раздавались невеселые голоса, — Гришка прав. Отдай деньги! Мало вы, чертова сотня, грабили нас? Держись, ребята! Не поддавайсь! Своих забижать мы не дадим! За что воевали? За что кровь проливали? Чтобы нас грабили? Держись, ребята! Не поддавайсь!

На выручку бросились охранники из других лавок, но их не подпустили.

— Куды? И без вас обойдется! Гришка прав! Грабите нашего брата! Кровь сосете, паразиты!

А парень не унимался. Он лез напролом и тупо повторял одно и то же:

— Отдай деньги, мародер! Деньги отдай!

Охранник сказал четко, так что всем было слышно:

— Говорю в последний раз — отстань! Слышишь?

Парень обеими руками рванул рубаху и обнажил бронзовую от грязи, широкую грудь.

— На, стреляй! Но деньги отдай! Отдай деньги, мародер!

Выстрел грянул. Парень открыл рот, захлебнулся и стал медленно оседать. Пальцы его сжимались и разжимались, а глаза как бы вылупились из орбит.

И в эту же минуту какой-то верзила «зеленовец» размахнулся и с придыхом, как мясник — га! — хватил охранника по голове прикладом. Череп хряснул и распался на куски. Охранник вскинул руки и брякнулся лицом об пол.

Сразу со всех сторон захлопали выстрелы. Охранники были сильнее, вольно-партизанская дивизия на три четверти была их, поэтому «зеленовцы» поспешно вскарабкались на телеги и принялись нахлестывать коней. Но уже спереди, сзади, с боков, сверху откуда-то, с церковной колокольни, что ли, затакали пулеметы. Кони вздыбились и не двигались с места. Заголосили бабы, захныкали дети, гнусаво завопили старики. А пулеметы строчили как швейные машины: так-так-так.

Степа прижался к каменной ограде церкви и застыл. Еще подстрелят ненароком, дьяволы.

— Каковы анархисты? — близко сказал знакомый голос, — молодцы!

Рядом в большой зимней шапке с наушниками стоял Меер.

— Меер! — обрадовался Степа, — ты как?

— Поперли. — Меер ползком начал пробираться вдоль ограды, Степа за ним.

Когда они вышли на тихую улицу, Меер выпрямился и сказал:

— Сегодня в десять приходи ко мне. Понял?

— Что будет?

— Совещание будет. Выступать думаем.

Степа обрадовался.

— Вот это дело! — сказал он — а то видишь, что тут дееется? Мне уж Лешка говорил. Верно! Чего ждать-то?

— Каданера ждем, — сказал Меер, — оружия мало. На худой конец, так выступим. Народ подсобирается.

— Ян что говорит?

— Ян говорит — подождать пока. Приходи, поговорим. Ты там у себя на слободе выясни. Федора позови. В десять часов у меня. Помни.

Меер свернул в переулок. Он подошел к третьему от угла дому и постучал в окно.

В этом доме жил Мотэ.

Степа подбодрился. Выступать будем! Это дело! Ого, браток! Живем!



## Глава одиннадцатая

### НОЧНОЙ СОВЕТ

Федор уже ждал.

— На мази, — коротко доложил он.

— А что? — опросил Степа.

— Клюет, ну! Спасибо бандитам. Помогли.

— Грабежом? — сказал Степа.

— Эге, — сказал Федор, — ты ведь нашу слободу знаешь. Антон Микитенко, вор, потом Гаврила Лыков, сукин сын, те сразу за бандитов стали. «Во, говорят, наша власть, крестьянская». Многие понимают, что врут, а другие мужики сомневаются. Ты как ушел, я тут поговорил кой с кем. Из наших, из комбеда которые, те охотно идут, а другие мужики, вижу, сомневаются. «Ладно, думаю, погодим. Погодим, Федька». А тут в аккурат на слободу бандиты подоспели, за контрибуцией. Почистили мужиков как следует, так те и взвыли. Сейчас пол-слободы с нами. Молодые так хоть сразу в бой.

— Вот это ладно, — сказал Степа, — ты их держи наготове. Может, сегодня даже потребуются.

Федор весело подмигнул.

— Выступаем никак, а?

— Приходи часов в десять к Мееру, к сапожнику, — уклончиво ответил Степа, — знаешь где? на «низу». Там совещание будет. Послушаешь. В десять.

— Ладно, космогол, буду.

Наступил вечер. Степа не знал, пора ли, нет ли, — часов в хате не было, но сидеть так без дела было трудно. Степа зашел на минуту в хату, потоптался на месте, потом повернул и направился в Славичи.

Густые теплые сумерки обложили землю. Неразличимые в сумерках, по улицам и переулкам шатались бандиты. Напялив на себя вороха одежды, пьяные в лоск, они гоготали, пели и стреляли в воздух. У здания совета, — здание смотрело в мир черными провалами выбитых окон — сидя на скамейке у ворот, какой-то бандит играл на гармошке. Играл он складно. С разухабисто-веселой трели переходил вдруг на тягучий лад деревенской песни. Очень хорошо он исполнял «Ночку», на басистых нотах, и долго-долго тянул: «н-о-о-ч-е-н-ь-ка». Ка-

залось, человек едет по степи и поет сквозь сон. Начал петь и задремал — и песня сама за ним идет.

Сосед по скамейке, великан с запорожскими усами, кивал в такт головой и говорил вдумчиво и грустно:

— Ладна граешь, Петро. Ладна граешь, тряски твоей матке.

Подошли трое. В обнимку, шапки набекрень, гимнастерки расстегнуты и в шубах. Остановились послушать гармонию.

— Ты бы ей, браток, водку дал, — посоветовал один гармонисту, — тогда веселей може играла б.

— А то овса, — сказал другой и заржал.

Гармонист, не переставая играть, попросил ласково и нежно: «А проваливайте-ка, братишечки, ко всем ко псам».

Напротив Совета, прислонившись к палисаднику, стоял маленький старичок. Степа его узнал — Лука из Вознесенского. В левой руке он держал батожок, а за спиной у него болталась тощая котомка. Обитого железом сундучка не было. Потерял или отобрал кто. Лука стоял неподвижно, как камень, а около него возился бандит мрачного вида, плосконосый, с вывороченной губой. Они были Степе хорошо видны, так как бандит держал в руке горящую свечу.

— Цыц, дед, смирна, — говорил он Луке, — смирна, черт, а то все дело спортишь.

Степа никак не мог сообразить, что у них за «дело» такое. Старик кротко улыбался и в то же время как-то испуганно и часто моргал, а бандит уныло топтался на месте со свечой в руке. Ничего не понять.

Проехал охранник. Он посмотрел, придержал коня и спросил у губастого, выговаривая слова туго, по-северному: «Что делаешь?»

— Что надо, то и делаю, — хмуро проворчал губастый, — бороду ему копчу, вот что делаю, — пояснил он.

— А зачем?—удивился охранник.

— А для смеху, — мрачно ответил губастый.

Степа поспешил уйти.

«Эх ты, старый пень! — думал он, — «пойду к батько на службу проситься». Вот тебе и служба: стой, как чурбан, а тебе будут коптить бороду. Говорил: воротись. А он — «не можно»!

Меер жил на «низу». Так называлась в Славичах крутая и узкая улица у реки, тесно застроенная домами. В этих ветхих сырых домах-клетушках ютилась вся местечковая голь: сапожники, портные, кузнецы. Непролазная, непросыхающая грязь заставляла строить дома на сваях, и были они похожи на го-

лубятни. Удивительных «птиц» можно было встретить в этих голубятнях: детей со вздутыми, как тесто, животами, лысых женщин, калек всех мастей: безногих, безруких, слепых, горбатых. Молодых, здоровых осталось мало, они бились на бесчисленных фронтах, бились за право на завтрашний день, на жизнь, на хлеб для детей. Бились яро и в плен не давались. Чем было дорожить? Умереть в бою от пули куда веселей, чем дома от чахотки.

У Меера на дворе, в самом дальнем углу, на плешивом бугорке за сараем, собралось человек пятнадцать. Место сбора выбрали дельно. Дом Меера, крайний на «низу», стоял на берегу реки, направо — кузни, налево — огород. Смываться если надо — беги в любом направлении на выбор, хоть к кузням, хоть на огород. А то можно и вплавь. Течение тут тихое, не закрутит и не засосет. И лодка есть.

В темноте, неприметные и неузнаваемые, люди тесно сгрудились на голом бугре и тихо переговаривались. Река плескалась о берег. На черном небе вспыхивали зарницы. Нудно ныли комары. Ночь. Весь огромный мир сжался в малый круг и в центре круга неутомимо урчал человеческий голос, стараясь кого-то в чем-то убедить.

— Не годится. Никуда не годится. Установка неверная и вывод неверный, — убеждал голос. — Что ты мне — «дезертирство»? Испугать хочешь? Не испугаешь. Сам умный. Постой. Не перебивай. Рассмотрим твои доводы по порядку. Уре задержался и неизвестно, когда он будет. Раз. Бандитам местечко удалось взять без боя. Два. Изрубили и расстреляли не всех коммунистов, мы вот остались и еще кой-кто из наших живых. Три. Население это знает и рассуждает так: «Большевики-де хороши и смелы, покуда у них сила и власть. Если на них навалится сила посильней, они без боя сдают города, а сами спасаются кто куда, и хоть ты у них на глазах режь, бей, вешай, они хоронятся в подпольи и пикнуть не решаются». Верно я передаю твои слова? Хорошо. Следовательно, по-твоему, надо немедля, и не дожидаясь Каданера, делать нападение на бандитский штаб и постараться изничтожить главарей, а там видно будет, что дальше. Так?

«Это кто же говорит? — думал Степа, прислушиваясь к голосу, — Губарев, что ли? Да, Губарев, продком. Уплыл-таки. Молодчина!»

— Хорошо, — продолжал Губарев, — теперь вот меня послушай. По первому пункту: Уре обещал быть сегодня к ночи, на

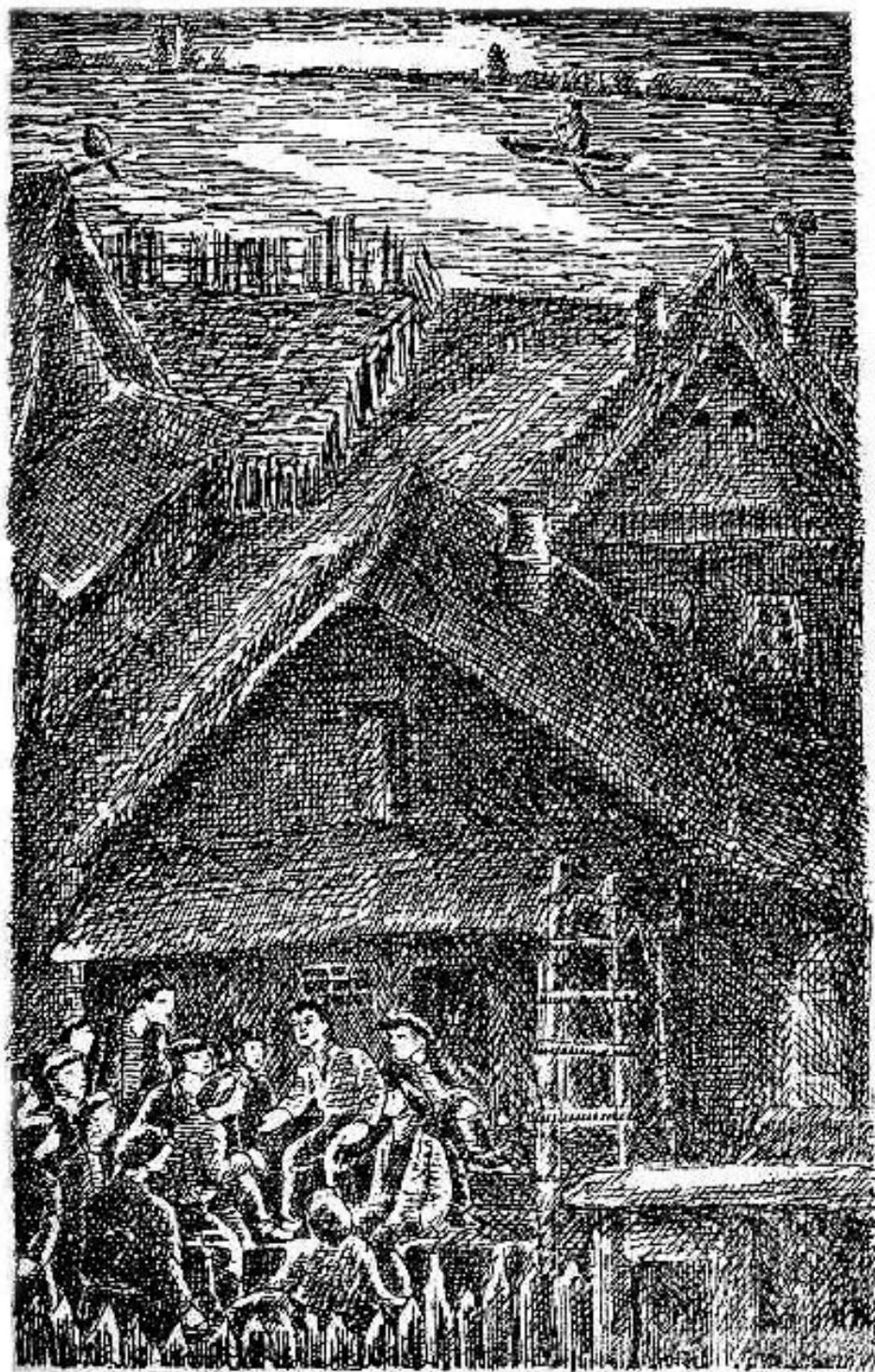
плохой конец — завтра. Уре, уезжая, знал положение дел. Значит, он сам торопится. Ночь только началась. Он еще может прибыть. Но давай условимся, что Уре будет только завтра утром или днем. Предполагать же, что он задержится дольше, у нас оснований нет. Хорошо. Второе: бандиты Славичи взяли без боя. Это наше упущение, крупное и дорого нам стоящее упущение. Не спорю. Защитить Славичи нам все одно не удалось бы. У них триста-четыреста сабель, а у нас сколько? Да и оружия мало. Конечно, биться надо было. Это не отговорка, что нас мало. Но нагрянули они утром, когда их никто уже не ждал, когда караулы уже снялись. Обычно они ночами наезжают. Так или иначе — об этом теперь поздно говорить. Третье: население знает, что кой-кто из большевиков жив, а молчит, не защищается, не борется и осуждает нас за это. Но давай уточним, какое население? Население населению рознь. Есть враги и есть друзья. Врагам, конечно, хотелось бы, чтобы мы выступили, тогда нас можно будет перебить всех до единого, купно, а то иди разыскивай каждого в отдельности. А друзья понимают, что выступать нам сейчас, когда нас сорок на четыреста, — авантюра и ничего спасительного она не принесет. Друзья понимают и не осуждают. Врешь.

— Ну, а ты-то что предлагаешь? — истерически крикнул Леша.

— Постой, не ори. Не глухие, — сказал Губарев. — Я предлагаю вот что: выступлений сейчас никаких не делать. Повторяю — это авантюра и вредная к тому же авантюра. Один на десять это не бой, это самоубийство. Пользы от этого нуль, а вреда много. Отказаться сейчас от выступлений — это не дезертирство. Это, братец ты мой, тактика. А мы, большевики, всегда за правильную тактику. Все обстоятельства, все наличные силы надо использовать умело, а не оголтело. Выступить-то мы выступим, но знаешь, Косой, когда? Когда к городу подступит Каданер. Тогда-то это будет и нужно и вовремя. Почему? А потому что с Каданером тоже не десять полков придут, а человек двести-триста. Значит, бандиты смогут выскочить из кольца, вырваться, а потом набедокурить в другом, в третьем месте. А наша задача будет вот в чем: в начале боя, в суматохе напасть на их штаб и всех главарей расстрелять. Тогда это нам удастся. А без главарей эти сволочи никуда не годны. Это стадо, а не отряд. Вот что я предлагаю.

— Правильно, — сказал голос Яна.

Но Леша не соглашался.



— Вот именно, вот именно, — горячился он, — тогда-то и нельзя будет. Тогда, в бою они будут начеку. Они тебя к штабу и не подпустят. Дураки они, что ли? А вот сейчас, когда они спят...

— Не спят. Врешь, — жестко перебил Губарев. — А песни кто горланит? На гармошке кто играет? Ангелы небесные? Ты, Леша, всегда так: «бац-бух-бом». А там, глядишь, и сел в лужу. Это я тебе, Лешка, когда-нибудь в более спокойное время на вид поставлю. Это, брат, не тактика. Глупо рисковать — не геройство, не проступок даже, это преступление перед революцией. За это можно и из комсомола вон и к стенке. Понял? Куражиться тебе перед нами нечего. Мы не барышни. Вы как, товарищи, думаете? Принимаете мои предложения?

— Чего там? Ясно, — сказала несколько голосов.

— Конкретно — что? — спросил Ян.

— Конкретно вот что, — сказал Губарев, — одного человека, — нет, двоих, двоих верней, — немедленно послать в уезд, к Уре, чтоб поторопить его и погнать сюда. Кто пойдет, товарищи?

— Я, я, я! — одновременно сказала несколько голосов.

— Пойдешь ты, Ян, — решил Губарев, — и еще Никита. Поговорю потом с вами, что ему передать. Второе: сколотить два отряда. Ты, Ян, сколько можешь дать ребят?

— Нас тут одиннадцать, — сказал Ян, — еще Мирон, еще Оре. В общем человек пятнадцать наскребу комсомольцев. И беспартийной молодежи еще... Федор!

— Ну? — ответил голос.

— Сколько у тебя на слободе народу?

— Да человек двадцать наберется, — сказал Федор.

— Один отряд есть, — сказал Губарев, — команду беру на себя я. Наша задача: в начале боя сосредоточиться где-нибудь в районе их штаба. Я думаю — на церковном дворе, — впрочем, насчет этого еще покумекаем, — и при первой же возможности прихлопнуть батько и иже с ним. Если удастся кого захватить живьем, того лучше. Нет — и не надо. Но убить, в частности батько и этого очкастого гада, анархиста бесова, обязательно. Второй отряд... команду берешь ты, Мейлех, — сказал он кому-то в темноту.

Густой голос ответил: «Ладно».

— А сколько ты можешь выставить? — спросил Губарев.

— Столько же, думаю, тридцать, — сказал голос.

— Итого шестьдесят пять. Не жирно, — Губарев повернулся к Леше, который сидел от него справа: — А ты — выступать немедля! чудила! У тебя, Мейлех, задача будет такая: Каданер, верно, подступит с юга, там проходит шлях, а ты заляг с отрядом у больницы и жарь — напропалую. Патроны есть? Добре. Важно, чтоб бандиты подумали, что они в мышеловке, что их окружили, тогда они всю свою пьяную удасть потеряют и дело пойдет легче. А не сможешь удержаться у больницы, пробивайся к штабу. Главное, товарищи, главарей истребить. С остальными просто.

— С оружием как? — спросил Ян.

— Ничего, — успокоительно сказал Губарев, — у меня в верном месте запрятано кой-какое барахлишко. Пойдем скоро и откопаем. Там винтовок штук двенадцать, наган, маузер, два браунинга, — на первое время хватит. Потом Каданер подойдет. Ну, ладно, ребята, надо расходиться. Ян, Никита, вы останьтесь и ты, Мейлех. А вы, товарищи, запомните: как услышите, что началось, что Каданер подступает, каждый на свое место, в свой отряд. Что делается на церковном дворе, кто знает? Место аппетитное. В аккурат против штаба, окно в окно...

— Я знаю, — сказал Степа, — они на колокольне поставили пулемет.

— Вот оно что, — Губарев помолчал, подумал, — хорошо бы пулеметик этот захватить, — тихо сказал он. И вдруг ожил: — И захватим! Что думаешь? Захватим, черт дери, и так шарнем, что им там в штабе жарко станет! Поглядишь, Косой! Итак, место сбора — церковный двор. Припечатано. Только осторожно, чтоб нас раньше срока не заметили. Понятно? А теперь, ребята, выметайтесь. Пора.

— Губарев, послушай, — сумрачно сказал Меер, — сколько же сегодня наших убито, не знаешь?

Губарев встал. Он был босой и без шапки, как на мосту утром, когда он бежал от чубатого.

— Много, — глухо сказал он, — много, брат. Завтра подсчитаем. Очень много.

— И Бера убили, — сказал Леша.

— Знаю. Ну, идите. Пора.

Расходились тихо и не группами, а в одиночку. На небе все так же полыхали зарницы. Но грома не было. И высоко наверху теплились звезды.

Степа вышел на Пробойную. По улице шлялись бандиты, пьяные и говорливые. Ночь была душная, но бандиты разгуливали в шубах. Одежда богатая. Снимать жалко. Гармонист у Совета все еще наяривал на гармошке. А великан с запорожскими усами кивал в такт головой и говорил вдумчиво и грустно:

— Ладно граешь, Петро. Ладно граешь. С о б-б а к а!

«Погодите, дьяволы, — думал Степа, — погодите, доиграетесь».



## Глава двенадцатая

### ГРАФСКАЯ РОЩА

Часа в два ночи Степан услышал шаги под окном и шорох. Степа приподнялся и прислушался. В хате все спало, только муха билась в паутине, трепыхала крыльями и громко жужжала. А под окном кто-то ходил, чья-то рука царапала стекло и приглушенный голос звал Степу по имени. Степа встал, вышел в сени и, не откидывая засова у дверей, спросил тоже шепотом:

— Кто там?

— Я, — ответил голос. — Я, Меер.

Степа открыл дверь. Было темно, как в колодце. И тихо. В хлеву вздохнула корова и зашуршала соломой. Далеко в поле пролаяла собака. В Славичах пьяный бандит пел и плакал. Ни один звук не пропадал в этой гулкой тишине.

— Чего ты? — спросил Степа.

Голос Меера коротко сказал:

— Одевайсь. Идем.

Степа, не рассуждая, — идем, так идем, — вернулся в дом, натянул сапоги, надел штаны и рубаху и беззвучными шагами, чтоб не будить никого, вместе с Меером вышел на улицу. Вдруг Меер остановился.

— Лопату взял?

— Нет, — сказал Степа. — Зачем?

— Возьми. Лопату или заступ. Надо.

Тут Степа догадался, куда они идут. Оружие откапывать. Но почему нет Губарева? Без него в эту темь разве найдешь что?

— Губарев где? — сказал он.

— Там.

Где там — Степа не спросил. Придем, увидим. Раз Губарев там, значит все в порядке.

У кузни Меер свернул и пошел куда-то вкось по полю, по ржи. Идти было трудно: высокая рожь цеплялась за ноги. Приходилось часто подпрыгивать обеими ногами, как стреноженная лошадь. Вспугнутые лягушки поспешно удирали. Шли молча. Степа не совсем еще проснулся. Он зевал, потягивался. Было зябко и хотелось спать. Вспоминался последний сон. Глупый сон, а не лез из головы: будто он, Степа, подымает-

ся в гору, а на горе стоит птица, лохматое создание в очках. Птица долбит носом землю и пронзительно пищит: «Что? Не так? Не так?» Глупый сон.

Стал слышен плеск воды. Поле закончилось ложбиной, поросшей травой и кустарником, а в ложбине протекал ручей. Меер приостановился.

— Что-то не то, — сказал он. — Не туда зашли.

— А куда надо? — спросил Степа.

— Надо к графской роще.

— Фью, — свистнул Степан, — вот так поводырь. Графская роща где ж? Знаешь?

— Не скули, — проворчал Меер, — веди ты, коли знаешь.

Степа повел. Шел он наугад, все равно дорогу не найти было. Графская роща, по его расчету, была левей. Он и шел все влево и влево. Долго, пока не уткнулся в стенку. Степа удивился: откуда в поле взялась стена? Ощупью Степа добрался до двери. Выходит, что не просто стена, а дом целый. Что за черт?

— Спички есть? — спросил он.

Меер вместо ответа чиркнул спичку. Слабый свет на миг вырвал из темноты корыто с водой и над ним точильный камень.

— И ты, брат, поводырь аховый, — сказал Меер, — узнаешь, где мы?

— Узнаю, — буркнул Степа. — Кузня.

— То-то и есть, что кузня, — сказал Меер. — Опять двадцать пять. Откуда вышли, туда и пришли.

— А кто виноват? — сказал Степа. — Я...

Меер вдруг толкнул его в бок.

— Т-ш-ш, — шепнул он, — засохни.

К кузне приближались люди. Судя по голосам, трое. Один все кашлял, надрывно и хрипло, по-собачьи, — так мог кашлять только дьяк, и в промежутках говорил:

— Сам слышал, — говорил он. — Своими ушами слышал, как он сказал: «в роще». Я — вас искать. А пока я бегал, искал, они пропали, провалились, как в бездну. Но мы их найдем, мы их найдем, бесов. Они там, в роще...

Дьяк закашлялся.

— Много их было-то? — спросил другой голос.

— Много, — прохрипел дьяк. — Все они туда придут. У них там великое собрание будет. Я слышал. Я знаю...

— Ежли многа, — сказал третий голос, выговаривая слова туго, по-северному, — то что с ними поделашь? Другиж пойдём. Народу наберем.

— Нет, нет, нет, — зачастил дьяк, — не годится. Они теперь собрались вместе, а потом их не найти будет. А бояться их можно ли? Трусы же. Я знаю. Я их знаю.

— Знаешь, так и лови, — сказал второй голос — а мне спать охота. Вороти оглобли, Микола.

— И то, — охотно согласился Микола. — Другиж пойдём.

— Да что вы? Да что вы? — забеспокоился дьяк, — разве можно? Я вам говорю — все они там, весь кагал ихний. Ради господа бога, не уходите. Другой такой случай когда представится? Ради господа бога...

Бандиты, видать, и сами не знали, как быть.

— Что скажешь, Микола? — нерешительно сказал второй голос. — Темно дюже, не увидишь ни черта. Где тут поймаешь? Он тебе дулю под нос, а ты подумаешь — морочится. Разве в этой мге разглядишь что? Ни черта.

— И то, — согласился Микола.

— Ради господа бога, — молил дьяк, — ради господа бога...

— А близка? — смачно зевая, спросил второй голос, — а то, може, это за три версты?

— Да что вы? Да что вы? — заюлил дьяк, — рядом, совсем рядом.

— Вот нам и поводырь, — шепнул Меер. — Он-то, пес, дорогу знает.

Но Степа испугался.

— Как быть-то? — прошептал он, — накроют они наших, боюсь.

— Ты не бойся — тогда не накроют, — спокойно сказал Меер.

— Наган с собой?

— С собой.

— Достань-ка его.

Они шли за бандитами следом, на расстоянии шести-семи шагов. Степе приятно было ощущать в руке холодную сталь нагана. Славная игрушка. Не подведет, когда понадобится, и не выдаст.

— Как начнут подходить к роце, стреляй, — шептал Меер.

— Надо, чтобы наши догадались, в чем дело. Понимаешь?

— Не видать ничего, — сказал Степа, — да и лопата мешает.

— Все равно стреляй, — шепнул Меер. — Я скажу когда. А лопату дай мне.

— Я их всех по именам знаю, — хрипел дьяк, — запомнил. И все как один — грабители, насильники, богохульники. У меня есть книжечка. В ней я изо дня в день записывал все их деяния. Как летописец Нестор, я записывал в книжечку сказание за сказанием. А сказания-то эти на моих глазах совершались. И все они кровью омыты. Да. Я свидетель. Изо дня в день. Изо дня... — Дьяк поперхнулся, закашлялся. — Изо дня в день, — захлебываясь, хрипел он, — изо дня в день...

— Ты у нашего писаря спроси, — серьезно сказал второй голос. — Он описывает тож. Ероїства наши описывает. Ох, едрено лапоть, и хлестко ж пишет. Все как полагается.

Микола вдруг выругался длинно и замысловато.

— Что такое? — забеспокоился дьяк, — случилось что?

— Чурки, вишь, пошли, — сердито ворчал Микола. — Ступать худо.

— Господи боже! — обрадовался дьяк. — Это же роща!

Меер дернул Степку за рукав и быстро шепнул:

— Стреляй, ну!

Степа поднял руку и, не глядя, — бац — выстрелил в темноту. И удачно. Кто-то взвизгнул и повалился.

— Стреляй! Стреляй! — торопил Меер и топал ногой.

Степа выстрелил еще и еще раз. Громко сопя, мимо пробежали два человека. Степа вдогонку им пустил остальные три заряда. И тотчас же должен был сам отскочить в сторону: по нем стреляли из рощи.

— Стой! — крикнул Меер. — Стой! Свои!

Из рощи ответили:

— Кто?

— Да свои! Я да Степка! Ну!

— Так чего, сукины вы дети, пальбу открываете? Засыпать хотите?

Подбежали Губарев, Мейлех и Леша.

— Спятели вы, сукины сыны? — кричал Губарев. — Очумели?

— Постой ругаться, — сказал Меер, — фонарик есть? Дай.

Меер пошарил фонариком и сразу нашел то, что искал.

— Видали? — сказал он.

Обхватив руками черный пенек, в траве лежал дьяк.

Меер наклонился к самому его лицу, прислушался — дьяк не дышал.

— Ловко ты его, Степка, — сказал Меер. — Скапутился, товарищи, наш дьяк. Душу богу отдал. Аминь!

## Глава тринадцатая

### ВСТРЕЧИ

Вторую половину ночи Степе спалось беспокойно, хотя не было никаких причин к тревогам. Оружие достали, безо всяких приключений пронесли его в местечко и уже распределили. Все было готово. Оставалось одно: ждать. И ждать недолго. Ян давно уже ушел и теперь, вероятно, вместе с Каданером, во главе отряда в двести-триста бойцов мчит к Славичам. К утру будет здесь. Сосчитаны часы Вольных штатов. Четыре, шесть, самое большое десять. Кратковременное царство.

Спать Степе мешали крики. Ночная тишина несколько раз прерывалась криками. В Славичах творились что-то неладное. Крики были отчаянные какие-то, предсмертные. Нельзя было поверить, чтобы люди так кричали. Потом опять тишина. Глубокая, немая тишина. И опять крик.

«Мучают кого-то, — думал Степа, — пытаются».

Степа вскакивал с кровати, подбегал к окну. Эх, ударить бы сейчас по ним! Чего ждать-то? Сейчас надо! Чего там?

Он опять ложился, ворочался с боку на бок, накрывался с головой, затыкал уши. Но сон не шел. Перед глазами в полудреме мелькали двуколки, люди верхом на копьях, промелькнуло лицо дьяка с закушенными губами, Лука с опаленной бородой, снова двуколки, неизвестно откуда и куда проносящиеся и груженные не то кавунами, не то пушечными ядрами. И Степа опять вскакивал, и опять ложился.

— Не дури, не дури, брат, — говорил себе Степа. — Приказано ждать и жди. Дисциплины не знаешь, холера? Спи!

Уснул Степа тогда, когда уже началось утро, когда листья деревьев уже покрылись росой, а в поле уже заговорили звери и птицы.

День обещал быть теплым. Небо было синее. И только на востоке клубились легкие облака.

Вдруг Степа услышал сквозь сон беготню в хате, певучий говор Ганны и низкий, бухающий голос Осипа.

— Тебе што? — говорил Осип. — Ты, дура, молчи. Тебе не касается.

Осип сидел у стола, хмурый, взъерошенный и тупо глушил водку, заедая сухими корками.

— Тебе не касается, — говорил он, — и мене не касается. Нас вчера грабили, ныне — городских. Тут тоже порядок требуется. Вор, тот кого попало стрижет, а этим — нельзя так, анархисты ж, они и грабят по порядку. А ты молчи. Тебе не касается и мене не касается.

— А? Что? Где бьют? Кого бьют? — не открывая глаз, — солнце лезло в глаза, — и не совсем еще очухавшись, спросил Степа.

Осип покосился на сына и проворчал:

— И тебе не касается, — проворчал он, — тебе не тронули и молчи, а брехать будешь, и тебе, голубю, попадет. У них это просто.

Но Ганна, рукавом кофты размазывая грязь по лицу, жалостливо пропела:

— Явреев жа.

Степа вскочил. Так вот что за крики он слышал всю ночь! В Славичах погром.

— Мертвяков навалили, — почти шепотом продолжала Ганна, — страх. Лушка глядела — ай, что там дееется, кажет, — и баб, и дедов, и детей малых, — всех побили. Крови, кажет, что на бойне.

Ганна заплакала.

Степа выбежал на улицу. Вдогонку сердито что-то сказал Осип, Ганна заревела сильней, но Степа но обернулся. Он не знал точно, куда и зачем идет. Но нельзя было, невозможно было оставаться сейчас дома. Что-то надо сделать, куда-то пойти, кого-то найти. Что, куда, кого — он не знал. Но сидеть спокойно и ждать он не мог.

«Так вот что за крики! — думал он, спускаясь бегом к мосту. — Так вот это что за крики!»

Тихо было на улице. Светило солнце. Синело небо. После ночного отчаянного вопля эта тишина казалась зловещей и пугала.

В приречном переулке Степе встретился верховой бандит. Он ехал шагом, и, помахивая хлыстом, негромко напевал. Переулок был узкий, а бандит сидел на большом коне и Степа посторонился и прижался к стене дома, чтобы дать ему проехать. Но бандит вдруг остановился. Свесившись с седла, он лениво сказал:

— Ну-ка, браток, глянь-ка!

Степа поднял голову, посмотрел и отшатнулся: на коне сидел старый знакомый, чубатый. А чубатый хитро подмигивал и смеялся, показывая ровные белые зубы.

— Вона ты где, — весело сказал он, — а я тебе, браток, ищу, ищу. Соскучился пряма. Куды это ты вчера пропал? Уж мы с Митреем боялись, что тебе жиды зарезали. Был парень — и на тебе, пропал. Зарезали, говорю, Митрей, нашего паренька, а то куды бы ему провалиться? А ты вона где, гуляишь.

Степа сжался, похолодел. Сейчас ударит! Убьет! А уйти нельзя. Переулок узкий и не длинный, весь на виду. И ни души вокруг. Только он да чубатый. Побежишь — на бегу подстрелит, как зайца. На месте останешься — шашкой зарубит.

Бандит еще ниже склонился к Степе и кончиком хлыста осторожно пощекотал его у подбородка.

— Чего насупился? — сказал он. — Или не рад, что встретил?

Чубатый помолчал, как бы дожидаясь ответа. Но не дождался. Тогда он растегнул кобуру и, не спеша, вытащил новенький Смит-Вессон.

— А я дык рад, — заговорил он опять. — Шутка ль, столько не видались. Соскучился пряма. Я так думаю, подарить тебе что следоват. На радостях-то. Только уж не знаю, что тебе и подарить-то, какой бы тебе гостинец подобрать, чтоб лучше. А? Пульку, разве? Ты как, консомол, што ли? Ага! Такому, конечно, и пульку не жалко. Для милого дружка и сережка с ушка. Верна?

Он хладнокровно перекладывал из руки в руку револьвер, как будто прицеливался или играл. То подсунет револьвер Степе под нос, так, что дуло касалось губы, то уберет его подалее за спину. Забавлялся.

Степа, как затравленный зверь, пятился от направленного на него дула и мотал головой. Страх пропал. Не было и мысли спастись, бежать. Было сознание удивительно спокойное и ясное: сейчас убьет! Конец!

Но чубатый не торопился. Его занимала эта игра. Степа медленно отступал, а он так же медленно наступал. Он даже старался не наехать на Степу конем. Зачем же так скоро кончать забаву? Успеется.

— Ты мене, браток, никак боишься, а? — говорил он. — Чего ты? Разе я тебе что худое сделал? Или я злодей какой? Ну, попросил тебя к одному человеку свести нас. Ну, не захотел ты, утек. Дык я разе обижаюсь? Ни-ни. И думки такой не было. Что ты?

Издевался чубатый с ласковым лицом, расплываясь в благодушнейшей улыбке. Не бандит — отец родной. Рубаха парень.

Так, спиной, Степа дошел до чьих-то ворот, до калитки. Опять дуло оказалось под самым носом. Степа подался назад, на калитку. И вдруг калитка с треском распахнулась и Степа, зацепившись ногами за порог и потеряв равновесие, перекувыркнулся раз и упал. Грянул выстрел, но мимо. Второй выстрел. Пуля, прорвав рубаху, оцарапала бок. Ожог от пули, очень слабый, был спасительным. Степа пришел в себя. Он юркнул за угол сарая с такой быстротой, что с него ветром сорвало шапку.

Чубатый, ругаясь и грозясь, спешил и полез в калитку. Но Степы уже и след простыл. Он перемахнул через один забор, другой, пробежал пустырь, протопал по улице и наконец, усталый и потный, свалился где-то в саду под деревом. Дыхание изо рта выходило со свистом, как пар из котла. Сердце билось так громко, что казалось — за версту слышно. Но Степа был как пьяный от радости. У! Пронесло!

В саду было много тени и много прохлады. Солнце не могло пробиться сквозь густую листву деревьев. На яблонях росли яблоки, на кривых и тощих орешниках зрели орехи в мягких еще скорлупах. Трава была высокая, влажная, сочная, и Степа валялся в траве, как в пуховой постели. Ныла рана в боку. Степа потрогал ее пальцем и палец окровавился. Но что царапина после того, как грозила гибель, смерть? Да. Везет тебе, парень. А чубатый-то второй раз в дураках. Ловко!

Но скоро Степа понял, что оставаться так в саду рискованно. Мало ли кто может сюда прийти? Увидит — лежит в траве парень, в боку — рана, в кармане — наган. Эге, дело-то не просто! Привяжутся: кто? куда? почему? Смываться отсюда надо, вот что.

За садом на песчаной полянке стояло низкое здание, полуогнившее уже, крыши над ним не было, так что дожди и плесень подтачивали бревна изнутри и извне. Степа решил отсидеться тут. Сюда-то уж никто не придет. Зачем?

Когда-то, видимо, тут была маслобойня. До сих пор был виден на земле круг, протоптанный лошадьё, которая вращала жерновой камень, и до сих пор еще пахло конопляным маслом. Стены на веки вечные пропитались этим запахом и его не могли изгнать ни ветры, ни дожди. Во второй, меньшей части маслобойни лежали по углам груды кирпича и глины. Раньше тут стояла огромная печь, всегда горячая.

В Славичах была одна только маслобойня Хазанова. Значит, вот он куда попал, Степа, к Хазанову на двор. Рядом ведь клуб, на этом дворе.

«А что, если посмотреть, как сейчас в клубе? — подумал Степа, — заходить, конечно, не надо, а вот в окно заглянуть. Все, верно, разгромлено, разбито, и стены, и стулья, и зеркало. Интересно бы. Потом перед ребятами хвастать можно. — «Вы, черти, под печью небось сидели, а вот я в клубе был». Эх, была не была! пойду!»

Одно пугало Степу — не напороться бы на Хазанова: выдаст ведь, собачья душа, непременно выдаст. Факт. Не любит он нас, кому, во как не любит. И живет он тут же при маслобойне, во флигеле.

Степа мимо флигеля крался невидимкой, скрючившись в три погибели. Но тихо и безлюдно было во флигеле и на дворе. Курица-наседка с выводком цыплят брела по дорожке в сад. Сорока сидела на плетне. По небу ходило солнце, освещая двор и флигель, и верхушки деревьев. Покой. Тишина.

Степа прилип носом к стеклу и долго смотрел. Против ожидания, в клубе ничего не изменилось. Стол, стулья, зеркало-трюмо — все на месте и все в целости. Плакатов лишь меньше стало и бумажек много накидано на пол. Было ясно, что бандиты здесь не побывали. То ли забыли, то ли не успели пока.

Степа осмелел. Он распахнул дверь и вошел. В пустой комнате его шаги отдавались гулко, как грохот поезда на железном мосту. Было чудно. Третьего дня — шумный клуб, свой клуб, сегодня — гулкая, пустая комната, чем-то страшная и пугающая, как подземелье, как склеп.

Вдруг в комнате прозвучал чей-то дрожащий, старческий голос:

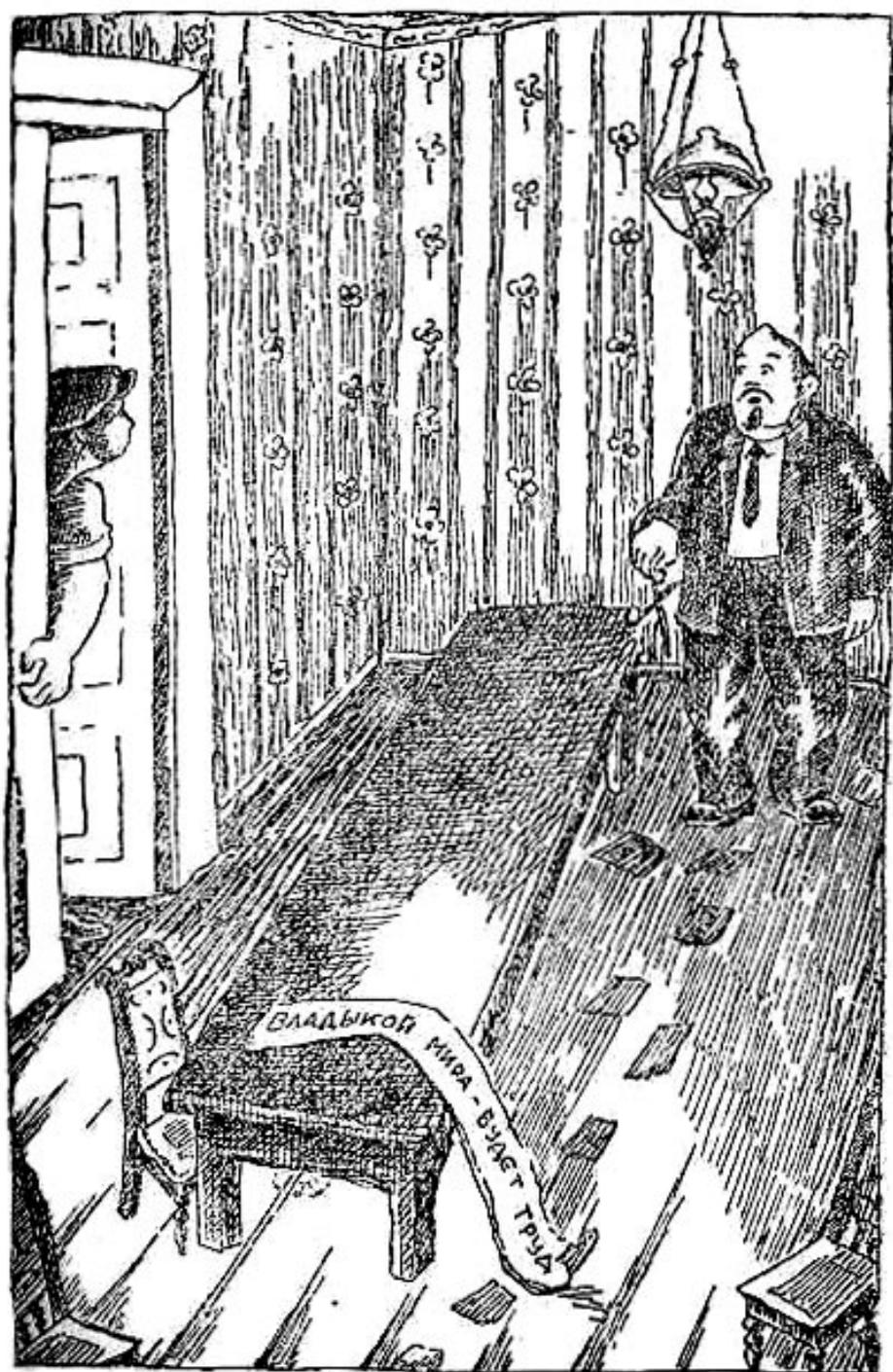
— Кто тут?

Степа скакнул назад к двери.

— Кто тут? — повторил голос.

Степа схватился рукой за косяк, приоткрыл дверь и только тогда оглянулся. У окна стоял Хазанов, толстый старик с круглой, лысой головой. Он часто моргал глазами и громко сопел. В руках он держал длинные портняжки ножницы. Кроме Хазанова, никого не было.

И тут Степа понял, почему пропали плакаты со стен и почему так много накидано бумажек. Эта жирная свинья, Хазанов, срывал плакаты и портреты и аккуратно разрезал их на мелкие части. Ах ты, шкура! Степа обозлился.



— Ты что делаешь? — грозно спросил он, подступая к Хазанову.

Купец шлепал губами, пытался что-то сказать, но слова комом застряли в горле.

— Ты что делаешь-то, стерва? — крикнул Степа.

Он вырвал ножницы — пальцы старика разжались сами собой, ножницы все равно упали бы на пол, — швырнул их в сторону и замахнулся кулаком.

— Голову сверну, собака! — кричал он. — Вон отсюда!

Хазанов, защищаясь от удара, закрыл лицо руками и трусливо засеменил к двери. Но Степа его догнал, схватил за шиворот и пинком в зад скинул с лестницы.

— Еще раз поймаю, убью! — пообещался он. — Запомни, гад!

Однако на дворе Хазанов расхрабрился.

— Кто кого убьет! — проскрипел он, — увидим!

И завопил:

— Караул! Спасите!

Пока купец кричал «караул» и «спасите», Степа мало тревожился. «Караул» и «спасите» в нынешнее утро можно было слышать в любом доме, на каждом дворе, и никто не обращал внимания. Но когда Хазанов стал кричать: «Коммунисты! Большевики! Держите! Ловите!» — Степа решил, что ему пора убираться.

На Пробойной бандитов было видимо-невидимо. Все высыпали на улицу, как в праздник. Притом пьяных было много больше, чем вчера ночью. Одни лежали на деревянном тротуаре и храпели на весь базар. Другие орали песни. Третьи еще держались на ногах, но не стойко, чуть толкнешь, и он летит носом в землю. Четвертые угрюмо озирались и искали, с кем бы подраться. Повсюду видны были следы погрома. Стекла выбиты. На крылечках — пятна крови.

«Ну, разгуливать-то сейчас, пожалуй, не стоит», — подумал Степа.

В соседнем с клубом доме жили его знакомые — старуха, дочь и муж дочери — кузнец Менахем. Домик, выкрашенный в белую краску, выглядел уютно и, по-видимому, громилы его пощадили.

«Зайти, что ли? — подумал Степа. — Да. Зайду. Пережду тут».

## Глава четырнадцатая

### В БЕЛОМ ДОМЕ

Дом, действительно, пощадили: стекла не выбиты и дверь на месте, не сорвана с петель, как в других домах. В сенях — кадка с водой не опрокинута, не перевернута, на кадке лежит дощечка, на дощечке стоит оловянная кружка. Чудеса да и только.

Из сеней Степа прошел в дом. В доме была всего-навсего одна комната. Степа несколько раз бывал тут раньше. Он помнил эту комнату. На подоконниках — горшки с цветами, на полу — дорожка, на столе — узорчатая клеенка, в углу на стене — часы со свисающими гирями. Чисто так, что соринки не найдешь. И вот теперь, едва переступив порог, Степа увидел, что ошибся: бандиты тут были и, должно быть, совсем недавно! Все в комнате было разворочено, расщеплено, ящики комода выдвинуты, стол расколот шашкой. Только горшки с цветами уцелели, да часы, да еще кровать.

Среди обломков стола, почти похороненный под ними, лежал человек. По сухой морщинистой руке, — рука вылезла наружу, — Степа догадался, что это старуха. Пальцы на руке, кроме мизинца, были отрублены. Четыре раны еще сочились кровью.

А на кровати, неподвижно, как деревянная, сидела молодая женщина. У нее было маленькое детское лицо и иссиня-черные волосы, закрученные узлом. На лице и на шее были заметны порезы и укусы. Брезгливо сжав губы, женщина упорно смотрела на печь. Она, кажется, принимала печь за живое существо, во всяком случае, она разговаривала с печью, называя ее по имени. А имя было — Менахем.

— Вот ты ушел, Менахем, — говорила она слабым, капризным голосом избалованного ребенка, — вот ты ушел, а он пришел. Он пришел и сказал, что он — ты. Но я не поверила, нет, — женщина тихонько засмеялась, — нет, я не дура, — слово «дура» она тянула долго. — Я его знаю, сразу узнала по рогам. Он — козел, вот он кто, — она опять засмеялась, — у него рога и борода и копыта на боку...

И вдруг закричала грубым мужским голосом:



— И копыта на боку? — крикнула она басом. — Врешь! И прежним усталым голосом сама себе ответила: — Ну да, ну да. Я сама видала. Три копыта и все на боку, как пуговицы.

Степа легко тронул женщину за плечо.

— Либе, — сказал он. — Что ты?

Женщина досадливо смахнула с плеча руку, как смахивают пыль или грязь. Она не двинулась с места и продолжала говорить с печью, как с мужем, как с Менахемом.

— Зачем ты ушел, Менахем? — жалобно, со слезами в голосе говорила она. — Зачем ты ушел, а меня оставил? Он меня ударил по лицу и кусал. Да, кусал. Он меня съесть хотел, как хлеб. А я не давалась. Я не давалась, Менахем. Я вырывалась и плакала. Но у него рога и копыта на боку. Он дикий...

И снова басом:

— Какие там копыта? Врешь!

«С ума сошла, ясно, — подумал Степа. — Скверно дело. Менахема в городе нет. Он еще до Каданера уехал в уезд. А старуху убили. Как бы Либе не натворила чего, повеситься может или дом спалить. Скверно дело».

Он прислушался к тому, что делается на улице. Но на улице ничего не делалось. Этот громила оглушительно храпит, тот песни орет, третий в драку лезет, бахвалится и шумит. Дела обыкновенные. Бандитские будни. Вольные штаты за эти два дня привыкли к таким делам.

«Времени сколько пропадает, — нетерпеливо думал Степа. — И ночь прошла и утро проходит и ничего. Скверно!»

Оставить больную одну он не решался, и потом, сейчас по улице гулять тоже небезопасно. Придется здесь пока что переждать. Степа сел на лежанку — печь была с лежанкой, как в деревне. Сел и мгновенно уснул.

Смешной и страшный сон привиделся Степе. Темная ночь. Ни звезд, ни луны. Глушь. Он в поле, а вокруг скачет зверек с лицом батько. Он скалит зубы и рычит: о-о-о!

От крика Степа проснулся. Проснулся и увидел Либе рядом. Она стояла в двух шагах босая, в одной рубашке. Выкатив в ужасе глаза, она смотрела на дверь и вопила однотонно и громко: о-о-о!

— Что ты, Либе? — сказал Степа. — Никого же нет. Поди. Ляг.

Он довел ее до кровати, — больная присмирела и покорно шла за ним, — уложил и накрыл одеялом.

— Лежи, — сказал он. — Спи.

Но спокойно лежать Либке не могла. Подогнув под себя ноги, она скрючилась колесом и залепетала что-то скоро, скоро. Степа ни слова не мог понять из того, что она говорила.

«Плохо с ней, подумал он. — Постараюсь не спать. Не уследишь и черт знает, что она сделает. Плохо».

В углу зашипели часы. Пробыло одиннадцать.

Чтобы не уснуть, Степа ходил по комнате. Он кое-что прибрал с пола, но старательно обходил труп и не прикасался к нему. Ему почему-то казалось, что у старухи отрублена голова. Он знал, что если увидит вдруг эту голову, он не выдержит, сбежит. А сбежать теперь ни в коем разе нельзя. Подступит Уре с отрядом, тогда другое дело.

И вдруг из окна увидел Никиту. Никита осторожно пробирался вдоль заборов на «низ». Степа обрадовался — Ого! Никита уже вернулся. Значит, и Каданер близко. Значит, скоро!

Степа на минуту присел, чтобы закурить. Но он даже цыгарку свернуть не успел — заснул.

Степа не знал, много ли, мало ли он спал. А когда проснулся, то услышал плач. Либке лежала на кровати, повернув лицо к окну, — а за окном был ясный летний день, солнце сияло, синело небо, — Либке смотрела в окно и тихо, но безудержно плакала. По тому, как Либке плакала, Степа понял, что она пришла в себя и обрадовался.

— Либке, брось! — сказал он, склоняясь над больной. — Что ты?

Женщина чуть слышно прошептала:

— Пить.

Степа принес полную кружку холодной воды.

— На, — сказал он, — пей.

Либке попробовала поднять голову, но голова бессильно упала на подушку.

— Не могу, — жалко улыбаясь, прошептала она. — Не могу...

Степа вместе с подушкой приподнял голову Либке, поднес кружку к ее губам и влил ей в рот немного воды, полглотка.

— Спасибо. — Она говорила с трудом. Задыхалась. — Спасибо, милый...

— Поспала б, — посоветывал Степа. — Это, говорят, помогает.

Больная закрыла глаза.

— Нет, — прошептала она. — Нет. Не поможет. — И громче повторила: — ничего не поможет. Умираю я.

— Еще что! — Степа сделал вид, что сердится. — Еще что выдумала? Не дури. Спи.

— Не поможет. Нет. Не поможет, — твердила женщина, снова впадая в беспамятство, — ничто не поможет. Ничто не поможет.

Где-то далеко в поле глухо ухнуло — бух! Потом еще раз и ближе — бух! И в ответ со всех сторон затакали пулеметы. Так-так.

Степа даже подпрыгнул от восторга: Уре! Наконец-то! Го! Живем!



## Глава пятнадцатая

### БОЙ

Как и предполагал Губарев, Каданер подступил к Славичам с юга. Тут шлях кончался отлогой горой, под горой протекала река, за рекой, на холмах раскинулось местечко. Бандиты выставили за мостом сторожевое охранение, но, когда начался погром, охранение само снялось с места и поспешило в город, заботясь только об одном, чтобы поспеть вовремя, а то может случиться, что придешь, а грабить-то уж нечего, чисто. Каданер, незамеченный никем, среди бела дня подкрался с отрядом, — отряд был в триста сорок штыков при восьми пулеметах и одном трехдюймовом орудии, — к мосту и взорвал его. Затем он взорвал второй мост, ведущий на слободу. Бандитов надо было окружить и уничтожить — задача ясная. Отряд в сто бойцов зашел со стороны больницы, там соединился с небольшим отрядом Мейлеха. Другой отряд в семьдесят бойцов занял слободу. Бандиты оказались в мешке. А они ничего — пели и буйствовали. Только тогда, когда мосты один за другим взорвались и запылали, когда со всех сторон затакали пулеметы и несколько раз ухнула трехдюймовка, только тогда пьяная орда всполошилась и забегала.

В эту именно минуту Степа выскочил на улицу. Он видел, как мимо промчалась двуколка: остервенелый возница стоял на тележке во весь рост и, завывая и гикая, вожжами нахлестывал коней. Потом проехало человек десять верховых. Те из бандитов, кто еще держался на ногах, пинками и прикладами подымали спящих. Откуда-то появился щеголеватый ординарец батько. Размахивая браунингом, ругаясь на чем свет, ординарец пытался построить бандитов в правильные ряды и отразить нападение или даже перейти в контрнаступление. Но ничего не выходило: одуревшие от водки, от сна, бандиты никого и ничего знать не хотели. Они метались по улицам без надобности и цели: вдруг почему-то ринутся вправо и так же внезапно хлынут влево. Стреляли мало, то ли потому, что не знали, куда стрелять, где враг, то ли потому, что большая часть патронов давно была израсходована на нелепую пальбу в небо.

На церковном дворе, в траве Степа нашел почти всех ребят. Тут же был и Губарев. Двор был обширнейший — в полкило-

метра. В одном его конце за поленницами дров собрались почти все ребята, а в другом, у церкви стояли бандиты. Их было тут немного — шесть человек. Четверо дежурили у входа, двое засели с пулеметом на колокольне. Их надо было снять во что бы то ни стало.

— По одному... перебегай... раз, — шепотом командовал Губарев.

Леша, крайний с левого фланга, пробежал шагов пять, упал, приник к земле и застыл. За ним Федор. За Федором Меер, Мота, Степа, все.

— По одному... раз! — командовал Губарев.

Пробежали положенные шаги так осторожно и бесшумно, что бандиты у церкви увидели ребят лишь тогда, когда перед самыми их глазами вдруг замаячили наганы.

— Без крика! Без крика! — угрожающе шептал Губарев, поводя револьвером и отгесняя бандитов вглубь. В темном коридоре церкви бандиты как-то безразлично и даже охотно отдали оружие и подняли руки. Трех Губарев оставил внизу, поручив их Леше, а четвертого погнал вверх по лестнице.

— Если «кто?», то «свой!» — понял? — шептал Губарев, подталкивая бандита, щуплого парня в казачьих штанах, наганом в спину: — Свои! Свои! Понял?

Поднимались все выше и выше. На последнем переходе услышали окрик одного из пулеметчиков:

— Кто?

Бандит ответил неверным, ломким голосом, но громко, стараясь перекричать пулемет:

— Свои!

— Ты, Никифор?

— Я!

— Чего прешься?

— Так. Ничего, — шепотом подсказал Губарев.

— Так. Ничего, — громко повторил бандит.

На площадке колокольни, площадка была тесная и неудобная, колокола висели низко и при неосторожном движении начинали раскачиваться и перезванивать, — стоял пулемет системы «Максим». Больших, должно быть, трудов стоило поднять его на такую высоту. У пулемета, сидя на корточках, возились двое. Один стрелял, другой — подавал из ящика пулеметные ленты.

Второй пулеметчик, тот, что подавал ленты, почуяв за спиной людей, сказал, не оборачиваясь:

— Катись, Никифор, к едренной... — Чего приперся?

Губарев, вместо ответа, приложил к затылку бандита наган.

— Ну-кось, — сказал он, — вставай!

Бандит, правой рукой судорожно царапая карман, быстро повернул голову.

— Цыц! — грозно прицыкнул на него Губарев. — Цыц! Не балуй!

Бандит увидел Губарева, ребят и тяжело шлепнулся на пол.

— Омманули, сволочи! — прохрипел он. — «Свой!..» Ах ты!..

Первого пулеметчика держал на прицеле Мотэ. Пулеметчик, здоровенный дядя с бугристым лицом, оставил пулемет и очень уж поспешно вскинул руки. Степа обыскал его, вынул из кармана револьвер и снял пояс с прицепленными к нему ручными гранатами. Бандит испуганно поводил глазами и молчал. И пулемет молчал.

— Гони их вниз, молодцов, — сказал Губарев Федору. — Из церкви не выпускать. Ежели что, стрелять в лоб. Понял?

Бандиты покорно спускались вниз. Только второй пулеметчик мрачно ворчал и плевался:

— Омманом, а! — ворчал он. — Ах, вы!..

— Засохни, — посоветовал без злобы Федор.

— Церковь запереть! Понял? — вдогонку крикнул Губарев.

— Есть! — ответил Федор.

Степа в первый раз был на колокольне. Он посмотрел и удивился: здорово! Все Славичи как на ладони, и поле видно и далекий лес виден. Мосты горят, и у мостов в дыму копошатся люди, не то красные, не то эти «анархисты». Прямо напротив — дом, в котором жил батько. С улицы дом казался высоким, с колокольни он казался маленьким, пришибленным к земле. Вокруг дома суетилось много народу, и Степа не понимал, чего это Губарев, приготовив пулеметную ленту, все же не стреляет. Чего он ждет?

— Шарнуть бы, а? — сказал Степа.

— Погоди, не лезь, — буркнул Губарев. Он зорко следил за домом, вобрав голову, приподняв плечи. Степа не испугался бы, если бы Губарев вдруг взвыл по-волчьи и по-волчьи рывком вдруг прыгнул бы вниз, на дом.

«Крепкий парень», — с уважением думал Степа.

Он стал тоже следить за домом и понял, чего Губарев медлит. Бандитов на площади было много, но не было ни штабных, ни батько. Они еще не вышли. Лошадь батько, гнедую,

рослую кобылу, оседланную, готовую, держал ординарец. Лошадь нетерпеливо подсакивала на месте и рвала повод.

— Скорей там! Чего? — кричал ординарец.

— Сейчас! Сейчас! — отвечало ему сразу несколько голосов.

Наконец, батько вышел. Он был одет в парадную форму атамана вольно-партизанской дивизии: малиновая черкеска с газырями, кинжал, папаха. В руке плетка.

Батько тронул шпорами бока кобылы и неторопливо, важно выехал на середину площади. Рядом ехал очкастый. Он как-то криво сидел в седле и все поправлял очки. Кавалерист он был плохой да и трусил к тому же. Штабисты чинно следовали за батько.

И тогда Губарев открыл огонь. Лошадь батько рванулась, вздыбилась и на задних ногах, как в цирке, прошлась кругом. Батько хлестнул ее по морде и погнался к церковной ограде. Он что-то кричал и грозился плеткой.

— Ленту! Ленту! — говорил Губарев. Он работал спокойно, как дома, как за станком. — Ленту! — поворачивая пулемет, коротко приказывал он ребятам. А пулемет то и дело приходилось поворачивать, приподымать, опускать, цель была почти неуловимая, движущаяся и надо было принаравливаться.

— Ленту! Ленту! — командовал Губарев.

Он ловил батько, — ловил упорно и настойчиво — и поймал. Батько вдруг выпустил поводья и стал медленно сползать с седла. К нему кинулись очкастый и штабные. Но пули веером рассыпались вокруг батько. Одного из штабных убило, остальные отхлынули. Площадь опустела. Остались только батько да убитый штабист, да еще очкастый. Он не был ранен, очкастый, он просто свалился с коня. Лошадь испугалась и понесла, а кавалерист он, очкастый, был плохой.

— Мотэ! Степа! На площадь! Анархиста поймать! Поняли? — кричал Губарев. — Под вашу ответственность! Поняли?

Батько умирал. Раскинув руки и ноги, лицом вверх он лежал на земле и вяло шевелил губами, как будто шептал что-то. В руке он цепко зажал плетку. Пуля попала в живот. Кровь сочилась из раны и ручейком сползала с малиновой черкески на черный лакированный сапог.

— Кончается, — сказал Степа.

Очкастый, наоборот, стремительно и бурно подавал признаки жизни. Он дрыгал ногами, юлой вертелся и визжал пронзительно, как поросенок, которого режут. При падении он



потерял очки, и теперь Степа мог видеть, какие у него глаза: карие, маленькие и очень близорукие.

— Шибко как орет, скотина, — сказал Мотэ, — оглохнуть можно. Пристрелить, что ли? Как думаешь?

Мотэ сказал это нарочно, чтобы припугнуть. Сказал он негромко, но так, чтобы очкастый слышал. И, верно, помогло. Присмирел очкастый, затих. Руки он сложил на груди, рука в руку, и сделался похожим на младенца в колыбели.

— Подействовало, — шепнул Мотэ, подмигивая на очкастого.

На пустой площади со стороны слободы показались редкие цепи красных. Они не доверяли тишине и подкрадывались осторожно, держа винтовки на весу, готовые открыть огонь в любую минуту. Но Степа их предупредил:

— Не бойсь! — крикнул он, — подходи смело! Никого!

Первый к ребятам подбежал муж Либе — Менахем, кузнец, черный, худой, в прорезиненном пальто. Запыхавшийся, потный, но веселый, он с разбега пнул очкастого сапогом и шумно захохотал:

— Главарь, что ли? — спросил он.

— Да, вроде, — сказал Степа. — Анархист.

— Ага! Так вот он какой! Слыхал! Как же!

Менахем внимательно взгляделся в очкастого.

— По роже так дурак, — сказал он серьезно. — А, впрочем, черт с ним.

И сейчас же заговорил о другом.

— Понимаешь, — рассказывал он о недавнем бое. — Мы их, дьяволов, в речку загнали. Мосты-то мы взорвали. Деваться им некуда, кругом наши, — они вплавь. Барахтаются в шубах, при полном снаряжении. Ну, многие которые кричать стали: «Пять золотых десятков тому, кто вытащит!» Понимаешь, народец какой? Карманы набиты золотом, погибают, а больше пяти десятков не дают, душа не позволяет...

— А вы что? — спросил Мотэ.

— А мы известно что, — сказал Менахем. — Мы из пулеметов, раз, раз — потопили до единого. Да, ребята, вот что: говорят, тут у вас погром был. Как мои, не знаете?

Степа молчал.

— Не видел, — сказал Мотэ. — А не слышать, чтобы их трогали.

— Ну, ребята, пока, — заторопился Менахем. — Я — домой, к женке.

Но Мотэ его остановил.

— Ян где? — спросил он.

Менахем безнадежно покачал головой. — Не спрашивай, Мотэ, — сказал он.

Ребята встревожились.

— Что? Убили?

Менахем не ответил, он махнул рукой и ушел.

Где-то в переулке еще шел бой, по на площади красные уже располагались безбоязненно. Провели партию пленных, среди них был и Антон. Он и тут выступал степенно, гусаком. Пленных и захваченные двуколки загнали на церковный двор, благо двор был обширнейший. У ворот поставили два пулемета и охрану.

— А с этим что нам делать? — сказал Мотэ, показывая на очкастого.

Степа задрал голову и крикнул вверх Губареву:

— Слышь-ка, Губарев! — крикнул Степа, — анархиста куда?

Сверху, с колокольни ответил голос Губарева:

— Держи пока! Не отпускай!

Вдруг за спиной Степа услышал голос отца, Осипа. Осип был вне себя. Он яро кричал и ругался на всю площадь.

— Вот ты где, гад, — кричал он. — «Воля», «воля», а сам грабить, бить! У, ты, подлюга! Убббью!

— Стой, батя, не дури, — сказал Степа, повернувшись к отцу, — не дури — говорят. Он нам для суда нужен. Стой, ну!

— Степа, сын! — захныкал Осип, — ну, дай его стукну! Ну, разок хоть! Ну!

— Не дури. Не дури, — Степа был строг и неумолим. — Издеваться не позволю. Катись отсюда, батя.

— Степа! Сын! — хныкал Осип. — Ну, разок! Ну!

— «Разок! Разок!» — передразнил Степа. — А помнишь, как крыл нас? Еще речи держал, оратель!

— Ну, верно! Ну, сволочь я! — кричал Осип, ударяя себя кулаком в грудь. — Ругал, верно! А не буду! Вот те крест не буду. Хоть в острог сажайте, хоть куды! Свой же брат, мужик, беднота, сажает. За дело сажает. А эти-то, гады, что? Они-то что? Дай, Степка, стукну! Христом-богом прошу. Ну!

Степа засмеялся:

— Эх, ты, анархист, — сказал он: — «Христом-бо-гом»... Ничего тебе не дам. Проваливай! Катись!

## Глава шестнадцатая

### ИТОГИ

В этот же день вечером в комсомольском клубе собралось человек семьдесят: все ребята, кроме Яна и Меера, которого под самый конец боя задела шальная пуля, — партийная ячейка в полном составе, бойцы из отряда, командиры и комиссары, кой-кто из жителей, главным образом из «низа» и со слободы. За окном еще хлопали нечастые выстрелы, — по дворам, по огородам, по сараям вылавливали отдельных героев вольно-партизанской, — еще догорали мосты на реке, из домов еще выносили изуродованные трупы убитых в погромах, а в большой комнате клуба, набитой до отказа, сурово и точно уже подводили итоги двум минувшим дням.

Открыл совещание Уре Каданер. Он как-то постарел за эти два дня: оброс колючей щетиной до самых глаз, а лицо было усталое, дымное. И говорил он тяжело, явно преодолевая усталость и сон. Говорил сидя, скрещенными руками подпирая небритый подбородок.

— Ну вот, товарищи, — сказал он, — вот и кончились Вольные штаты. Продержались они недолго, всего лишь тридцать три часа, муха и та больше живет, а между тем обошлись они нам недешево. Для осмотра и для подсчета в нашем распоряжении было мало времени — с часу дня до девяти вечера. Оглашаю пока предварительные данные. — Каданер вынул из обшлага шинели лист бумаги. — Итак, потеряно наших товарищей: повешенных, расстрелянных, зарубленных и павших в бою, — громко прочел он, убитыми: тринадцать человек, ранеными: шестнадцать человек, пропавшими без вести: семь человек. Среди них: коммунар Андрей Иванович Шабанов повешен, коммунар Александр Никифорович Руднев расстрелян, коммунар Бер Мовшевич Гезин зарублен, коммунар Казимир Брониславович Гуцинский зарублен, комсомолец Ян Севастьянович Ольшевский убит, командир Владимир Васильевич Горелов убит. Жителей убито: мужчин двадцать девять, женщин тридцать две, детей двадцать четыре. Ранено: мужчин одиннадцать, женщин сорок, детей семнадцать. Пропало без вести: мужчин шесть, женщин девять, детей пять.

Каданер сложил бумагу в четвертушку, сунул ее в карман и вдруг сказал очень тихо:

— Память павших предлагаю почтить вставанием.  
Встали.

— Повторяю, — заговорил Каданер опять после того, как все уселись, — повторяю: данные предварительные. Окончательные результаты, надо думать, будут еще более страшные. Но это не должно нас пугать. Мы затеяли большое дело, и спокойно работать нам еще долго не дадут. Это мы должны знать, к этому должны быть готовы. Кой-кому, все вы знаете кому, их немало — от кулака Корней Солоненкова в Самсоновке до господина Черчиля, или как его там, в Лондоне — кой-кому наше дело не по вкусу. Ну и гадят помаленьку. А то и не помаленьку. Кто как умеет. Но сейчас не о них разговор. С ними мы справимся, если... Нот об этом «если» и поговорим. Каковы обстоятельства данного случая? Мы знали, что вокруг Славичей ходят бандиты. Что за банды, откуда банды, это нам было ясно. Мы все силы кинули на внешние фронты. Тут мало кто остался. И всякая гниль и сволочь, анархисты, кулаки, контра всякая, этим воспользовалась и стала орудовать у нас в тылу. Мы об этом знали, знали за много дней до налета. А что сделали? А ничего не сделали. Сидели и ждали, когда они соизволят пожаловать. Это было не просто ошибкой, это было преступлением. За это нас еще взгреют. И правильно. Следует. Я знаю, вы вот сидите и молчите, а сами небось думаете: «Чего дурака валяешь, Каданер? Что мы могли сделать?» А я скажу так: мы много чего могли сделать. Во-первых, — Каданер согнул палец, — нам надо было приложить все усилия к тому, чтобы свести к минимуму те предпосылки, которые рожают факты, подобные этим Вольным штатам. То есть: по отношению к активному врагу, — к агитаторам, к шпионам, о которых мы знали, — да, знали: и Солоненкова знали, и дьяка знали и других знали; знали, а не трогали, церемонились, — надо было с самого начала принять меры крутые и решительные, а мы благодушествовали, ждали чего-то и дождались. Дальше: скажем прямо, честно, по-большевистски, нечего глаза закрывать. С бандитами шли не одни кулаки, шли и середняки. Не очень уверенно, не очень много, но шли. И это только по нашей вине. Средняк, как правило, с нами. Но революции два-три года, а мужик столетия жил в темноте. Он многого не понимает, он часто срывается, кидается туда-сюда. А наше дело было, чтоб он понял. Нужна была огромная работа, чтоб он не только на своей шкуре и с большим запозданием понял, кто ему друг и кто ему враг, кто прав, кто

неправ. Надо было сделать, чтоб он еще до этого понимал, почему мы правы, а анархисты всякие и бандиты — враги. Мы и тут мало что сделали. Второе, — Каданер согнул безымянный палец, — когда банды уже оформились и стали реальной угрозой, нельзя было выжидать и гадать, когда они наконец пожалуют, а нападать первыми. Опять, думаете, заврался человек. Нападать! А силы откуда было взять? а оружие? А теперь откуда взяли? Сами мало-мало наскребли и уезд помог. Но ведь и неделю тому назад мы могли сделать то же. А мы, товарищи, прохлопали. Вот оно «если». Слов нет, бились мы сегодня хорошо, не спорю. И дисциплину показали. Я знаю: тут многие хотели сгоряча еще вчера полезть в драку. Их сдержали. Это верно. Вчера это внутреннее выступление только попортило бы, а сегодня помогло. И здорово помогло. Это все верно. Но ведь не только в этом дело. Когда приставишь нож к горлу, тогда и дурак поймет, что смерть и что спастись надо. А надо было сначала не допускать этого безобразия, что творилось тут целых полторы суток. Революция, товарищи, не означает — пассивно выжидать. Революция — это наступление, завоевание. Понимать надо.

Каданер замолк и молчал долго. Потом он сказал:

— Слово имеет товарищ Губарев.

Губарев подошел к столу, все еще без шапки, но веселый. Рядом с угрюмым Каданером он казался мальчишкой, только что побившим здорового балбеса и очень этим довольный и гордый.

— Банда уничтожена, — сказал он, взмахнув рукой, — вся! До единого! Кто убит, а кто у нас в плену. Между прочим, мы захватили в плен и теоретика ихнего, анархиста чертова. В трибунале выясним, что за птица. А батько убит пулей в живот, навывлет. Но, товарищи, — Губарев повысил голос, — успокойтесь нам на этом нельзя ни в коем разе. Вольно-партизанская, а по-простецки сказать — вольно-бандитская дивизия уничтожена. Но врагов еще много. На внешнем фронте — барон Врангель, польская шляхта, Булак-Балахович, японцы, англичане, французы, греки, — всех не пересчитать. На внутреннем — разные буржуи недобитые, помещики непойманные, попы, офицеры, кулаки, эсеры, анархисты, дезертиры, громилы. Много. Надо быть начеку, а не зевать. Вот мы сидели спокойненько и думали: экая у нас, слава богу, гладь да благодать. А как началась завируха, глянь, откуда только и выползла нечисть всякая, зашевелилась. Кто они такие, спро-

сите? А вот кто: один — дурак, учитель этот, Сонин. Теории дурацкие разводил. Теперь, осел, в больнице отлеживается, в себя приходит. Избили его анархисты шомполами до полусмерти. Второй — активный контрреволюционер и конокрад — Антон. Он, как выясняется, давно уже был в связи с бандитами. Сведения им давал. Оружие чинил, помогал, чем мог. Третий брал тихим сапом: подсчитывал, записывал, а затем, как представился случай, и доложил: «Так и так, мол, такие-то и такие коммунисты. Такие-то и такие комиссары. Идите, берите их и творите суд и расправу». Вы знаете, о ком я говорю — о дьяке. Его вчера еще Степка уложил, — Губарев нашел глазами Степу и приветливо махнул рукой. — Спасибо, брат. Четвертый хоть и наш — инвалид, беднота, а пьяница, самогонщик, вредный человек, — не обижайся, Степка, — я говорю о твоём отце. На «волю» бандитскую польстился и покушал эту «волю». Теперь сыт по горло. Сейчас-то он плачет, кается. Да что толку? Пятый, бывший хозяин кожевенного завода, Найш. Кстати, интересный и показательный факт: во время погрома, когда анархисты эти кричали «бей жидов» и действительно били евреев, Найша не тронули и Хазанова не тронули и еще некоторых. А почему? А потому что свои. А свой своего не тронет — ого! Ну вот. Кой-кого я назвал. Всех не упомнишь. Впрочем, трибунал найдет и назовет. Но все равно, немало их еще останется среди нас. Вот я, товарищи, и говорю — бдительность. Мы пришли делать новый мир, мы хотим работать, строить. Мы крови не хотим. Не людоеды. Но кто мешать будет, кто будет совать палку в колеса, тому не сдобровать. Пусть знают. И нам об этом забывать нельзя. В одной руке держи лопату, в другой — наган. И палец на курке. Помни!

Леша ответил за всех:

— Помним, Губарев!

Каданер зашевелился на стуле.

— Переходим к очередным делам, — сказал он негромко и спокойно, — слово для доклада имеет продком, товарищ Губарев.

Все произведения Дойвбера Левина публикуются по первоизданиям с исправлением некоторых устаревших особенностей орфографии и пунктуации. В оформлении обложки использован рисунок форзаца к книге Д. Левина «Федька» (1939) работы Э. Будогоского. Настоящая публикация преследует исключительно культурно-образовательные цели и не предназначена для какого-либо коммерческого воспроизведения и распространения, извлечения прибыли и т.п.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

<i>И. С. Медведь из ОБЭРИУ</i>	7
Полет герр Думкопфа	18
Десять вагонов	42
Вольные штаты Славичи	134